

*НОВЫЙ  
Журнал*

*87*

*THE NEW  
REVIEW*

*1942 - 1967*

## РЕДАКТОРЫ "НОВОГО ЖУРНАЛА"



*М. О. Целин (1882 — 1945)*



*М. А. Алданов (1886 — 1957)*



*М. М. Карлович (1888 — 1959)*



*Ю. П. Денике (1887 — 1964)*

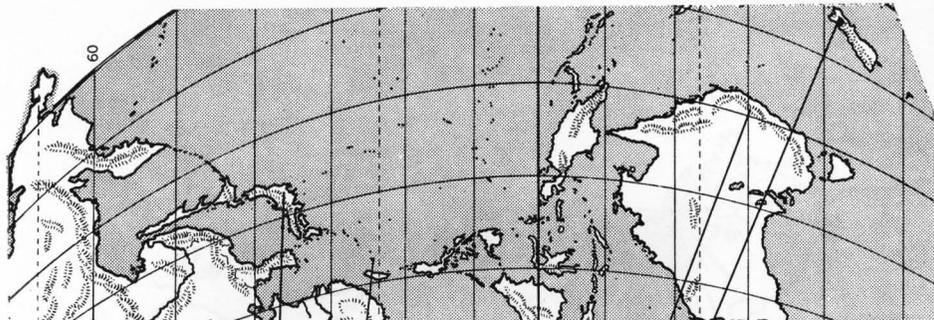
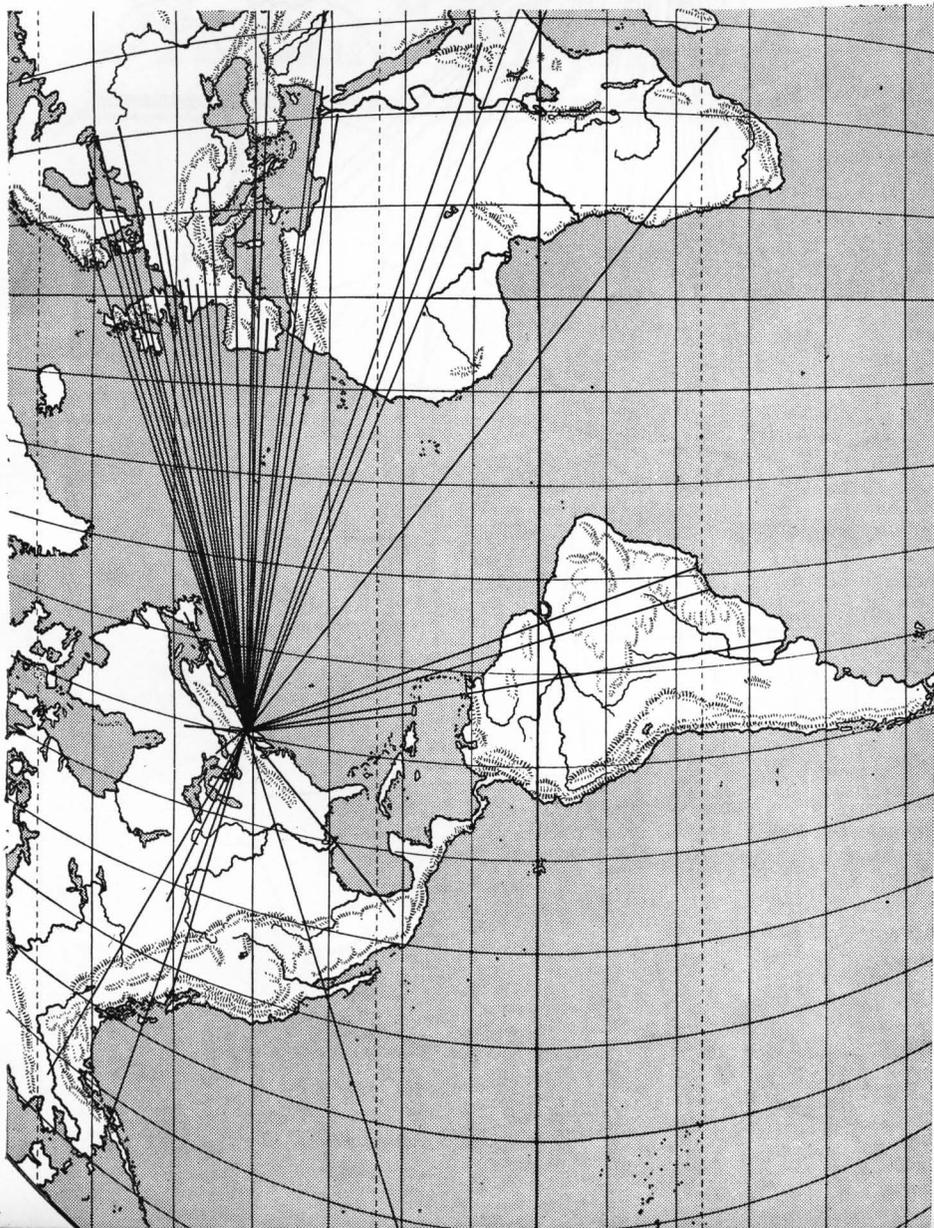


*Н. С. Тимашев (1886 — )*

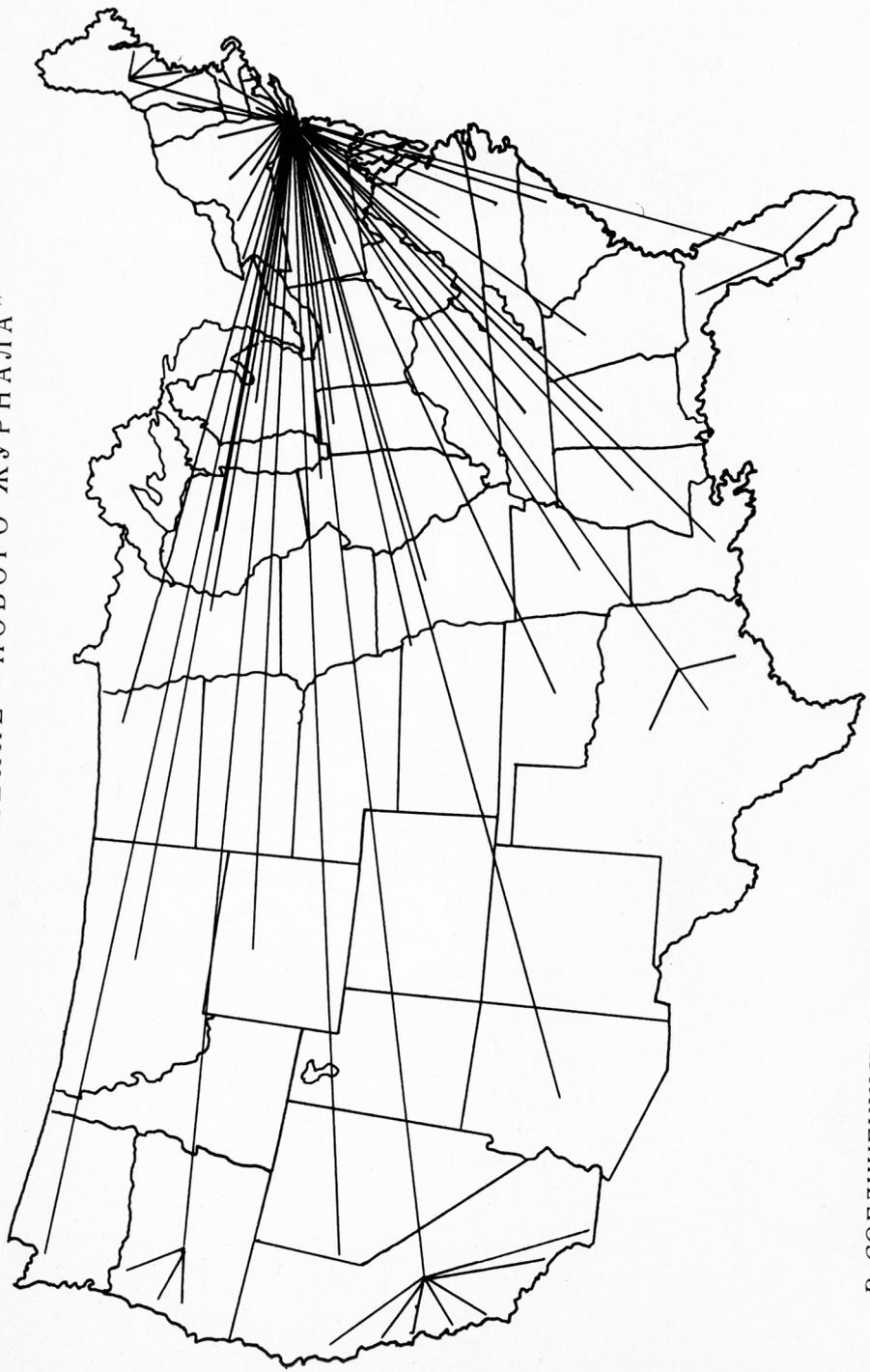


*Р. Б. Гуль (1896 — )*





РАСПРОСТРАНЕНИЕ "НОВОГО ЖУРНАЛА"



В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

THE  
NEW REVIEW  
Новый Журнал

---

*Основатели — М. Алданов и М. Цетлин*

*С 1946 по 1959 редактор М. Карпович*

*С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев*

*Двадцать шестой год издания*

1942 — 1967

Кн. 87

НЬЮ ИОРК

1967

*Карты распространения «Нового Журнала»  
сделаны Володи́ей и Игорем Ради́ш.*

*РЕДАКТОР: РОМАН ГУЛЬ  
СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ: ЗОЯ ЮРЬЕВА*

*NEW REVIEW, June, 1967  
Quarterly, No. 87  
2700 Broadway, New York, N. Y. 10025  
Subscription Price \$9. — for one year  
Publisher: New Review, Inc.  
Second Class Mail postage paid  
at New York, N. Y.*

## О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
<i>Ив. Бунин</i> — Стихи . . . . .	5
<i>Роман Гуль</i> — Двадцать пять лет . . . . .	6
<i>Геннадий Панин</i> — Новому Журналу . . . . .	29
<i>Н. Берберова</i> — Курсив мой . . . . .	30
<i>Игорь Чиннов</i> — Стихи . . . . .	54
<i>Ю. Кротков</i> — Сталин . . . . .	56
<i>Иван Елагин</i> — Стихи . . . . .	77
<i>Александр Кашин</i> — Похоть . . . . .	81
<i>Глеб Глинка</i> — Стихи . . . . .	85
<i>Н. Ульянов</i> — Мантуанская ночь . . . . .	87
<i>Алексис Раннит</i> — Клены . . . . .	95
<i>Збигнев Фолеевский</i> — М. Домбровская и русская литература . . . . .	96
<i>Н. Тuroверов</i> — Три восьмистишия . . . . .	102
<i>Геннадий Панин</i> — Об акrostихе . . . . .	103
<i>Г. Панин</i> — Акrostихи . . . . .	117
<i>Р. Плетнев</i> — Время и пространство у Достоевского . . . . .	118
<i>Яков Бергер</i> — Стихи . . . . .	128

### ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>Зинаида Шаховская</i> — Марина Цветаева . . . . .	130
<i>Письма Ан-ского</i> . . . . .	142
<i>П. Гарви</i> — 1917 год . . . . .	166
<i>М. М. Кульман</i> — Русские подвижницы за рубежом . . . . .	178
<i>А. Левитин и В. Шавров</i> — Очерки по истории русской церковной смуты . . . . .	198

### ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>Д. Мережковский</i> — Что сделал Паскаль? . . . . .	245
<i>В. Пирожкова</i> — Человек в тоталитарном государстве . . . . .	268
<i>Д. Шуб</i> — «Купец революции» . . . . .	294

### БИБЛИОГРАФИЯ:

<i>Зоя Юрьева</i> — Тувим по-русски. <i>Г. Керн.</i> — <i>V. Zamyatin, The Dragon. А. Небольсин</i> — О Dostoevskom: Stat'i. <i>Р. Гуль</i> — М. Булгаков. Драмы и комедии. <i>В. Завалишин</i> — Н. Гумилев. Собрание сочинений. Т. 3. <i>И. Шведе</i> — <i>W. Lednicki. Pamiętniki. И. Чиннов</i> — Ю. Джанумов. Стихи. <i>Т. Фесенко</i> — <i>A. Steininger. Literatur und Politik in der Sowietunion. Д. Анин</i> — С. Шварц. Евреи в Сов. Союзе. <i>Р. Гуль</i> — С. Сатина. Образование женщин в дорев. России. <i>Р. Г.</i> — М. Шатов. Материалы и документы ОДНР в годы 2-й войны. <i>В. Осокин. А. А. Власов</i> — <i>Книги для отзыва</i> . . . . .	323
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

<i>Указатель содержания книг «Н. Ж.» с 71-й по 85-й</i> . . . . .	357
-------------------------------------------------------------------	-----

**PRODUCED BY RAUSEN LANGUAGE DIVISION  
150 VARICK STREET. NEW YORK, N. Y. 10013**



\*

Один я был в полночном мире, —  
Я до рассвета не уснул.  
Слышней, торжественней и шире  
Шел моря отдаленный гул

Один я был во всей вселенной,  
Я был как Бог ее — и мне,  
Лишь мне звучал тот довременный  
Глас бездны в гулкой тишине.

\*

Под окном бродила и скучала,  
Подходила, горестно молчала...  
А ведь я и сам был рад  
Положить перо покорно,  
Выскочить в окно проворно,  
Увести тебя в весенний сад.

Там однажды я тебе признался, —  
Плача и смеясь, пообещался:  
“Если встретимся в саду в раю,  
На какой-нибудь дорожке,  
Поклонюсь тебе я в ножки  
За любовь мою”.

*Ив. Бунин, 6.XI.38.*

---

Эти стихи — из архива И. А. Бунина. Печатаются впервые.

*Л. Зуров*

Copyright by “The New Review”, 1967.

## ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ\*

В этом — 1967-м — году «Новому Журналу» исполняется 25 лет. Это — рекорд длительности издания русского «толстого» журнала за рубежом. В течение 25 лет ни один русский журнал за рубежом никогда не издавался. И я думаю, с этим юбилеем можно поздравить ту часть русской эмиграции, которая «Новый Журнал» читает. Конечно, такое поздравление звучит несколько иронически. Было бы, разумеется, лучше и всем нам приятнее, чтобы в течение этих 25 лет «Новый Журнал» перешел куда-нибудь в Москву, например, на Арбат, в помещение теперешнего коммунистического журнала «Москва». Или — в Питер, скажем, на Невский проспект, в помещение теперешнего журнала «Нева». Но этого не произошло. И не стоит обольщать себя «быстрыми надеждами». Вряд ли это произойдет в скором времени, хотя пути Господни неисповедимы и предсказание будущего — дело трудное и туманное. Во всяком случае свой 25-летний юбилей «Новый Журнал» отмечает пока что за рубежом. И на мой взгляд, и его редакции и его сотрудникам есть чем гордиться. Гордиться хотя бы уж тем, что в течение четверти века «Новый Журнал» служит русской культуре и будущей свободной России, в освобождение которой от гнета партийной диктатуры руководители журнала всегда верили и верят, в какой бы тьме ни были скрыты сроки этого освобождения.

Сейчас я кратко останавлиюсь на истории основания журнала и на его литературной жизни за 25 лет. Первая книга «Нового Журнала» вышла в страшное время — в 1942-м году — в разгар мировой войны, когда все свободные русские издания в Западной Европе были уничтожены Гитлером и его «Квислингами». Но вот в 1942-м году русские писатели-эмигранты, только что переехавшие из Европы в Америку, уже пробуют в Нью-Йорке — взамен

---

\* Слово, произнесенное 9-го апреля с. г. в Нью-Йоркском Университете на праздновании 25-летнего юбилея «Нового Журнала». РЕД.

уничтоженных в Европе русских журналов — начать новое издание «толстого» журнала. Несколько неудачно и неизобретательно они назвали его «Новый Журнал». Но — удачно это или нет — новый «толстый» журнал был назван именно так и не собирается менять свое несколько неуклюжее название, ибо оно стало уже историческим.

При своем основании «Новый Журнал» ставил себе всё те же старые задачи русской интеллигенции в эмиграции: продолжение свободной русской культурной традиции, утверждение свободы человека и великой ценности исторической России.

Кому же пришла эта мысль — попытаться основать в Нью-Йорке «Новый Журнал»? Эта мысль пришла двум людям: Михаилу Осиповичу Цетлину и Марку Александровичу Алданову. Как рассказывает Алданов, эта мысль впервые возникла у него и у Цетлина еще в 1940 году во Франции, в Грассе, в беседе с Иваном Алексеевичем Буниным, перед отъездом Алданова и Цетлина в Америку. Совсем уже перед погрузкой на пароход Алданов пишет Бунину из Марсея: «в Нью-Йорке я решил первым делом заняться поиском денег для создания журнала». А в 1941 году, уже из Нью-Йорка, Алданов пишет Бунину: «Толстый журнал будет почти наверное... можно будет выпустить книги две, а потом будет видно...»

Как видите, начиная издание журнала, основатели его отнюдь не предполагали, что он просуществует 25 лет. Они были уверены — да и то не очень — что выпустят «книжки две». Но судьба сулила журналу иное. С «Н. Ж.» произошло некое русское чудо. Вот уже вышли 87 книг и умирать «Н. Ж.» пока не собирается. Конечно, осторожность в прогнозах о будущем журнала у Цетлина и Алданова была обоснована. Ведь они начали выпускать журнал, как я сказал, в самый тяжелый год войны — 1942-й — когда русские поэты, прозаики, публицисты, ученые, оставшиеся в Западной Европе, были совершенно отрезаны от своих товарищей, попавших в Америку. И пустившимся в Америку в литературное плавание редакторам-издателям было естественно сомневаться и в том, хватит ли у журнала литературных сил, создаст ли он круг своих читателей и, наконец, хватит ли денег на длительное издание. Ведь издание русского «толстого» журнала, даже в дореволюционной России, почти всегда бывало делом убыточным, отнюдь не коммерческим. «Толстый» журнал

в России был всегда «интеллигентской затеей». И в этом-то и была его сила.

В редакционной статье первой книги «Н. Ж.» задачи его определялись так: — «Наше издание, начинающееся в небывалое, катастрофическое время, — единственный русский «толстый» журнал во всем мире вне пределов Советской России. Это увеличивает нашу ответственность и возлагает на нас обязанность, которой не имели прежние журналы: мы считаем своим долгом открыть страницы «Н. Ж.» писателям разных направлений — разумеется, в известных пределах: люди, сочувствующие национал-социалистам и большевикам у нас писать не могут».

Так было сказано 25 лет тому назад, так остается и до сих пор: люди, сочувствующие идеям, убивающим свободное творчество человека — не могут быть сотрудниками «Нового Журнала». И в то же время я хочу подчеркнуть, что на протяжении 25 лет редакция «Н. Ж.» объединяла *всех*, кому дорога свободная русская культура, проводя принцип самой широкой терпимости ко всякому инакомыслию — политическому, мировоззренческому, к разным литературным направлениям, к разности литературных вкусов, школ, даже мод. Исключались и до сих пор исключаются только сторонники тоталитарных идеологий, то-есть сторонники массовой антикультуры.

Для будущего историка русской эмиграции такая внепартийность «Н. Ж.» и такая широкая его терпимость к разномыслию, я думаю, будут неким приятным открытием, неким кладом, ибо в журнале он найдет полный спектр взглядов зарубежных русских писателей и ученых. Он найдет работы выдающихся русских религиозных мыслителей, русских выдающихся ученых, юристов, экономистов, биологов, славистов, публицистику русских демократических социалистов (и народнического и марксистского оттенков), русских либеральных консерваторов и демократов *tout court*. В отделе художественной прозы он найдет лучшие вещи нобелевского лауреата Ивана Бунина и вещи многих других известных прозаиков и поэтов, как начавших свою литературную работу в дореволюционной России, так и начавших ее только в эмиграции.

Кем же — в смысле писательском — были люди, основавшие «Н. Ж.»? У нас есть все основания помянуть их добрым словом. Но я думаю, что с моей стороны было бы отсутствием вкуса и такта, если б я в этом своем выступлении, только бы и делал, что

«воскурял» фамиям основателям «Н. Ж.», его редакторам, сотрудникам и журналу, как таковому. Я этого делать не собираюсь, памятуя завет старика Аристотеля: «пусть мне дороги друзья и дорога истина, однако долг повелевает мне отдать предпочтение истине», по-русски же — «Платон мне друг, но истина дороже». И в меру своих сил я постараюсь быть беспристрастным, отмечая и недостатки журнала и его несомненные заслуги, и литературные качества редакторов, и их человеческие слабости, отражавшиеся на журнале.

Все 25 лет существования «Н. Ж.» я делю на три периода. Первый — с его основания (в 1942 г.) до конца войны (в 1945 г.). Второй — с конца войны (с 1945 г.) и до смерти Сталина, вернее, до наступления т. н. «оттепели». И третий (примерно, с второй половины 50-х годов) и до наших дней, когда «Новый Журнал» волей исторической судьбы все-таки стал неким «мостом» — пусть еще зыбким «мостом» — из свободного мира — в Советский Союз и таким же «мостом» из Советского Союза в свободный мир. У нас есть все доказательства это утверждать.

Говоря о первом периоде журнала я хочу (и я должен) остановиться на его основателях. Из всех редакторов «Н. Ж.» я не знал лично только М. О. Цетлина. Но его облик я представляю себе ясно по рассказам близких ему людей и по тем воспоминаниям, которые о нем опубликованы. М. О. Цетлин родился в 1882 году в Москве, в богатой семье. Тихий, болезненный человек, чьи интересы смолоду были — поэзия, музыка, живопись. Правда, в 1905 году он примкнул к партии с.-р., но это была некая «дань времени», партийцем, политическим человеком он никогда не стал и не был. С 1906 года Цетлин долго жил за границей. Он был прекрасно образован, владел всеми главными европейскими языками, по своему складу был типичным русским интеллигентом дореволюционной формации. Некоторые писатели, знавшие Цетлина, отмечают в нем некую старомодность вкусов. Это в каком-то смысле должно быть верно. Во всяком случае кораблю современности он предпочитал корабль вечности. И был не из тех, кто при всяком удобном и даже при неудобном случае «задрал штаны бежит за комсомолом», будь это «комсомол» московский, или английские битлс, или поп-арт, или оп-арт. В одной своей статье «О критике» Цетлин ясно выражает свое литературное кредо. Говоря о критиках формалистах (вернее о крайних формалистах, которых я бы назвал «механистами») Цетлин пишет: «Для кри-

тиков формалистов не существует в произведении вопроса «что», а только «как»; для них единственный вопрос — *как это сделано?* Это очень любопытно, но такой вопрос задает себе часто ребенок при виде игрушки и для удовлетворения любопытства ломает игрушку и не употребляет ее для игры. Критики-формалисты так и думают: игрушки существуют не для игры, но для того, чтобы быть сломанными. Критики-формалисты не только отрекаются от своей личности, но и уничтожают личность автора. Для них не существует биографии. Для них литература — безличная эволюция литературных приемов, отдельные группы, которых носят случайные псевдонимы — например, Лермонтов или Гоголь». Цетлин был сторонником философской критики (Влад. Соловьев, Розанов, Шестов, Мережковский). «Здесь, — пишет Цетлин, — критик является представителем человеческого в самом общем и углубленном его выражении. И в самых высоких своих образцах критика философская переходит в критику религиозную».\*

За годы своей жизни Цетлин выпустил пять сборников стихов. Поэзию он чувствовал тонко, но приметным поэтом не стал. Книги его стихов забыты, хотя в них бывали подлинные строфы. Так, в одном из стихотворений, несколько напоминающем русскую латынь Валерия Брюсова, Цетлин так говорит о современности, в своем сознании связывая ее с падением античного мира:

Он с обреченными связал свою судьбу.  
 Он близких к гибели и слабых на борьбу  
 Звал за бессильные и дряхлые законы.  
 Но с триумвирами — и рок, и легионы,  
 Но императорских победен взлет орлов,  
 А у Сената что? Запас красивых слов!

Это стихотворение называется «Цицерон». Оно довольно «актуально», если в «Цицероне» видеть русскую демократию во главе с А. Ф. Керенским, полную «красивых слов». А в триумвирах и легионах — Ленина, Троцкого, Сталина с победоносным,

---

\* Как на образец философской критики в наши дни, укажу на опубликованные в журнале «Возрождение» интересные статьи проф. В. Н. Ильина о Случевском, о Белом, об Анненском, о Брюсове и других. — Р. Г.

все захлестывающим охлосом. В Париже в журнале «Современные Записки» Цетлин был бессменным редактором отдела поэзии. И эту работу выполнял прекрасно. Но главное литературное наследство, оставленное им была не его поэзия, а две книги его прозы — «Декабристы» и «Пятеро и другие». Первая посвящена теме декабрьского восстания 1825 года. А «Пятеро и другие» — знаменитой «могучей кучке» русских композиторов и людей их окружавших — Мусоргский, Балакирев, Римский-Корсаков, Бородин, Стасов, Глинка, Даргомыжский, Серов, Кюи. Алданов назвал обе книги Цетлина — «высокими образцами историко-биографической литературы». Я не думаю, чтобы в этой оценке было чрезмерное дружеское преувеличение. К обеим этим книгам Цетлина русский читатель будет не раз возвращаться. А если бы они были изданы в свободной России, то их успех и у широкого читателя и у знатоков эпохи, мне кажется, был бы обеспечен.

Я хочу думать, что эти беглые отрывки о Цетлине дадут все-таки какой-то литературный облик основателя и первого редактора «Нового Журнала». Алданов говорит, что Цетлин «был почти влюблен в свою работу над «Новым Журналом». Но судьба не дала Цетлину долгой жизни. В 1945 году смерть прервала его работу над 11 книгой «Нового Журнала». До последней минуты, уже больной, в постели, Цетлин все редактировал рукописи, читал корректуру. И один из ближайших его друзей говорил: «Если бы М. О. отказался от этой своей работы, он, вероятно, умер бы очень скоро: только эта работа его и поддерживала».

После смерти М. О. Цетлина единоличным редактором журнала стал профессор М. М. Карпович, ибо М. А. Алданов еще раньше (после выхода 4-й книги) уже отошел от редакторства, хотя всегда оставался не только постоянным сотрудником, но и близким «Новому Журналу» человеком. Поэтому говоря о редакторах «Н. Ж.» я должен сказать и о М. А. Алданове.

Алданов родился в 1886 году в богатой семье, в Киеве. Получил хорошее образование: окончил два факультета Петербургского у-та: физико-математический и юридический и парижскую Ecole des Sciences Sociales. Много путешествовал по Европе, бывал в Азии, в Африке, в Америке. Начал писать еще в России, до революции выпустив три книги: «Ошибка Толстого», «Армагеддон» и «Толстой и Роллан». Но только в эмиграции литературная работа Алданова развернулась широко. За рубежом он напи-

сал около 30 книг. Из них 24 были переведены на иностранные языки, переводы были даже на бенгальский (чему Алданов шутливо радовался!). Многие книги Алданова, особенно его историческая тетралогия («Св. Елена, маленький остров», «Девятое Термидора», «Чортов мост», «Заговор») имели очень большой успех, как у русских, так и у иностранных читателей. Кроме исторических романов и романов из современной жизни, Алданов писал рассказы, выпустил философскую книгу «Ульмская ночь» и четыре книги очерков, из которых его блестящие политические портреты разных государственных деятелей, обнаруживают необычайную эрудицию Алданова, его остроумие и меткость характеристик. Н. И. Ульянов в статье «Алданов-эссеист» дает некоторые образцы такой писательской меткости. Приведу некоторые из них. О Леоне Блюме. «Блюм в социалистическом лагере профессионал любезности. Жаль, что он улыбается преимущественно левой стороной». Еще о Блюме. «Программа Леона Блюма очень хороша. Осуществить ее невозможно». О крайне-левых партиях. «Левому крылу нередко надо бросать кость — быть может с искренним пожеланием, чтобы оно этой костью подавилось». О графе Эстергази, виновнике дела Дрейфуса. Эстергази заявлял: «У меня в жизни было 22 дуэли: две из-за собак и ни одной из-за женщин». О капиталистическом строе. «Поистине, должна быть какая-то внутренняя сила в капиталистическом мире, если его еще не погубила граничащая с чудесным глупость нынешних его руководителей». Об отношениях Европы и Сов. Союза. «Отношения между Европой и Сов. Россией — трагикомедия коварства и любви».

Некоторые критики считают, что политические эссе — лучшее в творчестве Алданова. Другие, напротив, высоко ставят его исторические романы. О вкусах, как известно, не спорят. Но бесспорно одно, что М. А. Алданов был своеобразным и выдающимся писателем и человеком. И живи он в свободной России, его книги расходились бы миллионными тиражами.

По характеру Алданов был сродни Цетлину. Оба были мягки, ко всем благожелательны, очень терпимы к чужому мнению. По своему мировоззрению Алданов был скептик и пессимист. Но, не питая никаких иллюзий в отношении ближнего, он в общении репительливо со всеми был изысканно вежлив и неизменно доброжелателен. Карпович говорил, что в основе благожелательности Алданова лежало прежде всего то, что он был человеком куль-

туры. Это верно. Недаром Бунин называл Алданова «последним джентльменом русской эмиграции». Впрочем, эта роль была не очень трудна, ибо чем-чем, а джентльменством русская эмиграция не так уж густо заселена. Алданов умер в 1957 г. во Франции, в Ницце.

Как я уже сказал, с 1945 года все руководство журналом перешло к М. М. Карповичу. Я знал М. М. долго и хорошо, работая вместе с ним с 1952 года и до его смерти в 1959 году. Но о нем я скажу позже. А сейчас, я думаю, надо подвести некий итог первому периоду «Нового Журнала»: с основания и до конца мировой войны.

К недостаткам этого периода, по-моему, надо отнести переполнение первых книг «Нового Журнала» политически-злободневными статьями. Конечно, это была война и печатание таких статей было понятно. Даже сейчас некая ценность их остается, как отображение тогдашних военных и политических событий и оценка их демократическим сектором русской эмиграции. Но для журнала, каким он был задуман, это все-таки был недостаток, что, кстати, сознавали и сами редактора. В первой книге «Н. Ж.», в редакционной статье, говорилось: — «быть может читатели простят нам, что во втором отделе настоящей книги политика, «рок наших дней», частью вытесняет другое. «Современные Записки», «Русские Записки» и те старые русские журналы, традициям которых мы хотим следовать издавались в мирное время и могли естественно уделять больше места общекультурным, философским, научным вопросам. Мы однако надеемся, что нам удастся в дальнейшем исправить этот большой недостаток первой книги». Свои извинения редактора приносили читателям и за некоторую политическую одномастность своих сотрудников. «В сильном нам масштабе мы хотим осуществлять идею единения в подборе сотрудников «Н. Ж.». Но по случайности в публицистическом отделе первой книги преобладают люди левого лагеря. Во второй книге будут статьи публицистов иного направления», — так писала редакция.

Другим недостатком начальных книг журнала был плохой стихотворный отдел. Сейчас всякий человек более-менее чувствующий поэзию, в комплекте «Н. Ж.» увидит, что первые книги, наряду с ценными стихами, часто содержат не очень интересную поэзию, говорящую только о необычайной терпимости его редакторов. Конечно, и этот недостаток отчасти обуславливался опре-

занностью от Европы, но и мягкость М. О. Цетлина была тоже виною. По своей деликатности Цетлин не мог отказать многим, писавшим стихи, без всякого к тому основания. Но в конце концов все это мелкие недостатки по сравнению с тем замечательным и ценным материалом, который был опубликован в «Н. Ж.» за этот период. У меня нет возможности перечислять *все* ценное. Я отмечу только некоторые произведения, чтоб показать значимость публикаций «Н. Ж.» с 1942-го по 1945-й год.

За это время в отделе художественной прозы были напечатаны прекрасные рассказы Ив. Бунина — «Речной трактир», «Пароход 'Саратов'», «Таня», «Генрих», «Дубки», «Натали» и другие; роман М. Алданова «Истоки»; вещи Б. Зайцева, В. Набокова, М. Осоргина, В. Яновского. Но что мне хотелось бы особенно выделить, так это изумительные записи Михаила Чехова, известного актера МХТ, — «Жизнь и встречи». Жаль, что эта мастерски написанная проза до сих пор не переиздана отдельной книгой. «Жизнь и встречи» Михаила Чехова, я думаю, одна из самых примечательных публикаций «Нового Журнала» за «военный период». Очень хороши и воспоминания известного художника М. В. Добужинского. Среди других ценных воспоминаний и статей отмечу воспоминания бывшего царского министра графа П. Н. Игнатьева, известного композитора А. Т. Гречанинова, знаменитого химика проф. В. Н. Ипатьева, статьи проф. Бабкина об академике И. П. Павлове, воспоминания быв. советского дипломата А. Г. Бармина, воспоминания быв. редактора газет «Речь» и «Руль» И. В. Гессена, статьи музыковеда И. Яссера. В публицистике за этот период было тоже много ценных статей — известного историка П. Н. Милюкова, известных социологов Н. С. Тимашева и П. А. Сорокина, философа и публициста Г. П. Федотова, проф. Г. Гинса, известного экономиста В. С. Войтинского, А. Ф. Керенского, А. А. Гольденвейзера, В. М. Чернова, М. В. Вишняка, Б. И. Николаевского, Г. Я. Аронсона, Д. Ю. Далина, В. Александровой, Ю. П. Денике, Д. Н. Шуба, С. М. Шварца и других.

Второй период «Нового Журнала» начался со времени окончания войны, когда редакция могла уже связаться с русскими писателями, остававшимися во время войны в Европе. Это началось, примерно, с книги 14-й. Тогда стал печататься роман Б. Зайцева «Путешествие Глеба», отрывки из его книги «Жуковский», «Плачущая канава» А. Ремизова, проза Н. Бербе-

ровой, Вл. Варшавского, Г. Газданова, Р. Гуля, Л. Зурова, М. Иванникова, Ю. Марголина, И. Одоевцевой. В это же время впервые в «Н. Ж.» стали сотрудничать советские послевоенные эмигранты. В отделе прозы — повесть о концлагере Г. Андреева «Трудные дороги», повесть П. Ершова «Нинель», рассказы Н. Ульянова и других. В отделе поэзии, наряду с стихами И. Бунина, Ю. Балтрушайтиса, М. Волошина, Э. Гиппиус, М. Цветаевой, Ф. Сологуба, Н. Клюева, Георгия Иванова, И. Северянина, Вл. Корвин-Пиотровского, И. Елагина, В. Набокова, Страшника, Ю. Одарченко, К. Померанцева, И. Одоевцевой, Вл. Смоленского, А. Величковского, Лидии Алексеевой, Е. Таубер, Г. Евангулова, Ю. Терапиано, Г. Кузнецовой, Н. Туроверова, Н. Оцупа, Вл. Злобина, Я. Бергера, И. Чиннова, стали печататься стихи — Ольги Анстей, Глеба Глинки, О. Ильинского, Д. Кленовского, В. Маркова, Н. Моршена и других. По-моему, особенно ценны — за этот период — были публикации в отделе воспоминаний и документов: — Зинаида Гиппиус о Мережковском, Федор Степун о предреволюционной России, Юрий Анненков о Блоке, К. Брешковская о революции 1917 года, Н. Валентинов — «Встречи с Андреем Белым», Н. Евреинов о театре «Кривое зеркало», известный пушкинист Модест Гофман о предреволюционном литературном Петербурге, А. Гумилева — «Н. С. Гумилев», были опубликованы письма М. Горького к В. Ходасевичу и к Л. Андрееву, студенческие воспоминания П. Н. Милюкова, размышления В. А. Маклакова о 1-й Государственной Думе; личные воспоминания известного итальянского слависта Этторе Ло Гатто о поэте Николае Клюеве; воспоминания члена Временного правительства И. Г. Церетели о революции 1917 года, протопресвитера о. Георгия Шавельского — о первой Мировой войне, Б. Погореловой — «Валерий Брюсов и его окружение». Особенно хочу отметить превосходно написанные воспоминания известной публицистки Е. Д. Кусковой — о детстве, юности, о предреволюционном времени. К сожалению, эти воспоминания были прерваны смертью их автора. Я очень многого, конечно, не отмечаю. Скажу только, что в общий поток мемуарной литературы влились тогда интереснейшие работы советских послевоенных эмигрантов — М. Корякова очерки о войне, бывшего беспризорника Н. Воинова — «Беспризорные», художника Морриса Шабля — «Дом Предварительного Заключение», о терроре времен ежовщины, Е. Богдановича (проф. Зоргенфрея) «Я гражд-

данин Ленинграда» — о блокаде Ленинграда во время войны; воспоминания Л. Дадиной «М. Волошин в Коктебеле», В. Позднякова о советских партизанах — «Республика Зуева»; Т. Кошеновой — о буднях советской женщины; подполковника Ершова — о работе НКВД во время войны; Н. Витова — рассказ латышского крестьянина, бежавшего из СССР; Вл. Орлова — «Из записок гвардейского политработника»; Т. Фесенко — о Киеве времен войны; Ю. Елагина — театральные воспоминания; проф. К. Штеппы — о массовом терроре ежовщины. Были напечатаны письма Марины Цветаевой к Г. Федотову и Р. Гулю и письма Зинаиды Гиппиус и В. Ходасевича к М. Вишняку.

За этот второй период «Новым Журналом» было опубликовано много ценного и в отделе «Политика и культура». Отмечу статьи известных религиозных мыслителей — Н. А. Бердяева, прот. о. В. Зеньковского, проф. Н. О. Лосского, Г. П. Федотова «Россия и свобода», «Судьба империи» и друг., С. Л. Франка «Ересь утопизма», Л. Шестова «Лютер и церковь». Отмечу и работы известных славистов Д. И. Чижевского «Баадер и Россия» и Р. В. Шлетнева «Федоров и Достоевский». Из истории русского утопизма; интересна работа знатока русского мASONства П. А. Бурышкина «Филипп — предшественник Распутина»; статьи Н. Валентинова о Ленине под общим заглавием «Ранний Ленин»; статья В. А. Маклакова «Еретические мысли»; интересна большая работа известного американского ученого и дипломата Джорджа Кеннана «Америка и русское будущее». Много статей опубликовал за этот период проф. Н. С. Тимашев — «Пути послевоенной России», «Окаменение коммунистического строя», «Очернение Сталина» и др. Проф. М. М. Карпович давал в каждой книге всегда интересную редакционную статью на темы истории, политики, литературы под общим заглавием «Комментарии». Было много ценных публикаций на политические и экономические темы — А. Ф. Керенского, Д. Ю. Далина, Ю. П. Денике, Е. Д. Кусковой, М. В. Вишняка, проф. Д. Н. Иванцова, Н. И. Ульянова, А. В. Тырковой и других. Одним словом, на мой взгляд, за второй период «Н. Ж.» опубликовал множество литературных произведений, мемуаров, документов и статей, значение и ценность которых несомненны и которые останутся вкладом в русскую литературу и науку.

Психологическая трудность для редакции «Н. Ж.» в это время была в том неизбежном для эмиграции ощущении оторван-

ности, в понимании того, что журнал читается лишь русской эмиграцией и иностранцами, занимающимися вопросами России. Руководство журнала чувствовало себя в некоем безвоздушном пространстве, не находя (или почти не находя) доступа к современному русскому читателю в Сов. Союзе.

По-моему, в эмиграции мы живем более-менее благополучно только потому, что у нас как-то нет времени задуматься о том, как страшно это наше безвоздушное существование, как страшна всегда всякая эмиграция, а затянувшаяся на полвека — в особенности. Многие эмигранты неосознанно волокут эту жизнь — до конца, до кладбища на Сент-Женевьев-де-Буа, под Парижем, или до Нового Дивеева, под Нью-Йорком. Эту страшность эмигрантского бытия в свое время остро ощущал Герцен, так и умерший в Париже, и похороненный на знаменитом Пер Лашез, с которого позднее его останки были перевезены в «лазурно-голубую» Ниццу. Остро ощущал эту страшность эмиграции и мой земляк, пензяк, почти сосед по имению, друг Герцена, Николай Огарев, спившийся в Лондоне и похороненный где-то в Гринвиче на окраине британской столицы. Что же спасает нас от страшности этого существования? Нас спасает — как это ни банально звучит — только духовная связь с Россией. С какой Россией? С советской? С Советским Союзом? Нет! С другой, с той вечной Россией, которой мы — сами того не сознавая — ежедневно живем, которая непрестанно живет в нас и с нами — в нашей крови, в нашей психике, в нашем душевном складе, в нашем взгляде на мир. И хотим мы того или не хотим — но так же неосознанно — мы ведь работаем, пишем, сочиняем только для нее, для России, даже тогда, когда писатель от этого публично отрекается. «Если кончена моя Россия — я умираю», писала в одном стихотворении Зинаида Гиппиус, подчеркивая эту нашу ничем неразрываемую, метафизическую связь с музыкой русской культуры. И когда эмигрант времен Герцена, поэт и ученый Владимир Сергеевич Печерин, возненавидевший Россию, уехал из нее и писал в стихах — «и тяжелый крест изгнания добровольно я подъял», а в прозе — «Россия никогда не будет иметь меня своим подданным» — он все-таки уносил именно Россию в себе. Известно, что став католическим монахом, Печерин устроил на какой-то площади в Ирландии публичное сожжение протестантской Библии. Кто знает, чего в нем было больше в том момент:

горячо взятого католицизма или России?

В 1952 году М. М. Карпович и издававшая тогда журнал М. С. Цетлина предложили мне войти в редакцию в качестве секретаря. Я вошел. И с тех пор — 15 лет — я отдаю все свои литературные силы работе в «Новом Журнале». Я сейчас перейду к обзору третьего периода «Нового Журнала». Но перед этим хочу дать хотя бы беглый набросок облика М. М. Карповича, 12 лет редактировавшего «Новый Журнал».

М. М. Карпович родился в 1888 году в Тифлисе, в нем была польская, грузинская и русская кровь. По окончании гимназии М.М. поступил в 1908 г. в Московский университет на историко-филологический факультет и был оставлен при университете по кафедре русской истории. Но научной карьеры в России Карпович сделать не успел. В 1917 году, в составе «чрезвычайной миссии», вместе с своим другом, послом Временного правительства Б. А. Бахметевым, он выехал в Америку — на «шесть месяцев». Увы, эти «шесть месяцев» стали всей последующей жизнью Карповича потому, что в России произошел «октябрьский переворот».

По своему характеру М. М. Карпович был схож с Цетлиным и Алдановым. Та же мягкость и такт в обращении со всеми людьми, то же внутреннее отталкивание от всякой резкости и любовь к философии англо-саксонского компромисса. Политически Карпович был русским либералом, «рыцарем свободы и законности», этот тип человека уже бесповоротно ушел из русской современной жизни. К сожалению. Став с 11-й книги единоличным редактором «Н. Ж.», Карпович еще раз так определил его задачи: — «На страницах нашего журнала нет и не может быть места для отрицателей свободы и проповедников нетерпимости, как нет его и для сторонников соглашательства с ними, но в этих широких пределах журнал наш представляет своим сотрудникам полную возможность высказывать самые разнообразные общественно-политические, философские или эстетические взгляды. Стремясь по мере наших сил и возможностей откликаться на политическую злобу дня, мы не хотим, однако, целиком уходить в злободневность, памятуя о том, что поддержание культурной традиции и признание автономии культуры являются необходимым условием духовного здоровья — и одним из могущественных средств в борьбе против тоталитарного варварства. На этих пу-

тях мы остаемся верны тому духу, в котором «Новый Журнал» был задуман».

Конечно, мягкость и терпимость к чужому мнению у Карповича не были безграничны. Там, где М. М. считал нужным, он бывал по существу тверд, хоть и мягок по форме. Приведу такой пример. В одном романе очень известного автора, отрывки из которого мы печатали, одно действующее лицо, американский полковник, произносил известную фразу Юлия Цезаря — *veni, vidi, vici* (пришел, увидел, победил) — ультра-американски — винай, вайдай, вайсай. Прочтя это, М. М. недовольно поморщился и сказал мне: — «Ну, нет, эту пилюлю я проглотить не могу. Зачем это ему понадобилось? Не понимаю. Во-первых, интеллигентные американцы так не говорят, в этом я уж могу автора уверить! Это гротеск и нехороший гротеск». И М. М. написал об этом маститому романисту, убедив его вычеркнуть эту ультра-американизированную фразу римского полководца. Но иногда, конечно, мягкость характера М. М. и его благожелательное отношение ко всем пишущим и нежелание их обидеть брали верх. Помню, мы получили одну довольно большую вещь, против помещения которой я возражал по многим причинам. Доводы свои я высказал М. М., он был со мной совершенно согласен. Но, как бы и меня и сам себя уговаривая, М. М. говорил: — «Но все-таки как же нам быть? Ведь мы же убьем его, ведь человек нишет, у него есть какой-то свой собственный творческий мир, есть какое-то право писать именно так...» И вдруг, как бы чувствуя всю несостоятельность своих доводов, М. М. сказал: — «Знаете что, Р. Б., давайте просто зажмуримся и сразу проглотим эту пилюлю... ну, что случится? ну, покричат, пошумят, а потом же ведь забудут». Так «пилюля» и пошла в набор при полном зажмуре редактора. За семь лет совместной работы с М. М. было много интересных и забавных историй, из которых не всё еще можно придать гласности. В целом — этот, второй период журнала я бы охарактеризовал, как удачный. И в этом была большая заслуга М. М. Карповича, хоть ему и трудно было заниматься «Новым Журналом», ибо он был и деканом и профессором Харвардского у-та, где читал курсы русской истории и истории русской общественной мысли, что отнимало много времени. И тем не менее почти к каждой книге «Н. Ж.» Михаил Михайлович успевал написать — иногда в поезде между Бостоном и Нью-Йорком — очередной «Комментарий». При М. М.

была создана «Корпорация Нового Журнала», являющаяся фактическим и юридическим его издателем. Сейчас президиум корпорации состоит из А. А. Гольденвейзера (председатель), проф. З. О. Юрьевой (секретарь корпорации) и Д. Н. Шуба (казначей корпорации).

Было бы трудно установить дату, когда второй период «Н. Ж.» перешел в теперешний, третий. Это, разумеется, произошло не сразу после смерти Сталина в 1953 году. Этот период начался с т. н. «оттепели», когда внезапно до нас стали доходить отдельные голоса писателей и читателей из Сов. Союза.

Все, конечно, началось с «Доктора Живаго», пробившего окно в Европу. По-русски за рубежом впервые отрывок из этого романа Бориса Пастернака был напечатан у нас, в 1958 году, в 54-й книге. Затем, вскоре мы стали получать разные отклики, отзывы, даже приветы от некоторых советских писателей. Первый привет был передан нам с одного научного конгресса, через известного русского профессора-слависта от Анны Андреевны Ахматовой. Причем вместе с приветом Ахматова указывала, что в своем очерке о Гумилеве в книге 46, его свояченица А. Гумилева «много напутала и наврала». Так, мы узнали, что Анна Ахматова читает «Новый Журнал». А если читает она, то, вероятно, читают и другие писатели из советской элиты? Вскоре этому пришло подтверждение. Приехавший в Англию советский прозаик Парфенов получил от кого-то в Лондоне «Новый Журнал» — весь тогдашний комплект — и как нам передали, запершись в комнате гостиницы, читал и день и ночь. Парфенову журнал понравился, он хвалил многое, особенно хвалил — стихи Ивана Елагина, и увез с собой в Москву книги «Нового Журнала». Потом от одного американского профессора, побывавшего в Москве, мы узнали, что директор одного из высших учебных заведений Москвы (я умышленно не называю какого) акуратно читает «Новый Журнал», о котором он отозвался американскому коллеге весьма хвалебно, отметив особенно «прекрасный русский язык журнала». После советского языка-«канцелярита» эта похвала нас не так уж удивила и была понятна. Дальше, от литератора француза русского происхождения, ездившего в Москву, мы узнали, что он видел «Н. Ж.» в редакциях «Литературного Наследства» и «Нового Мира». И на его недоуменный вопрос: «Разве вы получаете этот эмигрантский журнал?» — последовал несмущенный ответ: — «Мы следим *за всей* русской литературой». Потом один видный деятель советской культуры (*nomina*

sunt odiosa), встретившись в Европе с своим приятелем, известным американским профессором, за завтраком в разговоре о советских «толстых» журналах, вдруг сказал своему американскому коллеге: «Но больше всего я люблю нью-йоркский «Новый Журнал». Американец так и ахнул. И приехав в США, конечно, сообщил нам об этом, желая нас обрадовать. И, разумеется, обрадовал.

В эти же годы, наряду с такими конспиративными и полуконспиративными отзывами и приветами, мы твердо, фактически, убедились в том, что писательской и ученой элитой в Сов. Союзе «Новый Журнал» читается. В этом убеждали нас ссылки на наш журнал, которые стали появляться в «Литературной Газете», в «Огоньке», в «Литературе и Жизни», в «Литературном Наследстве». Но особенно нас порадовали многочисленные ссылки на «Н. Ж.» в книге известного ученого-слависта, академика Виктора Владимировича Виноградова «Проблема авторства и теория стилей». В ней Виноградов ссылается на «Новый Журнал» много раз; и на статью известного музыковеда Леонида Сабанеева о музыке Стравинского, и на статью Юрия Иваска о поэзии Баратынского. А больше всего ссылок академик Виноградов делает на две статьи о творчестве Достоевского — проф. Николая Трубецкого и проф. Ростислава Плетнева. Факт, что «Н. Ж.» стал пробиваться в Россию давал нам новые силы в деле издания журнала. Мы увидели, что журнал, скромно основанный Цетлиным и Алдановым в 1942 году в Нью-Йорке, стал нужен в России, являясь там некой отдушиной в свободный мир.

Правда, как известно, за оттепелью последовали некие заморозки, которые сказались и на том, что в советской печати за последнее время уже нет ссылок на «Новый Журнал», даже тогда, когда советская печать прямо, без зазрения совести, перепечатывает, например, из «Н. Ж.» всё, что мы печатаем из архива И. А. Бунина: наброски его рассказов, записи, его литературное завещание, письма. Но отсутствие ссылок на наш журнал, беда не большая.\* Зато у нас давно уже есть — через американские

---

\* Справедливости ради должен отметить, что в «Литературной России» от 21 апреля с. г. были перепечатаны «Краткие рассказы» И. Бунина с ссылкой на «нью-йоркский 'Новый Журнал'». А в «Литературной Газете» от 19 апр. с. г. в статье И. Зильберштейна о письмах М. Горького у автора (или у редакции?) не хватило намеренное мужества назвать «Н. Ж.» и он ограничился указанием на «русский журнал, выходящий в Нью Йорке». Р. Г.

агентства — официальные подписки на «Н. Ж.» от ленинградской Академии Наук, от Библиотеки Ленина в Москве, появились подписки и тайнственные, где указан только номер почтового ящика. Последнюю такую подписку мы получили даже из Улан Батора, из Монголии. По своей наивности мы полагаем, что это, вероятно, некие «органы» гос. безопасности под псевдонимами изучают «Н. Ж.» для «пополнения своего образования».

Вместе с проникновением в Сов. Союз в этот третий период своего существования «Новый Журнал» стал проникать и в славянские страны-сателлиты: в Польшу, в Чехословакию, в Югославию. Туда он идет в научные учреждения, в библиотеки. Есть и частные проникновения. Мы знаем, например, наверное, что наш журнал читал Михайло Михайлов, этот завидно смелый и истый поборник свободы мысли. Знаем мы, что «Н. Ж.» регулярно читает А. Твардовский, редактор «Нового Мира», и И. Зильберштейн, редактор «Литературного Наследства». Знаем, что в последний приезд Евгения Евтушенко в США он увез отсюда много книг «Н. Ж.», причем когда на съезде славистов в этом Нью-Йоркском у-те ему дали последнюю тогда — 85 книгу — он сразу обнаружил свое знакомство с «Новым Журналом». Беря 85-ю книгу, Евтушенко сказал: — «А, это тот журнал, где меня всегда ругают». Он, конечно, не прав. Мы его не «ругаем». Вообще мы никого не «ругаем», а стараемся объективно оценивать, отдавая Боже — Богови, а кесарево — кесарю.

К сожалению, М. М. Карпович, который всегда рассматривал «Н. Ж.» как некое свое служение России, не дожил до того времени, когда «Н. Ж.» проник в Советский Союз. Карпович скончался в 1959 г.

После кончины М. М. у нас создалась редакционная коллегия в составе проф. Н. С. Тимашева, Ю. П. Денике и меня. В научном мире Н. С. Тимашев известен, как социолог с международным именем, автор многих трудов, переведенных на многие иностранные языки. Н. С. родился в 1886 году. Высшее образование Н. С. получил в Страсбургском у-те, в Германии, и в Александровском лицее, в Петербурге. В 1914 г. в Петербургском у-те за свою работу «Условное осуждение» Н. С. получил степень магистра права, а в 1915 был приглашен читать в этом университете лекции. С 1916 г., будучи уже доктором права, Н. С. преподавал в Политехническом Институте в Петербурге. В 1918 г. Н. С. — уже ординарный профессор экономического

отделения Института. Но в 1921 г. научная деятельность Н. С. в Советской России обрывается. Из-за арестов по делу о т. н. «таганцевском заговоре» (по которому многие были расстреляны) Н. С. был вынужден покинуть Россию.

За годы жизни на Западе многие труды Н. С. по социологии и праву сделали ему международное имя. Кроме книг, Н. С. опубликовал за рубежом множество статей. И, в частности, с самого основания «Н. Ж.» был его сотрудником, напечатав здесь ряд ценных статей — «Сила и слабость России», «Перестройка в Сов. Союзе», «Религия в Сов. России», «Пути послевоенной России», «На карательно-террористическом фронте» и многие другие. По его взглядам, Н. С. надо определить как либерального консерватора. Так же, как М. М. Карпович, Н. С. — подлинный русский европеец, человек большой культуры, широкой терпимости ко всем инакомыслиям, за исключением одного — тоталитарного варварства. Вступление Н. С. в редакцию «Н. Ж.» было большой поддержкой. Но, к сожалению, из-за тяжелой болезни фактического участия в редакционной работе Н. С. принимать не мог, оставаясь другом и постоянным ценнейшим сотрудником журнала.

Ю. П. Денике родился в Казани в 1887 году. Фамилия его — случайная, как у Герцена. Отцом Ю. П. был казанский помещик Осокин. В Казани Ю. П. окончил среднее учебное заведение и в 1915 г. университет по историко-филологическому факультету, после чего был оставлен для подготовки к профессорскому званию. В 1920 г. Ю. П. на короткое время стал профессором Московского университета по кафедре истории или точнее — исторической социологии. В начале 20-х годов Ю. П. покинул Россию. Серьезный публицист, разносторонне-образованный человек Ю. П. из всех членов редакции «Н. Ж.» за все годы его существования был единственным партийным человеком — социал-демократ (меньшевик). Но социалистом он был жоресовского типа, ценившим всегда и свободу противника. К сожалению, переобремененный всяческой работой, Ю. П. фактического участия в редакционной работе принимать не мог. В 1964 году Ю. П. внезапно скончался в Бельгии.

Так что после смерти М. М. Карповича мне пришлось вести «Новый Журнал» одному. Это время, с 1959 года и до сегодняшних дней, входит в третий период «Нового Журнала», когда журнал пробился к читателю и писателю за «железным занавесом».

## РОМАН ГУЛЬ

За эти годы, так же, как и за предыдущие, «Н. Ж.» опубликовал много примечательных вещей во всех отделах. Отмечу опять-таки только немногое. В отделе художественной прозы мы опубликовали: много коротких рассказов и записей И. А. Бунина, которые, как я уже говорил, перепечатаны советской печатью; две вещи Б. К. Зайцева «Река времен» и «Звезда над Булонью»; очерки В. В. Вейдле «Равенна» и «Бессмертная ошибка» (о Петербурге); пьеса Евг. Замятина, повесть Гайто Газданова «Пробуждение»; большую вещь Д. С. Мережковского, неопубликованную при его жизни — «Св. Иоанн Креста»; несколько рассказов Л. Д. Ржевского и Н. И. Ульянова; отрывки из романа Б. Темляева «Рваная эпопея»; Юлия Марголина «Книга жизни»; рассказы Христины Керн. Но все эти авторы — давние сотрудники журнала. Отмечу прозу, полученную из СССР: — повесть Лидии Чуковской «Софья Петровна», которая уже выходит на нескольких иностранных языках; «Нарым. Дневник ссыльной» Елены Ишугиной — потрясающий документ о советской нарымской ссылке; «Колымские рассказы» Варлаама Шаламова; «Находка в тайге» автора, которого мы подписали псевдонимом «Неизвестный». Опубликовали мы и вещи многих советских невозвращенцев: — концлагерные рассказы известного армянского писателя Сурена Саниняна; рассказы из московской современной жизни Аллы Кторовой; и совсем недавно — сатирические сцены «Сталин» московского драматурга Юрия Кроткова, ставшего невозвращенцем только в 1963 году. В отделе поэзии — неизвестную поэму М. Волошина «Святой Серафим», посмертные стихи Зинаиды Гиппиус, неизвестную поэму Игоря Северянина, «Посмертный дневник» Георгия Иванова, поэмы Т. С. Эллиота в переводе Н. Берберовой и множество стихотворений, как зарубежных поэтов, так и полученных из Сов. Союза от поэтов, которых там не печатают из-за «несозвучности».

В отделе «Литература и Искусство»: — статьи Г. Адамовича под общим заглавием «Оправдание черновики», его же «Наследство Блока», «О чем говорил Чехов», В. Вейдле «О ранней прозе Пастернака», «Похороны Блока», «О смысле стихов», Н. Берберовой «Советская критика сегодня», К. Брауна «Тайная свобода О. Мандельштама», Вяч. Иванова «Мысли о поэзии», композитора Н. К. Метнера «Мысли о музыке», проф. В. Ледницкого о Льве Толстом, композитора Артура Лурье «Вариации о Моцарте», «О мелодии», С. Маковского «Случевский, предтеча

символистов», проф. Р. Плетнева «О лирике Тютчева», А. Ран- нита «Рильке и славянское искусство», «Вяч. Иванов и его 'Свет Вечерний'», Н. Ульянова «Алданов-эссеист», «После Бу- нина» и др., М. Гофмана «Клевета о Достоевском», Вяч. Завали- шина «Заболоцкий», «О Б. Зайцеве»; ряд статей о творчестве До- стоевского проф. Н. С. Трубецкого, В. Александровой «Прошлое сегодняшними глазами» (о советской литературе), Евг. Замятина «О языке», «О сюжете и фабуле», Л. Зурова «Герб Лермонтова», Зои Юрьевой «О творчестве И. Витлина», «Ремизов о Гоголе», Ю. Иваска «Фет», «Бодлер и Достоевский», С. Карлинского «Ве- щественность Анненского», проф. Дм. Чижевского «О поэзии футуризма», «Что такое реализм», «О литературной пародии» и др., прот. А. Шмемана «Анна Ахматова», Ю. Офросимова «О поэзии Вл. Корвин-Пиотровского», Р. Гуля «Цветаева и ее про- за», «Солженицын и соцреализм», «Георгий Иванов»; о романе «Доктор Живаго» были напечатаны четыре статьи — Ф. Степуна, М. Корякова, М. Слонима, Р. Гуля; Т. Петровская «Об эстонской поэзии»; Е. Кох «Марианна Веревкина». И много других инте- ресных литературно-критических статей было напечатано за этот третий период.

В отделе «Воспоминания и Документы» было опубликовано много ценных работ и по истории России и по истории русского искусства и литературы: «Дневники» известного политического деятеля и историка, бывш. министра Временного правительства П. Н. Милюкова за время его пребывания в Белой армии и за время его переговоров с немцами в Киеве в 1918 году; Н. Ва- лентинова «Встречи с Горьким», «О людях революционного под- поля», «Ленинец раньше Ленина» (о большевике Вилонове), Р. Арсенидзе «Из воспоминаний о Сталине», А. Ф. Керенского «Моя жизнь в подполье» — впервые рассказанная Керенским история его подпольной жизни после захвата власти большеви- ками; А. Белобородова «В Академии Художеств»; доктор Эдин- бургского у-та Милица Грин опубликовала «Письма М. Алданова к И. Бунину», Д. Далин — «Дело Кравченко», Л. Дан «Бухарин о Сталине», И. Ильин «На службе у японцев» (во время второй Мировой войны), Г. Кузнецова «Грасский дневник» (воспоми- нания о Бунине); письма известного советского писателя 20-х г.г. Льва Лунца из-заграницы к «Серрапионовым Братьям» (публикация Гари Керна), С. Маковский «Н. Гумилев по личным воспоминаниям», И. Одоевцева «На берегах Невы» (воспомина-

ния о Гумилеве, Мандельштаме, Кузмине и других поэтах-петербуржцах), Леонид Пастернак «Воспоминания», Ю. Анненков — воспоминания о Ленине, о Троцком, о Мейерхольде, письма к художнику Е. Климову известного деятеля «Мира Искусства» художника А. Бенуа, К. Вендзягольский «Савинков», М. Бочарникова «Бой в Зимнем дворце» (воспоминания солдата женского батальона), К. Брешковская «Как я ходила в народ», И. Бунин «К моему завещанию», воспоминания Вл. Бурцева о его возвращении в Россию из эмиграции в 1914 г. («Арест при царе и арест при Ленине»), письма Гершензона и Вяч. Иванова к Вл. Ходасевичу, «Страницы воспоминаний» гр. В. Зубова (о последних днях власти Временного правительства в Гатчине), воспоминания В. А. Муромцевой-Буниной «Беседы с памятью», Андрей Седых — литературные портреты М. Алданова и И. Бунина с их многими письмами к автору, воспоминания о февральской революции 1917 г. бывш. министра Временного правительства И. Г. Церетели, воспоминания проф. К. Штеппы о терроре ежовщины в 1937-38 г.г. Я вынужден оборвать перечень опубликованных материалов... Но совершенно особо я хочу отметить некоторые документальные публикации, полученные из Советского Союза. Это: — «Очерки по истории русской церковной смуты» А. Левицина и В. Шаврова; воспоминания Е. Тагер об О. Мандельштаме (публикация Г. Струве); «Стенограмма заседания Союза советских писателей» по вопросу об исключении Бориса Пастернака из Союза, — большой ценности документ, показывающий тот градус духовного террора и растления, при котором живут советские писатели. По-моему, правильно сказал один зарубежный писатель, что «это документ на 100 лет». Таким же ценным документом является «Послание из СССР на Запад», которое мы подписали «Икс», чтобы не повредить автору. Заграницей это послание уже вышло на многих иностранных языках. Хочу еще подчеркнуть большую и документальную и литературную ценность совсем недавно опубликованного нами «Письма мистеру Смиту» Юрия Кроткова о том, как и почему он, будучи в Москве, написал антиамериканскую пьесу «Джон — солдат мира».

В отделе «Политика и Культура» за третий период «Нового Журнала» отмечу работы известного русского историка проф. Г. В. Вернадского — «Милюков и месторазвитие русского народа» (по поводу выхода заграницей «Очерков по истории русской культуры» Милюкова), «Повесть о Сухане» (по поводу кни-

ги советского историка В. И. Малышева), «Из древней Евразии» (по поводу книги советского историка Льва Николаевича Гумилева), «Человек и животный мир в истории России», «Усть-Цилемские рукописные сборники». Из других работ отмечу: Н. Валентинова «О предках Ленина и его биографиях», прот. о. В. Зеньковского «Мифология в науке», Ю. Гринфельд «Произвол работодателей в СССР» (о фактическом бесправии рабочих в Советском Союзе), С. А. Сатиной «Об истории женского образования в России», известного экономиста Наума Ясного «Начало второго послесталинского десятилетия в сельском хозяйстве», Ю. Денике «За фасадом 22-го съезда партии», «Купеческая семья Тихомирновых» (правда об основании газеты «Правда» на деньги куниц Тихомирновых), проф. Д. Иванцова «Легенды о советской деревне», Д. Анина «Вожди уходят, проблемы остаются», «Русская революция и либерализм», «Советы и международное положение» и др. А. Иванова «Биология и идеологическая борьба» (о Трофиме Лысенко и положении биологии в СССР), Н. Нарокова «Русский язык 'там'», М. Карповича «Два типа русского либерализма» (Милюков и Маклаков), прот. Д. Константинова «Подтверждение неопровержимого» (об известном письме двух московских священников Н. Эшлимана и Г. Якунина), С. Левицкого «Место Н. О. Лосского в русской философии», проф. С. Верховского «О Гоголе», Б. Ловцкого «Философ библейского откровения» (к 100-летию со дня рождения Льва Шестова), Д. Мережковского «Что сделал Св. Иоанн Креста», Б. Двинов «Назад к Ленину?», В. Некрасов «Московские чудачки» (о московской школе математиков: Бугаеве, Цингере, Вернадском, Умове, Бредихине и других), Н. Нижальский «Эволюция академика Павлова» (правда о взглядах акад. Павлова в последний период его жизни), Н. Полторацкий «Проф. Н. С. Тимашев о путях России», Е. Петров-Скиталец «Кронштадтский тезис сегодня», К. Померанцев «Во что верит советская молодежь?», Федор Степун «Вера и знание в философии Франка», «Москва — третий Рим», «Россия между Европой и Азией», проф. Н. С. Тимашев «Сталинский террор и перепись 1959 года», «На правильном ли пути Америка», «Три книги о Питириме Сорокине» и др. Н. Ульянов «Тень Грозного», Дм. Чижевский «Новое в истории русской культуры», Т. Чугунов «Всеобщая декларация прав человека и гражданина и диктатура КПСС», прот. А. Шмеман «Церковь, государство, теократия», А. Шик «Перво-

печатник Федоров», проф. А. Штаммлер «Ф. А. Степун» (к его кончине), Д. Шуб «Европейский социализм и советский коммунизм», «Три биографии Ленина», «Мемуары Керенского» и др.

Если подвести некий итог перечню публикаций во всех отделах «Нового Журнала» за 25 лет его существования, то я думаю, что даже этот беглый и очень неполный обзор показывает, какая тематически разнообразная работа, охватывающая и современность и историю России, проделана «Новым Журналом». Сейчас мы рассылаем наш журнал в 36 стран. И тираж его за третий период увеличился почти вдвое.

25 лет тому назад его основатели определяли идейную задачу «Нового Журнала», как защиту свободы русской культуры, как продолжение того идейного наследства, которое внесла Россия в мировую культуру. Эта задача и сейчас остается неизменной. И она заставляет нас (я сказал бы и вдохновляет нас) — в условиях порой очень трудных — продолжать это русское дело. Я верю, что когда-нибудь «Новый Журнал» сыграет роль той магнитофонной ленты, на которой останутся записанными для истории свободные голоса русских поэтов, прозаиков, публицистов, ученых.

«Новый Журнал» был основан, как свободный. Защищая эту нашу творческую свободу — а стало быть и политическую и гражданскую свободу человека — мы в этой защите непримиримы к насилию советской диктатуры. Когда-то в 16 веке формулу непримиримости хорошо выразил Мартин Лютер. На съезде в Вормсе он произнес свои знаменитые слова: “Hier steh’ ich; ich kann nicht anders”. («На этом я стою; иначе не могу»). Такой же силы и наша непримиримость к насилию над человеком и его творчеством.

*Роман Гуть*

## НОВОМУ ЖУРНАЛУ

*к его 25-летию*

*«Глаголом жечь сердца людей»  
Пушкин*

Несущий факел послан нам судьбой,  
Он светлые указывает тропы.  
В туман, подстерегающий бедой,  
Обвал задержит, обезвредит пропасть...  
Мы ощупью бы, пасынки земли,  
Угасни пламя, кто куда, брели.

Живой огонь, что жжёт сердца глаголом,  
Уж ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА охраняет нас,  
Рука Несущего верна, а глаз  
Не соблазнишь ни лестью, ни оболлом...  
А тот, желанный нам, наступит час,  
Лишь только бы не опустилась долу,  
Устав, рука и факел не погас.

*1967. Апрель*

*Геннадий Панин*

# КУРСИВ МОЙ

## АВТОБИОГРАФИЯ\*

Моему знакомству с М. Горьким предшествовали две легенды, из которых каждая несла с собой образ человека, но не писателя. Человеком он был для меня, человеком остался. Его жизнь и смерть были и есть для меня жизнь и смерть человека, с которым под одной крышей я прожила три года, которого видела здоровым, больным, веселым, злым, в его слабости и его силе. Как писатель он никогда не занимал моих мыслей: сначала я была погружена в Ибсена, Достоевского, Бодлера, Блока, потом (уже живя у него) — в Гоголя, Флобера, Шекспира, Гёте, позже, расставшись с ним, я стала читать и любить Пруста, Лауренса, Кафку, Жида, Валери, наконец — Джойса, англичан и американцев. Как писателю Горькому не было места в моей жизни. Да и сейчас нет.

Но как человек он вошел в мой круг мыслей сквозь две легенды. Первую я услышала еще в детстве: МХТ привез в Петербург «На дне». Я увидела фотографию курносого парня в косоворотке: был босяком, стал писателем. Вышел из народа. Знаменитый. С Львом Толстым на скамейке в саду снимался. В тюрьме сидел. Сам по себе. Весь мир его слушает, и читает, и смотрит на него. Пешком всю Россию прошел и теперь книги пишет.

Вторая легенда пришла ко мне через Ходасевича. Фоном ее была огромная квартира Горького на Кронверкском проспекте в Ленинграде. Столько народу приходило туда ночевать (собственно — чай пить, но люди почему-то оставались там на многие годы), столько народу там жило, пило, ело, ото-

---

\* Мы печатаем отрывок из III части автобиографии Н. Берберовой. Эта книга выйдет по-английски в издательстве Харкорт Брэнс и Уорлд в 1968 году. РЕД.

гревалось (укрывалось?), что сломали стену и из двух квартир сделали одну. В одной комнате жила баронесса Будберг (тогда еще Закревская-Бенкендорф), в другой — случайный гость, зашедший на огонек, в третьей — племянница Ходасевича с мужем (художница), в четвертой — подруга художника Татлина, конструктивиста, в пятой гостил Герберт Уэллс, когда приезжал в Россию в 1920 году, в шестой, наконец, жил сам Горький. А в девятой или десятой останавливался Ходасевич, когда наезжал из Москвы. Приютившийся здесь Гавриил Константинович Романов с женой и собакой тоже находился тут же, в бывшей «гостиной», не говоря уже о М. Ф. Андреевой, второй жене Горького, и время от времени появлявшейся Ек. Павл. Пешковой, первой жене его.

Пролом стены особенно поразил меня. И неприятности, которые у Горького были с Зиновьевым. И закрытие «Новой жизни», газеты Горького в 1917-18 годах, и наконец — его отъезд. Большой и сердитый на Зиновьева, на Ленина, на самого себя, он уехал за границу. И в квартире стало просторно и тихо. Меня интересовало: заделали ли пролом?

Теперь Горький жил в Херингсдорфе, на берегу Балтийского моря, и все еще сердился, особенно же на А. Н. Толстого и газету «Накануне»,<sup>1</sup> с которой не хотел иметь ничего общего. Но А. Н. Толстой, стучавший в то время на машинке свой роман «Аэлита», считал это блажью и, встретив Ходасевича на Тауенцинштрассе в Берлине, прямо сказал ему, взяв его за лацкан пиджака (на сей раз не переделанного «мишинного фрака», а перелицованного костюма присяжного поверенного Н.):

— Послушайте, ну что это за костюм на вас надет? Вы что, собираетесь в Европе одеваться «идейно»? Идите к моему портному, счет велите послать «Накануне». Я и рубашки заказываю — готовые скверно сидят.

Писатель «земли русской» бедности не любил и умел жить в довольстве. Но Ходасевич к портному не пошел: он в «Накануне» сотрудничать не собирался.

---

<sup>1</sup> Газета сменовеховцев.

У А. Н. Толстого в доме уже чувствовался скорый отъезд всего семейства в Россию. Поэтесса Н. Крандиевская, его вторая жена, расплывшаяся, беременная третьим ребенком (первый ее сын от брака с Волькенштейном, жил тут же), во всем согласная с мужем, писала стихи о своем «страстном теле» и каких-то «несытых объятиях», слушая которые я чувствовала себя неловко. Толстой был хороший рассказчик, чувство юмора его было грубовато и примитивно, как и его писания, но он умел самый факт сделать живым и интересным, хотя слушая его, повествующего о визите к зубному врачу, рассказывающего еврейские или армянские анекдоты, рисующего картину как «два кобеля» (он и Ходасевич) поехали в гости к третьему (Горькому), уже можно было предвидеть до какой вульгарности опустится он в поздних своих романах. «Детство Никиты» он писал еще в других «политических настроениях». Между «Детством» и «Аэлитой» лежит пропасть. Я с удивлением смотрела, как он стучит на ремингтоне, тут же, в присутствии гостей, в углу гостиной, не переписывает, а сочиняет свой роман, уже запроданный в Госиздат. И по всему чувствовалось, что он не только больше всего на свете любит деньги тратить, но и очень любит их считать, презирает тех, у кого другие интересы и этого не скрывает. Ему надо было пережить бедствия, быть непосредственно вовлеченным во все-российский катаклизм, чтобы ухитриться написать «Хождение по мукам» — вещь выправленную по старым литературным рецептам. Когда он почувствовал себя невредимым, он покатился по наклонной плоскости. Я теперь сомневаюсь даже в том, были у него талант (соединение многих элементов, или части из них, или всех их в малой степени: «искра», дисциплина, особливость, мера, вкус, ум, глаз, язык и способность к абстрагированию).

Мы приехали в Херингсдорф к Горькому 27-го августа 1922 года (Ходасевич уже был там в начале июля, сейчас же по приезде в Германию). Не разрыв интеллигенции с народом, но разрыв между двумя частями интеллигенции казался мне всегда для русской культуры роковым. Разрыв между интеллигенцией и народом в России был гораздо слабее, чем во многих

других странах.\* Он есть всюду — и в Швеции, и в Италии, и в Кении. Одни смотрят телевизию, другие в это время читают книги, третьи их пишут, четвертые заваливаются спать рано, потому что завтра надо встать «с солнышком». X не пойдет смотреть оперетку, Y не пойдет смотреть драму Стриндберга, Z не пойдет ни на то, ни на другое, а будет дома писать собственную пьесу. А кто-то четвертый не слышал о том, что в городе есть театр. Все это в порядке вещей. Но когда интеллигенция поделена надвое до основания, тогда исчезает самая надежда на что-то похожее на единую, цельную и неразрывную во времени духовную цивилизацию и национальный умственный прогресс, потому что нет ценностей, которые уважались бы всеми. Как бы марксистски ни рассуждал современный француз — для него Валери всегда будет велик. Как бы абстрактно ни писал американский художник Поллок — он будет велик для самого заядлого американского мещанина и прагматика. На дом, где жил Уайльд, через пятьдесят лет после его смерти прибывают мемориальную доску, одной рукой запрещают, другой рукой издают сочинения Лауренса, двенадцатитонную музыку стараются протащить в субсидируемые государством концертные залы — и кто же? Английские, американские, французские, немецкие чиновники! Так идет постепенно признание того, что коробило и ужасало людей четверть века тому назад, мещан, которые в то же время — опора государства. Это — посильная борьба западной интеллигенции — через власть — со своим национальным мещанством.

У нас интеллигенция, в тот самый день, когда родилось это слово, уже была рассечена надвое: одни любили Бланки, другие — Бальмонта. И если вы любили Бланки, вы не могли ни любить, ни уважать Бальмонта. Вы могли любить Курочкина, или вернее — Беранже в переводах Курочкина, а если вы любили Влад. Соловьева, то значит вы были равнодушны к революции, и впереди у вас была только одна дорога: мракобесие. Тем самым обе половины русской интеллигенции таили

---

\* Мы не совсем согласны с этим утверждением автора и с последующими его доводами. ПРИМ. РЕД.

в себе элементы и революции и реакции: «левые» политики почти всегда были реакционны в искусстве, «правые» в политике — часто были революционны в искусстве. На Западе люди имеют одно общее священное «шу» (китайское слово, оно значит то, что каждый, кто бы он ни был, и как бы ни думал, признает и уважает), и все уравнивают друг друга, и это равновесие есть один из величайших факторов западной культуры и демократии. Но у русской интеллигенции элементы революции и реакции никогда ничего не уравнивали и не было общего «шу», потому, быть может, что русские не часто способны на компромисс, и само это слово, полное в западном мире великого творческого и миротворческого значения, на русском языке носит на себе печать мелкой подлости.

В первый вечер у Горького я поняла, что этот человек принадлежит к другой части интеллигенции, чем те люди, которых я знала до сих пор.

Любит ли он Гоголя? М-м-м, да, конечно... но он любит и Елпатьевского — обоих он считает «реалистами» и потому их вполне можно сравнивать и даже одного предпочесть другому. Любит ли он Достоевского? Нет, он ненавидит Достоевского. Так он сказал мне тогда, в первый вечер знакомства, и много раз потом это повторял.

— Читали Огурцова? — спросил он меня тогда же. Нет, я не читала Огурцова. Глаза его увлажнились: в то время на Огурцова он возлагал надежды. Таинственного Огурцова я так никогда и не прочла.

И вот: первые минуты в столовой, пронзительный взгляд голубых глаз, глухой, с покашливанием голос, движения рук — очень гладких, чистых и ровных (кто-то сказал: как у солдата, вышедшего из лазарета), весь его облик — высокого, сутулого человека, с впалой грудью и прямыми ногами. Да, у него была снисходительная, не всегда нравившаяся улыбка, лицо, которое умело становиться злым (когда краснела шея и скулы двигались под кожей); у него была привычка смотреть вверх собеседника, когда бывал ему задан какой-нибудь острый или неприятный вопрос, барабанить пальцами по столу или, не слушая, напевать что-то. Все это было в нем, но кроме этого

## КУРСИВ МОИ

было еще и другое: природное очарование умного, непохожего на остальных людей, человека, прожившего большую, трудную и замечательную жизнь. И в тот вечер я, конечно, видела только это очарование, я не знала еще, что многое из того, что говорится Горьким как бы для меня, на самом деле говорится всегда, при всякой новой встрече с незнакомым человеком, которого он хочет расположить к себе, что самый тон его разговора, даже движений, которыми он его сопровождает — от его актерства, а не от непосредственного чувства к собеседнику. Чай сменился обедом, в тишине столовой мы сидели вчетвером: Горький, Ходасевич, художник И. Н. Ракицкий,<sup>2</sup> живший в доме, и я. «Как удачно вы приехали, — несколько раз повторил Горький, — сегодня утром все уехали, и Шаляпин, и Максим, и еще кто-то — не помню даже кто, столько было народу все эти дни».

О чем говорилось в тот вечер? Сначала — о Петербурге, потому что Горький хотел новостей. Сам он выехал за границу за девять месяцев до этого, но до сих пор чувствовал себя наполовину там. Большевиков он ругал, жаловался, что нельзя издавать журнал (издавать в Берлине и ввозить в Россию), что книги не выходят в достаточном количестве, что цензура действует нелепо и грубо, запрещая прекрасные вещи. Он говорил о беспорядках в Доме литераторов и о безобразиях в Доме ученых, при упоминании о сменовеховстве он пожал плечами, а о «Накануне» отозвался с неприязнью. Несколько раз в разговоре он вспомнил Зиновьева и свои давние на него обиды.

Но к концу обеда с этим было покончено. Разговор перешел на литературу, на современную литературу, на молодежь, на моих петербургских сверстников и, наконец, на меня. Как сотни начинающих, да еще кроме стихов ничего писать не умеющих, я должна была прочесть ему мои стихи.

Он слушал внимательно, он всегда слушал внимательно, что бы ему ни читали, что бы ни рассказывали, — и запоминал на всю жизнь, таково было свойство его памяти. Стихи вообще он очень любил, во всяком случае, они трогали его до слез

---

<sup>2</sup> Иван Николаевич, умер в 1942 году.

— и хорошие, и даже совсем не хорошие. «Старайтесь, — сказал он, — не торопитесь печататься, учитесь...» Он был всегда — и ко мне — доброжелателен: для него человек, решивший посвятить себя литературе, науке, искусству, был свят.

Он любил стихи, но у него были раз и навсегда усвоенные правила касательно «благозвучности» и «красоты» поэзии, которыми он руководился, когда судил. В прозе они тоже мешали ему, делали его суждения сухими, но когда он говорил или писал о стихах, это часто бывало нестерпимо. Вот что однажды написал он мне — в этой цитате, очень для него характерной, отразилось все его отношение к поэтам и поэзии:

«Мне кажется, что определение: 'поэт — эхо мировой жизни' самое верное... Разве есть что-нибудь лучше литературы — искусства слова? Ничего нет».

Трудно поверить, что этот человек мог плакать настоящими слезами от стихов Пушкина, Блока... впрочем не только Пушкина и Блока, но и Огурцова, и Бабкина, и многих других.

Горничная, убрав со стола, ушла. За окном стемнело. Теперь Горький рассказывал. Много раз после этого вечера я слышала эти же самые рассказы — о том же самом, рассказанные теми же словами, таким же неопытным слушателем, какой была я тогда. Но, слушая Горького впервые, нельзя было не восхититься его даром. Трудно рассказать об этом людям, его не слышавшим. Сейчас талантливых рассказчиков становится все меньше, поколения, родившиеся в этом столетии, будучи сами несколько косноязычными, вообще не очень любят слушать ораторов за чайным столом. У Горького в устных его рассказах было то хорошо, что он говорил не совсем то, что писал, и не совсем так, как писал: без нравоучений, без подчеркиваний, просто так, как было.

Для него всегда был важен факт, случай из действительной жизни. К человеческому воображению он относился враждебно, сказок не понимал.

— Да ведь это действительно так и было! — восклицал он с восторгом, прочтя какой-нибудь рассказ или очерк.

— Это было совершенно не так, — сказал он мрачно о

«Бездне» Леонида Андреева. — Он присочинил конец, и я с ним после этого поссорился.

А вместе с тем у него не было последовательности, и в одном из его писем (ноябрь 1925 г.) можно найти такую фразу: «Я не любил фактов и с величайшим удовольствием искажал их». Что это значит? Только то, что он «поступательный ход» революционного будущего любил еще больше фактов и искажал эти последние в пользу революционного будущего.

Часы показывали второй час ночи. Я слушала. Мне казалось, что я хожу с ним вместе по России, сорок лет тому назад, — с Волги на Дон, из Крыма на Украину. Все было здесь: и нижегородские анекдоты, и время политических преследований, и знаменитое побоище в одном селе, когда он вступился за избиваемую женщину, и начало Художественного театра, и Америка. Руки его лежали на столе, лицо с характерными открытыми ноздрями и висячими усами было поднято, голос, колеблясь, то удалялся от меня, и это значит, что дремота одолевает меня, — то приближался ко мне, — и это значит, что я широко открываю глаза, боясь заснуть. Что делать! Морской воздух, путешествие, молодость делали то, что я с трудом удерживалась от того, чтобы не положить голову на стол.

Ему не надо было ставить вопросов. Подпершись одной рукой, другой шевеля перед собой, он говорил и курил; когда закуривал, то не гасил спичек, а складывал из них в пепельнице костер. Наконец он взглянул на меня пристально.

— Пора спать, — сказал он улыбаясь, — уведите поэтессу.

Художник Ракицкий, исполнявший в доме должность хозяйки за отсутствием таковой, отвел меня наверх. В этой комнате еще накануне ночевал Шаляпин, которого я до того видела всего два раза на сцене, в России, и мне казалось, что в воздухе еще витает его тень. Когда я осталась одна, я долго сидела на постели. Я слышала за стеной кашель Горького, его шаги, перелистывание страниц (он читал перед сном). Всякое суждение о том, что я видела и слышала, я откладывала на потом. 25-го сентября 1922 года Горький переехал в Сааров, в

полтора часа езды по железной дороге от Берлина, в сторону Франкфурта на Одере, а в начале ноября он уговорил и нас переехать туда. Мы поселились в двух комнатах в гостинице около вокзала.

«Кронверкская» атмосфера, дух постоянного двора в доме Горького, возобновилась в Саарове, в тихом дачном месте, пустом зимой, на берегу большого озера, по которому однажды Максим уговорил меня пронестись в ветренную погоду под парусом.

«Кронверкская» атмосфера возобновилась, правда, только по воскресеньям: уже с утренним поездом из Берлина начинали приезжать люди — близкие и случайные, но преимущественно, конечно, так называемые «свои», которых было не мало.

Я видела из окна гостиницы «Банхоф отель», как шли они с вокзала по вымершим улицам немецкого местечка, где тишина нарушалась только свистом редких поездов, а чистота была такая, что после долгого осеннего дождя улицы казались вымытыми. Недалеко от дома Горького был лесок, где водились лани. Каждая лань называлась по имени, а деревья стояли под номерами.

Для Марии Федоровны Андреевой, его второй жены, приезжавшей довольно часто, все в доме было нехорошо:

— И чем это тебя тут кормят? — говорила она брезгливо разглядывая поданную ему котлету. — И что это на тебе надето? Неужели нельзя было найти **виллу** лучше?

Она, несмотря на годы, все еще была красива, гордо носила свою рыжую голову, играла кольцами, качала узкой туфелькой. Ее сын от первого брака (киноработник), господин лет сорока на вид, с женой, тоже бывали иногда, но она и с ним, как и со всем вообще, относилась с презрительным снисхождением. Я никогда не видела в ее лице, никогда не слышала в ее голосе никакой **прелести**. Вероятно, и без прелести она в свое время была прекрасна.

Мария Федоровна не приезжала в те дни, когда к Горькому приезжала Екатерина Павловна — первая его жена и мать его сына. Она была совсем в другом роде. Приезжала она прямо из Москвы, из кремлевских приемных, заряженная всевозмож-

ными новостями. Тогда из кабинета Горького слышалось: «Владимир Ильич сказал... А Феликс Эдмундович на это ответил...» У нее была привычка заглядывать человеку в глаза, и в ней еще жива была старая интеллигентская манера, усвоенная в молодости, говорить как бы «от души».

С Марией Федоровной приезжал П. П. Крючков, доверенное лицо Горького, что-то вроде фактотума; позже Сталин объявил его «врагом народа» и расстрелял после того, как Крючков во всем покаялся. Он до сих пор не реабилитирован. С Екатериной Павловной приезжал некто Мих. Конст. Николаев, заведующий Международной книгой. Он говорил мало и больше играл в саду с собакой (он умер в 1947 году).

И вот накрывается стол на двенадцать человек, со всего дома сносятся стулья. М. И. Будберг, секретарша и друг Горького, разливает суп. Разговор за столом шумный, каждый словно говорит для себя, никого не слушая. Мария Федоровна говорит, что клецки в супе несъедобны и спрашивает, верю ли я в Бога. Семен Юшкевич, смотря вокруг себя грустными глазами — о том, что все ни к чему, и скоро придет смерть, и пора о душе подумать. Андрей Белый с напряженной улыбкой сверлящими глазами смотрит себе в тарелку — ему забыли дать ложку и он молча ждет, когда кто-нибудь из домашних это заметит. Он ошеломлен шумом, хохотом на «молодом» конце стола и гробовым молчанием самого хозяина, который смотрит поверх всех, барабанит по столу пальцами и молчит — это значит, что он не в духе. Тут же сидят Ходасевич, Виктор Шкловский, Сумский (издатель «Эпохи»), Гржебин, Ладыжников (старый друг Горького и его издатель тоже), дирижер и пианист Добровейн, другие гости. Только постепенно Горький оттаивает и к концу обеда затевается уже стройный разговор, преимущественно говорит сам Горький, иногда говорит Ходасевич или Белый... Но Белый здесь не такой, как всегда, здесь его церемонная вежливость бывает доведена до крайних пределов, он едва вникая, соглашается со всеми, даже с Марией Федоровной в том, что курица пережарена. И сейчас же до слез смущается.

Но может быть это был самый верный тон, тон Белого в

разговорах с Горьким? Спорить с Горьким было невозможно. Убедить его в чем-либо нельзя было уже потому, что он имел удивительную способность: не слушать того, что ему не нравилось, не отвечать, когда ему задавался вопрос, на который у него не было ответа. Он «делал глухое ухо», как выражалась М. И. Будберг (любившая, как княгиня Бетси Тверская в «Анне Карениной», переводить на русский язык английские и французские идиоматические выражения буквально), он до такой степени делал это «глухое ухо», что оставалось только замолчать. Иногда впрочем, не сделав «глухого уха», он с злым лицом, красный, вставал и уходил к себе, в дверях напоследок роняя:

— Нет, это не так.

И спор бывал окончен.

Однажды у него в гостях я увидела Рыкова, тогда председателя Совета народных комиссаров, приехавшего в тот год в Германию лечиться от пьянства. Рыков вялым голосом рассказывал о литературной полемике, тогда злободневной, между Сосновским и еще кем-то.

— Чем же все кончилось? — спросил Ходасевич, его эта литературная полемика очень волновала по существу.

— А мы велели прекратить, — вяло ответил Рыков.

Я взглянула на Горького, и вдруг мне показалось, что есть что-то общее между этим ответом Рыкова и его собственным «нет, это совсем не так», говорящимся в дверях.

Кто только не бывал в те годы у Горького — я говорю о приезжих из Советского Союза. Всех не перечислишь. Список имен, между 1922 и 1928 годами, мог бы начаться с народных комиссаров и послов, пройти через моряков советского флота, через старых и новых писателей, и закончиться сестрой М. И. Цветаевой, Анастасией Ивановной, в 1927 году привезшей с собой в Сорренто к Горькому некоего «поэта-импровизатора» Б. Зубакина, который показал на вилле «Иль Сорито» свое «искусство», о чем А. И. Цветаева рассказала впоследствии в «Новом мире» (в 1930 году).

Горького надо было выслушивать и молчать. Он, может быть, сам не считал свои мнения непогрешимыми, но что-то

перерешать, что-то переоценивать он не хотел, да вероятно уже и не мог: тронешь одно, посыплется другое, и все здание рухнет, а тогда что? Пусть уж все останется, как было когда-то построено.

Я вхожу в его кабинет перед самым завтраком. Он уже кончил писать (он пишет с девяти часов утра) и сидит теперь за эмигрантскими газетами (берлинскими «Днями», «Рулем», парижскими «Последними Новостями»), в пестрой татарской своей тюбитейке. Он знает, что я пришла за книгами, у стены стоят полки. Книги постепенно прибывают из России.

Беру с полки том Достоевского.

— Алексей Максимович, можно взять...

— Берите, что нравится.

Он смотрит на меня из-под очков добрыми глазами, но лучше не говорить, что именно я взяла: за время жизни с ним я пришла к убеждению, что он плакал над русскими стихами, но русской прозы не любил.

Русские писатели XIX века в большинстве были его личными врагами: Достоевского он ненавидел; Гоголя презирал, как человека больного физически и морально; от имен Чаадаева и Владимира Соловьева его дергало злобой и страстной ревностью; над Тургеневым он смеялся. Лев Толстой возбуждал в нем какое-то смятение, какое-то мучившее его беспокойство. О, конечно, он считал его великим, величайшим, но он очень любил говорить о его слабостях, любил встать на защиту Софьи Андреевны, любил как-то не с той стороны подойти к Толстому. И однажды он сказал:

— Возьмите три книги: «Анну Каренину», «Мадам Бовари» и «Тэсс» Томаса Харди. Насколько западно-европейские писатели это сделали лучше нашего. Насколько там замечательнее написана «такая» женщина.

Но кого же собственно он любил?

Прежде всего — своих учеников и последователей, потом просто тех провинциальных самоучек, начинающих, ищущих у него поддержки, над которыми он умилялся и из которых почти никогда ничего не выходило. И еще он любил встреченных в юности, на жизненном пути, исчезнувших из людской памя-

ти писателей, имена которых сейчас уже ничего никому не говорят, но которые в свое время были им прочтены, как откровение.

— А вот Каронин, — говорил он, — замечательно это у него описано.

— Я, Алексей Максимович, не читала Каронина.

— Не читали? Непременно прочтите.

Или:

— А вот Елеонский...

Но был один случай, который так и остался единственным. Это было в день присылки ему из русского книжного магазина, из Парижа, только что вышедшей книги последних рассказов Бунина. Все было оставлено: работа, письма, чтение газет. Горький заперся у себя в кабинете, к завтраку вышел с опозданием и в такой рассеянности, что забыл вставить зубы. Смушаясь, он встал и пошел за ними к себе и там долго сморкался.

— Чего это Дука (так его звали в семье) так расчувствовался нынче? — спросил Максим, но никто не знал. И только к чаю выяснилось:

— Понимаете... замечательная вещь... замечательная... — больше он ничего не мог сказать, но долго после этого он не притрагивался ни к советским новинкам, ни к присланным неведомыми гениями рукописям.

Бунин был в эти годы его раной: он постоянно помнил о том, что где-то жив Бунин, живет в Париже, ненавидит советскую власть (и Горького вместе с нею), вероятно — бедствует, но пишет прекрасные книги, и тоже постоянно помнит о его, Горького, существовании, не может о нем не помнить. Горький до конца жизни, видимо, любопытствовал о Буине. Среди писем Горького к А. Н. Толстому можно найти одно, в котором он — из Сорренто — пишет Толстому, что именно Бунин говорил «на-днях». Ему привезла эти новости М. И. Будберг, которая только что была в Париже. В свете случившегося много позже, сейчас ясно, что в этих слухах замешан был некто Рошин, долгие годы живший в доме Бунина, как друг и почита-

тель, член французской компартии, о чем до 1946 года никто конечно не имел никакого представления.

Читая Бунина, Горький не думал, так ли бывает в действительности или иначе. Правда, сморкаясь и вздыхая у себя над книгой, он не забывал исправлять карандашом (без карандаша в ровных, чистых пальцах я его никогда не видела) опечатки, если таковые были, а на полях против такого например словосочетания, как «сапогов новых» — будь это сам Демьян Бедный — ставил вопросительный знак. Такие словосочетания считались им недопустимыми, это было одно из его правил, пришедших к нему, вероятно, от провинциальных учителей словесности, да так в памяти его и застрявших. К аксиомам относились и такие когда-то воспринятые им «истины», как: смерть есть мерзость, цель науки — продлить человеческую жизнь, все физиологические отправления человека — стыдны и отвратительны, всякое проявление человеческого духа способствует прогрессу. Однажды он вышел из своего кабинета пританцовывая, выделявая руками какие-то движения, напевая и выражая лицом такой восторг, что все остолбенели. Оказывается он прочел очередную газетную заметку о том, что скоро ученые откроют причину заболевания раком.

Он был доверчив. Он доверял и любил доверять. Его обманывали многие: от повара-итальянца, писавшего невероятные счета, до Ленина — все обещавшего ему какие-то льготы для писателей, ученых и врачей. Для того, чтобы доставить Ленину удовольствие, он когда-то написал «Мать». Но Ленин в ответ никакого удовольствия ему не доставил. Горький верил, что между ним и Роменом Ролланом существует единственное в своем роде понимание, возвышенная дружба двух титанов.

Теперь переписка этих двух людей частично опубликована. Она длилась много лет и была довольно частой. Велась она по-французски. Горький писал через переводчика. Несколько раз таким переводчиком была я.

Н. Н., будьте добры, переведите-ка мне, что тут Роллан пишет.

Я беру тонкий лист бумаги и читаю напоминающий арабские письма изящный разборчивый почерк.

«Дорогой Друг и Учитель. Я получил Ваше благоуханное письмо, полное цветами и ароматами, и, читая его, я бродил по роскошному саду, наслаждаясь дивными тенями и световыми пятнами Ваших мыслей».

— О чем это он? Я его спрашивал о деле: мне адрес Панайота Истрати нужен, поищите, нет ли его там.

— ...«пятнами Ваших мыслей, уносивших меня улыбками в голубое небо раздумий».

Вечером он приносит черновик ответа для перевода на французский язык. Там написано, что мир за последние сто лет шагнул к свету, что в этом приближении к свету идут рука об руку все достойные носить имя человека. Среди них, в первых рядах идет Панайот Истрати, «о котором Вы мне писали, дорогой Друг и Учитель, и которого адрес я убедительно прошу Вас мне прислать в следующем письме».

Иногда — раз в год приблизительно — Роллан присылал Горькому свою фотографию. Перевести на русский язык надписи, которые он на них делал, было еще труднее, чем его письма. Мы это делали все вместе, собравшись в комнате Максима. Максим по всегдашней своей привычке в раздумье ел свою нижнюю губу.

Первая «немецкая» зима сменилась второй — хоть и в Чехии протекала она, но в самом немецком ее углу — в мертвом, заключенном «не в сезон» Мариенбаде. Мы поехали туда за Горьким из Праги. И тут уже прекратились всякие наезды — своих и чужих — в полном одиночестве, окруженный только семьей или людьми, считавшимися ее членами, Горький погрузился в работу: в то время он писал «Дело Артамоновых».

Он вставал в девятом часу и один, пока все спали, пил утренний кофе и глотал два яйца. До часу мы его не видели.

Зима была снежной, улицы были в сугробах. Гулять выходили в шубах и валенках, все вместе, уже в сумерках (после завтрака Горький обыкновенно писал письма или читал). По снегу шли в сосновый лес, в гору. Где-то в трех километрах происходили лыжные состязания, гремела музыка, туда мча-

лись фотографы, журналисты. Мы ничего этого не видели. С ноября месяца в городе начались приготовления к рождеству, и мы тоже затеяли елку. Развлечений было немного, а Горький их любил, особенно когда усиленно работал и ему хотелось перебить мысли чем-нибудь легким, не скучным. Елка удалась настоящая, с подарками,<sup>3</sup> шарадами, даже граммофоном, откуда-то добытым. Но главным развлечением той зимы был кинематограф.

Один раз в неделю, по субботам, за ужином, Горький делал хитрое лицо и осведомлялся, не слишком ли на дворе холодно. Это значило, что сегодня мы поедем в кинематограф. Сейчас же посылали за извозчиком — кинематограф был на другом конце города. Никто не любопытствовал, что за фильм идет, хороший ли, стоит ли ехать. Все бежали наверх одеваться, кутались во все, что было теплого, если была метель; и вот парные, широкие сани стоят у крыльца гостиницы «Максхоф»,<sup>4</sup> мы садимся — все семеро: М. И. Будберг и Горький на заднее сиденье, Ходасевич и Ракицкий на переднее, Н. А. (по прозвищу Тимоша, жена Максима) и я — на колени, Максим — на козлы, рядом с кучером. Это называется «выезд пожарной команды».

Лошади несли нас по пустым улицам, бубенчики звенели, фонари сверкали на оглоблях, холодный ветер резал лицо. Езды было минут двадцать. В кино нас встречали с почетом — кроме нас почти никого и не бывало. Мы, совершенно счастливые и довольные, садились в ряд, и все равно было, что нынче показывают: «Последний день Помпеи», «Двух сироток» или Макса Линдера — на обратном пути нам было так же весело, как и на пути туда.

В ту зиму (1923-24 гг.) все постепенно отступило перед работой. «Дело Артамоновых» подвигалось, разрасталось, захватывало Горького все сильнее и постепенно оттесняло все

---

<sup>3</sup> У меня до сих пор цела шкатулка кипарисового дерева с инкрустациями.

<sup>4</sup> А не Саварин, как сказано в Краткой литературной энциклопедии.

другое, и даже померк его интерес к собственному журналу («Беседе») — попытке сочетать эмигрантскую и советскую литературу, из которой ничего не вышло. Работа не давала Горькому увидеть, что, в сущности, он остается один на один с самим собой, никого не объединив. Он ждал визу в Италию. Она пришла весной, с точным указанием не поселяться на Капри (где его присутствие могло возбудить какие-то смутные политические страсти, по прежним воспоминаниям), и Горький переехал в Сорренто — последнее место его заграничного житья.<sup>5</sup> Осенью 1924 года мы последовали за ним.

Последнее место его независимости, его свободной работы над тем, что ему хотелось писать. Ленина больше не было. Его воспоминания об «Ильиче» были первым шагом к примирению с теми, кто был сейчас на верху власти в Москве. «Он поедет туда очень скоро», — сказала я как-то Ходасевичу. — «В сущности, даже непонятно, почему он до сих пор не уехал туда». Но Ходасевич не был согласен со мной: ему казалось, что Горький не сможет «переварить» режима, что его удержит глубокая привязанность к старым принципам свободы и достоинства человека. Он не верил в успех тех, кто в окружении Горького работал на его возвращение, мне же казалось, что это случится скорее, чем они предполагают. Сорренто оказалось последним местом, где он мог писать иногда «несозвучно» и говорить вслух, что думает, и последнее место, куда он приехал относительно здоровым, тут, на берегу моря, в доме, из которого был виден Неаполитанский залив, с Везувием и Искией, я впервые увидела его в болезни — и эта болезнь сильно состарила его.

Доктор был привезен из Неаполя и определил сложную простуду с бронхитом. Боялись воспаления легких — всю жизнь и он сам, и близкие его боялись этой болезни, сведшей Горького в могилу (по первой официальной версии). Прописаны были припарки из горячего овса на грудь и спину. Н. А. Пешкова и я одинаково неопытны были в таком лечении. М. И. Буд-

---

<sup>5</sup> Отсюда в 1928 г. он поехал в СССР, а 17-го мая 1933 г. переехал туда окончательно.

берг была тогда в отъезде. За ширмами, в огромном своем кабинете, на узкой высокой кровати, Горький лежал и кашлял, красный от жара (и от этого еще более рыжий), молча наблюдая за нами, а мы старались действовать быстро и ловко: чтобы овес не остыл, мы накладывали его суповыми ложками на клеенку и завертывали в эту клеенку худое лихорадившее тело, бинтуя длинным, широким бинтом.

— Очень хорошо. Спасибо, — хрипел он, хотя все совсем не было хорошо.

В камине потрескивали оливковые ветки, тени бежали по стенам и потолку. Ночами мы дежурили у постели Горького по очереди. На утро опять приезжал доктор. Горький не был мнителен и лечиться не любил.

— Ох, оставьте меня, оставьте, — говорил он, — скажите этому господину, чтобы он убирался домой.

— Что изволит говорить великий писатель? — почтительно спрашивал доктор.

— Переведите ему, что он может убираться ко всем чертям. Я и без него выздоровлю, — бормотал Горький.

Он выздоровел скорее, чем мы думали.

С обвязанным горлом, с сильной проседью в чуть поредевшем ежике, опять он налаживал свой день, свою работу.

Здесь не было ни елок, ни кино, зато была Италия, которой он наслаждался каждую минуту своего в ней пребывания. Каприйские воспоминания еще прочно жили в нем:

— Я покажу вам... я свожу вас... — говорил он, но все меняется, и эти места, как все, переменялись со времени войны: прежних уличных певцов он так и не мог найти, новые же пели модные американские песенки, а тарантеллу на площади городка перед кафе танцевали теперь дети, обходившие потом с тарелкой приезжих туристов.

В январе бывали дни, когда все четыре окна его кабинета были открыты настежь. Он выходил на балкон. Внизу в саду раздавались голоса: Максим в тот год завел мотоциклетку и возился с ней. Выносливая машина с тремя пассажирами (двое в колясочке, третий — на седле) летала через холмы — в Амальфи, в Равелло, в Граньяно. Горький от предложения

«прокатиться» только отмахивался: к быстроте передвижения у него появился страх.

Отвращение, между прочим, было у него и ко всякого рода наркотикам. Он много курил, иногда любил выпить, но заставить его принять пирамидон или выдержать в дупле зуба кокаин было невозможно. Он проделывал над собой какие-то мучительные операции и был необычайно терпелив ко всякой боли.

Он любил рассказывать на прогулках про Чехова, про Андреева, про все то, что быстро уходило в прошлое. А в прошлое тогда уходила и пора «Летописи», и пора «Новой Жизни». Но он не любил говорить о старых своих книгах — в этом он ничем не отличался от большинства авторов — и не любил, когда прежние его вещи вспоминали и хвалили. Упомянуть при нем о «Песне о буревестнике» было бы совершенно бестактно. Даже его рассказ «О безответной любви», написанный под Берлином, отходил в прошлое, — вероятно тому виной были «Артамоновы», которых он дописывал в это время с таким увлечением.

Вечером бывали карты, когда ранней итальянской весной выл ветер и лил дождь. Максим и я занимались нашим «журналом». Не помню, как он возник и почему; мы выпускали его раз в месяц, в единственном экземпляре, роскошном, переписанном от руки и иллюстрированном. Главной заботой Максима было, чтобы Горький давал в «журнал» неизданные вещи. Журнал был юмористический. И вот Горький смущенно входил в комнату сына, держа в руке лист бумаги.

— Вот я тут принес стишок один. Может подойдет?

— Нигде напечатан не был?

Да нет, ей-Богу-же, честное слово! Сейчас только сочинил.

А ну давай!

Горький острить не умел. В стихах особенно. Помню такое четверостишие: «В воде без видимого повода / Плескался язь, / А на плече моем два овода / Вступили в связь». Максим акварелью иллюстрировал текст. В этом «журнале» было помещено мое первое произведение прозой: «Роман в письмах».

Письма писались от лица девочки лет двенадцати, которая жила в доме Горького, куда на огонек заходили Тургенев и Пушкин. Все вместе гуляли и обедали, и играли в дурачки с Достоевским...

Часто глядя на Горького, слушая его, я старалась понять, что именно держит его в Европе, чего он не может принять в России? Он ворчал, получая какие-то письма, иногда стучал по столу, сжимая челюсти, говорил:

— О, мерзавцы, мерзавцы!

Или:

— О, дурачье проклятое!

Но на следующий день опять его тянуло в ту сторону и чувствовалось, что и мелкие, и крупные несогласия **могут** сгладиться.

Слишком многое было ему чуждо, а то и враждебно в новой (послевоенной) Европе, слишком велика была потребность в целостном мировоззрении, которое еще двадцать пять лет тому назад он получил от социал-демократии (не без помощи Ленина) и без которого не мог представить себе существования. И становилось ясно: только на **той** стороне существуют люди, в основном схожие с ним, только **там** он уберезет себя от забвения, как писателя, от одиночества, от нужды. Страх именно **там** потерять читателя все рос в нем, он с тревогой слушал речи о том, что **там** теперь начинают писать «под Пильняка», «под Маяковского». Он боялся, что он вдруг окажется никому не нужен.

«Дело Артамоновых» он едва дописал, как сейчас же захотел прочесть его нам — первая часть романа была окончена, две следующие написаны лишь черне (потом он переделал и испортил их). Станным может показаться, что он решил прочесть роман целиком вслух, он читал его три вечера подряд, до хрипоты, до потери голоса, но видимо это было нужно не только для того, чтобы увидеть наше впечатление, но и для того, чтобы он сам мог услышать себя.

В углу за столом сидел он, в золотых очках, делавших его похожим на старого мастерового. Свет падал на рукопись и руки. В довольно большом расстоянии от него, у потухшего

камина, на диване, прислонившись друг к другу, крепко спали Максим и его жена, — больше часа они чтения не выдерживали. М. И. Будберг, Ракицкий, Ходасевич и я сидели в креслах. Собака лежала на ковре. Ничем не занавешенные окна блестели чернотой. Огни Каstellамаре переливались на горизонте, огненная лесенка Везувия сверкала в небе. Изредка Горький глотал воду из стакана, закуривал, все чаще к концу вынимал платок и вытирал взмокшие от слез глаза. Он не стеснялся при нас плакать над собственной вещью.

Вот отрывок стихов, написанных в те дни об этих вечерних чтениях:

... Вчера звезда  
В окне сияла надо мной,  
И долго под окном вода  
Играла в тишине ночной.  
Зияла над заливом темь,  
А в комнате нас было семь.

Перед камином пес лежал,  
Горели свечи в колпаках,  
Оконных стекол и зеркал,  
Сверкали плоскости впотьмах,  
И отражались здесь и там:  
Лицо, рука, и пополам  
Разрезанный широкий стол,  
И итальянский пестрый пол,  
На чем-то одинокий блик,  
И скошенная полка книг.

В «Деле Артамоновых» были и есть — несмотря на последующие поправки — очень сильные, замечательные страницы; в целом роман этот закончил собой целый период Горьковского творчества, но был слабее того, что было Горьким написано в предыдущие годы. Эти годы, между приездом его из России в Германию и «Артамоновыми», были лучшими во всей творческой истории Горького. Это был подъем всех его сил и ослабление его нравоучительного нажима. В Германии, в Чехии, в Италии, между 1921 и 1925 годом, он не поучал, он писал с максимумом свободы, равновесия и вдохновения, с минимумом оглядки на то, какую пользу будущему коммунизму принесут

его писания. Он написал семь или восемь больших рассказов как бы «для себя самого», это были рассказы-сны, рассказы-видения, рассказы-безумства. «Артамоновы» оказались сходжением с этой плоскости к последнему периоду, который сейчас читать уже очень трудно.

Из советских критиков кажется ни один не понял и не оценил этого периода, но сам Горький чувствовал, что стал писать иначе: в одном письме 1926 года он признался, что «стал писать лучше» (Литер. наследство кн. 70). Весь этот период (двадцатые годы) несомненно содержит вещи, которые будут жить, когда умрут его ранние и поздние писания. Почему эти годы оказались для него такими? Легкий ответ: потому что он жил на Западе и был свободен от российских политических впечатлений, потому что ему не диктовали и он был сам по себе. Но не только в этом дело: был — после революционных лет — отдых в комфорте и покое, была личная жизнь, которая не мучила, а остановилась на счастливой точке, был «момент его судьбы» — без денежных забот, проблем, решений на будущее. Был момент судьбы, когда писатель остается наедине с собой, с пером в руке и настезь открытым сознанием.

Он приехал в Европу, как я уже сказала, сердитый на многое, в том числе и на Ленина. И не только сердитый на то, что творилось в России в 1918-21 годах, но и тяжело разрушенный виденным и пережитым. Один разговор его с Ходасевичем остался у меня в памяти: они вспоминали, как оба (но в разное время) в 1920 году побывали в одном «детском доме», или может быть «изоляторе», для малолетних. Это были исключительно девочки, сифилитички, беспризорные лет двенадцати-пятнадцати, девять из десяти были воровки, половина из них были беременны. Ходасевич, несмотря, казалось бы, на нервность его природы, с какой-то жалостью, смешанной с отвращением вспоминал, как эти девочки в лохмотьях и во вшах облепили его, собираясь раздеть его тут же на лестнице, и поднимали свои рваные юбки выше головы, крича ему непристойности. Он с трудом вырвался от них. Горький прошел через такую же сцену: когда он заговорил о ней, ужас был на его лице, он стиснул челюсти и вдруг замолк. Видно было, что это

посещение глубоко потрясло его, больше чем, может быть, все его прежние впечатления «босняка» от ужасов «дна», из которых он делал свои ранние вещи. И что, может быть, теперь в Европе он залечивает некоторые раны, в которых сам себе боится признаться, и иногда (хотя и не следуя ненавистному для него Достоевскому) спрашивает себя — и только себя: **стоило ли?**

Смерть Ленина, которая вызвала у него обильные слезы, примирила его с ним. Сентиментальное отношение к Дзержинскому было ему присуще давно. Он стал писать свои воспоминания о Ленине в первый же день, когда была получена телеграмма о его смерти (от Екатерины Павловны). На следующий день (22-го января 1924 года) была в Москву послана телеграмма соболезнования. В ней Горький просил Е. П. Пешкову возложить на гроб Ленина венок с надписью «Прощай, друг!» Воспоминания свои он писал, обливаясь слезами. Что-то вдруг бабье появилось в нем в эти дни, потом пропало. Эта способность слезных желез выделять жидкость по любому поводу (грубовато отмеченная Маяковским) была и осталась для меня загадочной. В детерминированном мире, в котором он жил, слезам, кажется, не должно было бы быть места.

В апреле 1925 года мы уехали. Накануне вечером я сказала ему, что самым главным в нем для меня была его «божественная электрическая энергия». «У Вячеслава Иванова, — засмеялась я, — она шла от Диониса. А у вас?»

— А у вас? — спросил он меня в ответ, не смеясь.

Я напомнила ему его собственное выражение: кажется (это было в 1884 году) он где-то разгружал баржу и, разгружая баржу, почувствовал «полубезумный восторг делания». Я сказала ему, что это я хорошо понимаю, но, смущаясь, опять засмеялась.

— Я смеюсь, — призналась я, когда он в ответ промолчал, — но я это говорю совершенно серьезно.

— Я это чувствую, — сказал он, тронутый, и заговорил о другом.

Итальянский извозчик лихо подкатил к крыльцу, стегая каурюю лошадку. Горький стоял в воротах, в обычном своем

одеянии: фланелевые брюки, голубая рубашка, синий галстук, серая вязаная кофта на пуговицах. Ходасевич мне сказал: мы больше никогда его не увидим. И потом, когда коляска покатила вниз, к городу, и фигура на крыльце скрылась за поворотом, добавил с обычной своей точностью и беспощадностью:

— Нобелевской премии ему не дадут, Зиновьева уберут, и он вернется в Россию. — Теперь и у Ходасевича в этом сомнений не оставалось.

*Н. Берберова*

\*

Еще не дают душе улететь  
Обязанности, привязанности.  
О, солнце свободы, светлая весть  
Прозрачной праздничной праздности!

Еще цепенеешь, горестный раб  
Заботы, законов, покорности.  
О, светлое чудо покоя, рай,  
Легчайший свет беззаботности!

Простимся с делами — долгой дела! —  
С волнениями, огорчениями.  
И станут печали движеньем крыла,  
Беспечным, блаженным твоим тра-ла-ла,  
Свирелями, виолончелями.

\*

Было б неплохо поехать в Отрадное —  
Речка в Отрадном совсем изумрудная.  
К черту страдания, к черту старания  
Сделал из облака ветку сирени я.  
Белой сиренью сиянье качается.

Или пожалуй, поедem в Аркадию.  
Ангел в штанах из алмазной материи  
Будет давать нам уроки бессмертия.  
Дай нам пристанище, речка волшебница,  
Замок лазурный из лунной мелодии.

Светится поле. Оно — елисейское.  
В нем хороводятся тени блаженные.  
Да, голубые, жемчужные жёны — и  
Фея, которая делает райскую  
Нежную скрипку из ветра весеннего,  
Нежное облако, полное пения.

\*

Задуматься, забыться, замечтаться,  
Заслушаться ночной тоски.  
Венеция, весна, и ночь, и пьяцца.

Вот — хризантемы, видишь — орхидеи  
(Обрывки дыма и туман).  
Что ж, посидим, друг другу руки грея.

Нет, волшебство едва ли возвратится,  
От лунных чар болят виски  
(Платить по счету: кьянти, асти, пицца).

И мы идем, и в луже грязной роза,  
А музыка один обман,  
Как постаревшая Принцесса Греза.

*Игорь Чиннов*

# СТАЛИН\*

САТИРИЧЕСКИЕ СЦЕНЫ

КРАСНЫЙ МАК

Сцена четвертая

*Гостиная вся в красных маках, хотя за окнами идет снег. Маки в горшочках стоят повсюду, а в большом глиняном горшке — куст чайной розы. Слева стоит манекен, на нем — черкеска с газырями, с огромным кинжалом в серебряных ножнах и высокая лохматая папаха. На стене, рядом с портретом Сталина — портреты Ленина и Мао Дзе-дун. Это триптих. Порядок таков: слева направо Ленин, Сталин, Мао Дзе-дун.*

*Справа два метровых фильтра: конусообразные, обращенные острым концом вниз, матерчатые сосуды, в которые налито вино. Очень медленно, по капелькам, вино просачивается и попадает в красные графины. На столе, в центре, на блюде, гора выкрашенных в красный цвет, куриных яиц, кроме них, стоят два национальных флага — СССР и Китайской Народной Республики, а также никелированная врачебная ванночка, в которой кипятятся винные бокалы. На переднем плане видна большая коробка, тщательно упакованная с надписями на боках: «Не кантовать! Осторожно! Бьющееся!» Под потолком висят разноцветные китайские фонарики, но они еще не зажжены. Там же плакат на русском и китайском языках: «Да здравствует мировая революция!».*

*Входят Мао Дзе-дун, его переводчик Ли и Берия. Мао Дзе-дун в громадной зимней дохе, в меховом треухе и в рукавицах. Раздевшись, он остается в «партийной» форме, то-есть, в защитного цвета кителе с маленьким отложным воротничком, и в очень широких такого же цвета брюках. На груди у него пуночный шелковый бант. Мао Дзе-дун одутловат, лицо бабье,*

---

\* См. кн. 86 «Н. Ж.».

он брызгает из флакончика на руки какую-то жидкость и ладонями приглаживает волосы. Увидя маки, он выражает явное неудовольствие. Ли в короткой зимней куртке и в куклой китайской фуражке. Он мал ростом, худ, на лице улыбка точно отлитая из воска. Он вносит небольшую китайскую икатулку и ставит ее на пол. Берия в штатском, на пиджаке — красный бант.

БЕРИЯ: (*Радушно, гостеприимно*). Тут потеплее, товарищ Мао Дзе-дун. Можно и раздеться. Прошу вас. На дворе, правда, снег, зима, черт подери, но тут тепло. Не замерзнете. (*Переводчику*). Товарищ Ли, переведите это товарищу Мао Дзе-дуну.

*Ли шепчет что-то Мао Дзе-дуну на ухо.*

МАО ДЗЕ-ДУН: (*Закрывает глаза, откидывает голову назад, произносит какой-то странный звук*). Сяо-о-о-о-о.

ЛИ: (*Вдохновенно, увлеченно, даже приподнимаясь на цыпочки*). Товарищ Мао Дзе-дун сказал, что он любит русскую зиму, что он не боится снега и мороза. Товарищ Мао Дзе-дун сказал, что снег и мороз, это как тени солнца и воды, это как отражение зимних звезд в ключевом ручье, это как дрова и огонь, спорящие между собой в камине. Товарищ Мао Дзе-дун сказал, что четыре времени года это как в человеческой жизни: рождение, зрелость, старость и смерть.

БЕРИЯ: Да, да, да, конечно, конечно. (*Берет у Мао Дзе-дуна доху, треух, рукавицы и кладет их на диван. Ли не раздевается*). Скажите товарищу Мао Дзе-дуну, что товарищ Сталин ждет его.

*Ли шепчет что-то на ухо Мао Дзе-дуну.*

МАО ДЗЕ-ДУН: (*Опять закрывает глаза, откидывает голову назад и опять слышится тот же звук*). Сяо-о-о-о-о.

ЛИ: Товарищ Мао Дзе-дун сказал...

БЕРИЯ: (*Перебивает*). Он еще ничего не сказал, товарищ Ли.

ЛИ: Нет, товарищ Мао Дзе-дун сказал, что всю жизнь он мечтал встретиться с товарищем Сталиным. Он сказал, что для него товарищ Сталин, как звук рожка, которым пастух собирает стадо, как алмазный камень, как учитель, как брат, как светлый друг, наконец, как столб с указателем на перекрестке дорог...

БЕРИЯ: Что-что? Столб?

ЛИ: Товарищ Мао Дзе-дун сказал, что врачи запретили ему лететь на самолете, но он не послушался врачей и вот на

волшебной птице, советского производства, которая напомнила ему орла, усыпанного серебряными монетами, прилетел в Москву, в красное сердце революции, чтобы поздравить нашего светоча, товарища Сталина, вождя и отца, с днем его семидесятилетия.

**БЕРИЯ:** Прекрасно. Прекрасно сказано. Спасибо, товарищ Ли, за перевод. Садитесь, товарищ Мао Дзе-дун. Товарищ Ли, не хочет ли товарищ Мао Дзе-дун сесть? *(Ли шепчет Мао Дзе-дуну на ухо, тот отрицательно качает головой)*. А тепло ли ему? Доволен ли он? *(Ли продолжает шептать на ухо Мао Дзе-дуну, тот утвердительно кивает головой, но тем не менее чувствуетея, что он немного сердит)*. Чудесно, чудесно. Скажите товарищу Мао Дзе-дуну, товарищ Ли, что я прошу извинить меня. Я пойду приглашу товарища Сталина. *(Ли шепчет на ухо Мао Дзе-дуну)*.

**МАО ДЗЕ-ДУН:** *(Закрывая глаза и откидывая голову)*.  
Сяо-о-о-о-о.

**ЛИ:** Товарищ Мао Дзе-дун сказал...

**БЕРИЯ:** *(Перебывает)*. Да, да, я знаю... Солнце, звезды, столб на перекрестке и так далее... *(Уходит направо)*.

*Ли недоуменно пожимает плечами. После ухода Берия, Мао Дзе-дун достает из кармана брюк красный шелковый платочек с золотыми пятиконечными звездами, громко и протяжно сморкается. Ли в это время начинает старательно осматривать все вокруг и шепотом информировать Мао Дзе-дуна, тот же делает вид, что он не слушает Ли, опять закрывая глаза и откидывая голову назад.*

*Из кладовой выходит Сталин, за ним Берия. Сталин в своем «историческом» костюме, то-есть, в «форме» генерального секретаря ЦК ВКП(б), на груди у него тоже красный бант. Он курит «историческую» трубку с изогнутым мундштуком. Сталин останавливается сразу, выйдя из кладовой. Однако, Ли замечает его и усиленно шепчет на ухо Мао Дзе-дуну.*

**СТАЛИН:** *(Хмурится)*. Как же это произошло, черт возьми?

**БЕРИЯ:** Иосиф Виссарионович, батона, кто мог предположить такой конфуз: ведь все было сделано в строгом соответствии с планом. Я послал в Новосибирск восемь своих генералов, во главе с Гоглидзе. Вчера самолет с товарищем Мао Дзе-дуном, на пути из Пекина в Москву, приземлился в Новосибирске, как и предполагалось. Товарища Мао Дзе-дуна угостили царским ужи-

вом. Затем повезли его в театр и показали балет Глиэра «Красный мак».

СТАЛИН: Ну?

БЕРИЯ: После первого же действия он встал и ушел. Да, да, встал и ушел. Балет ему не понравился. Мне звонили из Новосибирска. Там полная паника. Дело в том, что в этом «Красном маке» на сцене советские моряки дерутся с китайскими кули или что-то в этом роде.

СТАЛИН: Болван!

БЕРИЯ: Кто? Мао Дзе-дун?

СТАЛИН: Вы, товарищ Берия.

БЕРИЯ: (*Извиняющимся тоном*). Батоно, но мне сказали, что действие происходит при Гоминдане, не в современном Китае, а при Чан Кай-ши.

СТАЛИН: (*Возмущенно*). Какая разница? Вы что это нарочно сделали? Кто это придумал?

БЕРИЯ: (*Смущенно*). Иосиф Виссарионович, укаправад, маграм...<sup>1</sup> это же вы придумали.

СТАЛИН: Я?

БЕРИЯ: Вы же приказали устроить остановку в Новосибирске, дать ужин и повезти на балет, именно на «Красный мак». Этот балет заранее подготавливался... три месяца репетировали... миллион рублей убухали на постановку...

СТАЛИН: Не болтайте глупостей, Берия!

БЕРИЯ: Да ведь все это... и вот с цветами... это же ваша идея...

СТАЛИН: А что маки ему здесь тоже не нравятся?

БЕРИЯ: Он смотрит на них, как будто, каждый мак это не мак, а пулемет.

СТАЛИН: Амис дедац...<sup>2</sup>

БЕРИЯ: (*Сильно понизив голос*). Мне стало известно... от некоторых товарищей из свиты Мао Дзе-дуна, что он разозлился на «Красный мак» в Новосибирске и вообще на маки потому, что он сейчас пишет новую поэму, которую по стечению обстоятельств, на наше несчастье, он озаглавил — «Красный мак». Понимаете, Иосиф Виссарионович, как будто кто-то у кого-то украл название.

<sup>1</sup> Извините, но...

<sup>2</sup> Твою мать...

СТАЛИН: Не болтайте глупостей, Берия.

БЕРИЯ: Честное слово, Иосиф Виссарионович. Вы же не знаете, что это за человек. Поэт... говорит так, что... образы, образы, без перерыва. Одни образы, и образы иногда очень... туманные...

СТАЛИН: Это не беда.

БЕРИЯ: Мое дело вас предупредить. И еще, Иосиф Виссарионович, нам не удалось проверить его карманы. Он привез с собой охрану в 140 человек. Они категорически воспротивились. Чуть было не произошла перестрелка между нашими ребятами и его раскосыми...

СТАЛИН: Дурак вы, товарищ Берия! Как же можно проверять карманы у товарища Мао Дзе-дуна? Да вы отдаете себе отчет? Да ведь у него в карманах — 600 миллионов китайцев. Вы представляете себе, что это такое? А? Да вы знаете, кто такой товарищ Мао Дзе-дун? Он же первый, первый человек в мире... после меня...

БЕРИЯ: Извините, Иосиф Виссарионович.

СТАЛИН: Убрать красные маки!

БЕРИЯ: Как, совсем?

СТАЛИН: Совсем.

БЕРИЯ: Вызвать прислугу?

СТАЛИН: Не надо прислуги. Вы сами. Вынесите эти горшки в соседнюю комнату. Вот и все.

БЕРИЯ: Батоно, так красиво. Исети ламази квавили.<sup>3</sup> Так нарядно. Может быть, он постепенно привыкнет. Я ведь на целую неделю снял брони с правительственной оранжереи. Академик Цицин в Ботаническом саду занимался целую неделю исключительно этими маками.

СТАЛИН: *(Строго)*. Убрать цветы!

БЕРИЯ: *(Вздыхает)*. Слушаюсь, Иосиф Виссарионович.

*Сталин подходит к Мао Дзе-дуну и протягивает ему руку.*

СТАЛИН: *(Величественно и «по-сталински» просто)*.

Здравствуйте, товарищ председатель!

МАО ДЗЕ-ДУН *(Улыбается, жмет руку Сталина)*.  
Сяо-о-о-о-о.

ЛИ: Товарищ Мао Дзе-дун сказал, что...

СТАЛИН: *(Игнорирует Ли, не замечает его, перебивает)*.

<sup>3</sup> Такие красивые цветы.

Сначала я скажу. Дело в том, что я приношу вам, товарищ председатель, извинение за непростительный инцидент, который имел место в Новосибирске вчера вечером. Конечно, это *идеологический* ляпсус. Балет Глиэра «Красный мак» порочное произведение, искажающее и фальсифицирующее исторические и традиционные отношения между Россией и Китаем. Чиновники Комитета по делам искусств Союза будут строго наказаны. Я уже распорядился о том, чтобы балетмейстер театра и солисты, исполнявшие главные роли, были уволены и сосланы в отдаленные места. Вопрос о творчестве Глиэра будет обсуждаться на специальном заседании Политбюро ЦК ВКП(б). Мы, кроме того, опубликуем в центральной прессе партийный документ по этому поводу.

*Сталин ждет, когда Ли, шепча, как прежде, на ухо Мао Дзе-дуну, переведет его слова.*

МАО ДЗЕ-ДУН: *(Просветлел, расплылся в улыбке).*  
Сяо-о-о-о-о.

ЛИ: *(Поспешно).* Товарищ Мао Дзе-дун сказал, что «Красный мак», как цветок, символический цветок, что он выражает образ революции, что маки в поле это все равно, что алые знамена на площадях Парижа, Лондона и Нью-Йорка. Товарищ Мао Дзе-дун сказал, что история красных маков это история земли, неба, кристаллов, воды, света, лунных эльфов, что это история возникновения первого поцелуя между ветром и огнем во вселенной...

*Берия в это время выносит горшочки с красными маками в соседнюю комнату. После этого он, отряхивая ладони, приближается к Сталину и, наклонясь к нему, шепотом говорит.*

БЕРИЯ: Розу тоже убрать?

СТАЛИН: *(Берия).* Розу не трогайте. *(Мао Дзе-дуну).* Я думаю, товарищ председатель, что речь в данном случае идет не только об истории возникновения первого поцелуя, но и о первом пролетариате на земном шаре. Не так ли?

*Ли шепчет на ухо Мао Дзе-дуну.*

МАО ДЗЕ-ДУН: *(Закрывает глаза и откидывает голову).*  
Сяо-о-о-о.

ЛИ: Товарищ Мао Дзе-дун сказал, что в сочинениях великого Сталина очень правильно освещен вопрос диктатуры пролетариата и его авангардной роли, но что он старается, в данный момент, найти поэтическое решение в сочетании образов красного

мака и диктатуры пролетариата, вернее, истории возникновения первого пролетария на земном шаре.

СТАЛИН: (*Строго, не глядя на Ли*). Не надо ошибаться. товарищ переводчик.

ЛИ: Прошу извинения... Товарищ Мао Дзе-дун сказал, что в образе красного мака преобладает бархатный океан в час заката, нежные вздрагивания райской птички, покой и мудрость Гималаев в час заката, зарево пожаров, отраженное в зрачках маленькой вьетнамки...

СТАЛИН: (*В сторону Берия*). Китайский вождь просто трепач...

ЛИ: (*Продолжает*). Товарищ Мао Дзе-дун сказал, что красный мак это душа японского шахтера, сердце филиппинской ткачихи, совесть индонезийского крестьянина, что это призыв к тому, чтобы ветер превратился в революционное слово, чтобы лес зашумел на весь мир, чтобы реки вышли из берегов и затопили поля зла и угнетения, чтобы горы сдвинулись с места и уничтожили бы навсегда дворцы капиталистов, чтобы капля росы, как капля детской слезы, как зеркало красоты, упала на тысячелетние раны пролетария. Товарищ Мао Дзе-дун сказал, что...

СТАЛИН: (*Поднял руку*). Одну минуту, товарищ переводчик! (*Ли умолкает. Сталин отводит Берия в сторону, понижает голос*). Это мне уже надоело: «Товарищ Мао Дзе-дун сказал, он сказал, он сказал...» Уж не собираются ли китайские товарищи провозгласить культ Великого, Божественного Мао Дзе-дуна... а? Это, знаете ли, товарищ Берия, серьезный вопрос. Учение Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина категорически возражает против всяких культов. Тут таится определенная опасность...

БЕРИЯ: Безусловно. Тем более, что не могут существовать одновременно два великих.

СТАЛИН: (*Автоматически*). Вы правы. Так что же делать? Давайте сначала заткнем китайскому вождю рот. Подарками. Говорят, он любит подарки. (*Возвращается к Мао Дзе-дуну, громко*). Товарищ председатель, я бы хотел в настоящий момент отметить исторический факт, который войдет в летопись всех времен и народов. Я говорю о вашем приезде в Москву, по случаю семидесятилетия Великого, (*подчеркивает*) Великого Сталина. Я бы хотел от имени моего народа преподнести вам скромный подарок. Вот эту черкеску с папахой и кинжалом. (*Указывает на манекен. Ли шепчет на ухо Мао Дзе-дуну*). Это,

знаете ли, костюм трудового горца, советского горца, младшего брата великого русского народа. Я бы хотел, товарищ Председатель, чтобы вы надели этот костюм и почувствовали бы себя в нем таким же счастливым, каким чувствует себя каждый трудовой горец Великого Советского Союза.

МАО ДЗЕ-ДУН: (*Опять расплывается от удовольствия*). Сяо-о-о-о-о.

ЛИ: Товарищ Мао Дзе-дун сказал, что трудовые граждане Великого Советского Союза являются носителями прогресса во всем мире, что советский гражданин это Великий гигант с эстафетой будущего в руке, вселяющий надежды на то, что...

СТАЛИН: (*Перебивает*). Достаточно. И так понятно. Не надо перевода. (*Ли умолкает, растерянно смотрит на Мао Дзе-дуна, но тот целиком поглощен черкеской*).

БЕРИЯ: (*Сняв черкеску и папаху с манекена, помогает Мао Дзе-дуну надеть и то и другое*). Пожалуйста, пожалуйста, товарищ Председатель, это вот рукав, вот так... А здесь надо застегнуть. И пояс, пояс... правильно, вот так... Хорошо... И здесь застегнуть... (*Декламирует*):

Черкес оружием обвешен, он им гордится, им утешен...

СТАЛИН: (*Удивлен*). Берия, вы знаете Пушкина?

БЕРИЯ: Конечно, Иосиф Виссарионович, конечно. (*Декламирует*):

Черкес оружием обвешен, он им гордится, им утешен...

СТАЛИН: Впрочем, прекратите о черкесе. Черкесов уже нет. Я запретил эту нацию-предателей.

БЕРИЯ: Ах да, мы же выселили их в отдаленные места. Извините, Иосиф Виссарионович, я забыл. (*Поправляет на Мао Дзе-дуне газыри, кинжал*). Великолепно! Просто, как на него спита... Чем не джигит? Вольтижер... А?

МАО ДЗЕ-ДУН: (*Улыбается*). Сяо-о-о-о.

ЛИ: Товарищ Мао Дзе-дун сказал...

СТАЛИН: (*Поднимает руку и этим жестом останавливает Ли*). Не надо. Без перевода понятно. (*Мао Дзе-дуну*). Обратите внимание, товарищ Председатель, на газыри. Они золотые. А кинжал очень дорогой, уникальной работы. Вообще весь костюм музейная редкость, хотя он и является костюмом трудового советского горца. (*Ли шепчет на ухо Мао Дзе-дуну*).

МАО ДЗЕ-ДУН: Сяо-о-о-о-о.



СТАЛИН: *(Берет халат, тихо Берия)*. Меня копирует, сукин сын. Мои слова повторяет.

БЕРИЯ: *(Помогает Сталину надеть халат)*. Это красота, что правда, то правда. *(Перекалывает красный бант на красный халат)*. Клянусь мамой и Шота Руставели, это великолепно!

*Мао Дзе-дун тягь кивает. Ли достает из шкатулки китайскую шапочку красного цвета, с двумя очень длинными, волочащимися по полу, косами.*

ЛИ: *(Передает шапочку Сталину)*. Это полагается надеть на голову.

СТАЛИН: И косы... посмотри, пожалуйста... *(Ухмыляется)*.

БЕРИЯ: Прямо Конфуций... а?

СТАЛИН: Вы разболтались, Берия. *(Торжественно)*. Спасибо, товарищ Председатель. Благодарю вас. Прекрасный подарок. Я буду хранить его до последних дней моей жизни. А теперь разрешите мне преподнести вам сугубо личный подарок. Мао Дзе-дуну от Сталина. Вот он. *(Указывает на коробку на столе)*. Это, знаете ли, исторический доклад товарища Сталина о Советской конституции, которая получила с тех пор наименование Сталинской конституции. Это запись доклада. 100 грамофонных пластинок. Надеюсь, не откажетесь? *(Берет со стола коробку обеими руками, но не расчитав, что коробка очень тяжела, чуть-чуть не роняет ее. Подбегает Берия и помогает)*. Какая тяжесть... вот не думал...

БЕРИЯ: *(Многозначительно)*. Еще бы!

СТАЛИН: *(Замечает надпись «Бьющееся», возмущенно)*. Слушайте, Берия, что вы тут написали? «Бьющееся»? Это «Бьющееся»?

БЕРИЯ: Но пластинки, батоно, они не прочные, они...

СТАЛИН: *(Перебивает)*. Не говорите глупостей. Цади ма-шорди, гижги, вирус тави.<sup>4</sup> Они не бьются потому, что на них записан мой доклад. Генге, кацо?<sup>5</sup>

БЕРИЯ: Ки, батоно. *(Вечной ручкой приписывает к «Бьющееся» две большие буквы «НЕ»)*.

*Ли все это время продолжает шептать на ухо Мао Дзе-дуну. Сталин и Берия подносят Мао коробку, у него на лице смешанное выражение и восторга и испуга, оттого, что короб-*

<sup>4</sup> Пошел к черту, дурак, ослиная голова.

<sup>5</sup> Понял, человек?

*ка яено тяжела. Мао Дзе-дун хватается рукой за сердце, но потом вынужден принять коробку на грудь. Однако, он сразу передает ее Ли, который держит ее на руках, пошатываясь, и так, что его головы, из-за коробки, почти не видно.*

МАО ДЗЕ-ДУН: Сяо-о-о-о-о.

ЛИ: Товарищ Мао Дзе-дун сказал, что он будет по утрам вставать и сразу прослушивать эти пластинки, все 100 подряд. Товарищ Мао Дзе-дун сказал, что он будет повторять это и перед сном. Товарищ Мао Дзе-дун сказал, что он будет делать это вместо того, чтобы чистить зубы...

СТАЛИН: *(Берия)*. Это что издевка?

БЕРИЯ: Что вы, батона. Наоборот. Высшая похвала. Почти подвиг. Они же, китайцы, очень чистоплотны. Дважды в день чистят зубы.

МАО ДЗЕ-ДУН: *(Закрывает глаза, откидывает голову)*. Сяо-о-о-о-о.

ЛИ: *(Все же опускает коробку с пластинками на пол)*. Товарищ Мао Дзе-дун сказал, что у него тоже есть личный подарок для Великого Сталина. Великому Сталину от Мао Дзе-дуна.

СТАЛИН: Не отстает. Ну-ка!

*Мао Дзе-дун кивает и Ли достает из шкатулки веер, раскрывает его. Веер красного цвета с какими-то точками. Ли протягивает веер Сталину.*

ЛИ: Это не просто веер. Нет. На этом веере написаны все сочинения товарища Мао Дзе-дуна.

СТАЛИН: *(Держит веер в руке)*. Что-о?

ЛИ: Это редкая работа. Тысяча китайских специалистов трудились над этим веером полтора года. В лупу вы можете прочитать все теоретические и поэтические произведения товарища Мао Дзе-дуна.

БЕРИЯ: Фантастика! Да, я вам скажу, Иосиф Виссарионович, они нам утерли нос. *(Вдруг, воодушевленно)*. А что если нам попробовать уместить все ваши сочинения на... носовом платке. А?

СТАЛИН: Идиот, носовым платком вытирают нос. Вы это понимаете?

БЕРИЯ: Извините, этого я не учел.

СТАЛИН: *(Громя)*. Спасибо, товарищ Председатель. Я высоко ценю ваши теоретические и поэтические сочинения. Что же касается этого веера, то... *(Обмахивается)*. Такие веера, знаете

ли, были бы особенно полезны в жарких, я бы сказал, знойных, капиталистических странах. Не так ли, товарищ Председатель?

*Ли шепчет на ухо Мао Дзе-дуну.*

МАО ДЗЕ-ДУН: *(Длинно и очень тонко смеется).*  
Сяо-о-о-о-о.

ЛИ: Товарищ Мао Дзе-дун сказал, что сталинский юмор — разящий, классовый юмор.

СТАЛИН: Благодарю. *(Строго).* Товарищ Берия, повернитесь к стене. *(Берия поворачивается).* Руки по швам! И вы, товарищ переводчик... закройте глаза. *(Ли закрывает).*

*Сталин приближается к своему портрету, отодвигает его, открывает сейф. Мао Дзе-дун следит за ним глазами, но Сталин «доверяет» ему, и не старается скрыть от Мао Дзе-дуна систему сейфа. Он достает из сейфа трусики. Закрывает сейф, ставит на место портрет. Возвращается в центр гостиной.*

СТАЛИН: *(Берия).* Кру-гом! *(Берия поворачивается).* Товарищ переводчик, можете открыть глаза... Товарищ Председатель, разрешите мне, в порядке обмена опытом между братскими компартиями, преподнести вам также и этот «Парт.док.пояс», или, попросту говоря, партийные трусы. Я надеюсь, вы используете наше прошлое. История этих партийных трусов такова. *(Переводчику).* Вы переводите, переводите... *(Ли шепчет на ухо Мао Дзе-дуну).* После злодейского убийства дорогого Сергея Мироновича Кирова, после того, как мы, советские коммунисты, поняли, какого накала достигла классовая борьба внутри нашей страны, Политбюро ВКП(б) вынесло особое решение о хранении партийных билетов. Специальная комиссия, под руководством товарища Сталина, обсуждала предварительно этот вопрос. Нам был продемонстрирован на модели обнаженного коммуниста, так называемый, «Парт.док.пояс», то-есть, нечто похожее на дамский пояс с резинками. Некоторые хотели назвать этот пояс «Партийным поясом», некоторые «Спасательным поясом», а некоторые даже «Партийными плавками». Возникли бурные споры по поводу цвета пояса. Я предложил черный, сказали, что, мол, это траурный цвет. Молотов предложил розовый, сказали, что это, мол, в данном случае, двусмысленный цвет. Остановились на цвете «морской волны». Потом дебатировался вопрос: должны ли быть сезонные пояса, то-есть, особый для летнего периода и утепленный для зимы. Постановили обойтись одним. Между прочим, в



БЕРИЯ: Терпите. Вы великий человек, он тоже, знаете, кое-чего стоит, если у него в карманах 600 миллионов китайцев.

СТАЛИН: Это справедливо, товарищ Берия.

ЛИ: Товарищ Мао Дзе-дун сказал, что корень жизни есть в каждой мысли, в каждом горе рабочего, в каждой испарине на лбу трудового крестьянина. Корень жизни это...

СТАЛИН: Нет, не могу больше. (*Перебивает*). Довольно! Понятно. Без перевода понятно. Вот что... я бы хотел, товарищ Председатель, перейти к деловой части нашей исторической встречи. Торжественная процедура с подарками, будем считать, закончилась. Теперь я бы хотел обсудить с вами, товарищ Председатель, вдвоем, без свидетелей, как говорят, с глазу на глаз, стратегию и тактику всего коммунистического движения, в глобальном масштабе. Что вы по этому поводу скажете, товарищ Председатель?

*Ли шепчет на ухо Мао Дзе-дуну.*

БЕРИЯ: Батоно, Иосиф Виссарионович, как же вы будете с ним обсуждать стратегию и тактику, вы же ни слова по-китайски, а он ни слова ни по-русски, ни по-грузински. На каком же языке вы будете разговаривать?

СТАЛИН: (*С пафосом*). На языке революции, товарищ Берия. На языке революции. И еще раз, на языке революции.

МАО ДЗЕ-ДУН: Сяо-о-о-о.

СТАЛИН: Ну, вот видите, я так и знал: он согласен.

ЛИ: Товарищ Мао Дзе-дун сказал, что он согласен.

СТАЛИН: Итак, товарищ Берия и товарищ переводчик, мы вас больше не задерживаем. Спасибо за услуги. В следующий раз, товарищ переводчик, переводите не в третьем лице, а в первом. Сталина и Мао Дзе-дуна надо переводить только в первом лице. Без всяких этих «сказал, что». Но вы еще молоды, неопытны. Наверное, комсомолец?

ЛИ: (*В полной растерянности*). Мне 50 лет.

СТАЛИН: Неужели?

БЕРИЯ: У китайцев возраст не разберешь, батоно. Они все кажутся комсомольцами.

МАО ДЗЕ-ДУН: Сяо-о-о-о.

ЛИ: Товарищ Мао Дзе-дун сказал, что...

СТАЛИН: (*Перебивает*). Нет, нет... Не надо... Теперь мы с товарищем Председателем сами во всем разберемся... Ступайте!

БЕРИЯ: Слушаюсь, Иосиф Виссарионович. Я займусь со-

ставлением официального коммюнике. В комиссию по подготовке этого коммюнике входят товарищ Суслов, Поспелов, я и...

СТАЛИН: *(Перебивает)*. Посоветуйтесь с китайскими товарищами.

БЕРИЯ: Конечно, батано, конечно. Пойдемте, товарищ Ли. Да, Иосиф Виссарионович, не забудьте в подходящий момент зажечь китайские фонарики.

СТАЛИН: Не забуду. Идите, идите. *(Берия и Ли уходят)*. Ну, вот, мы и остались одни, как говорят французы, «тет-а-тет».

*С этого момента начинается пантомима. Мао Дзе-дуну все время мешают ходить кинжал, он у него сползает то влево, то вправо, словом, мешают и занимает его внимание. Сталину же приходится думать о своих косах, которые волочатся за ним по полу, на которые он нет-нет да наступит, и из-за этого раза два чуть не падает. Потом они оба снимают черкеску и халат и остаются в своей партийной «форме». Так они себя чувствуют лучше.*

*Сталин приближается к Мао Дзе-дуну, снова протягивает ему руку. Тот пожимает ее, они обнимаются и делают вид, что целуются, но чмокают, так сказать, воздух. Затем Сталин широким жестом приглашает Мао Дзе-дуна подойти к триптиху. Оба опускаются перед ним на колени. Сталин поднимает правую руку, глядя на портрет Ленина, за ним обе руки поднимает Мао Дзе-дун. Сталин поднимает правую руку, глядя на портрет Сталина, за ним поднимает обе руки Мао Дзе-дун. Наконец, Сталин поднимает правую руку, глядя на портрет Мао Дзе-дуна, за ним поднимает обе руки Мао Дзе-дун.*

*После этого Сталин и Мао Дзе-дун еще некоторое время смотрят на триптих, встают, встряхивают коленки и Сталин жестом предлагает Мао Дзе-дуну пройтись. Они ходят по гостиной медленно и степенно. Из одного угла в другой. Идут рядышком, стараясь не толкать друг друга, но слегка касаясь друг друга локтями. Сталин заложил правую руку за борт своей «партийной» куртки, а Мао Дзе-дун соединил руки на животе. Они останавливаются, улыбаются, обмениваются непонятными жестами, «думают», потом снова прохаживаются, потом снова останавливаются. Сталин поправляет усы. Мао Дзе-дун достает платок и сморкается. Так они совершают два «конца» из угла в угол.*

Свет на сцене медленно гаснет и так же медленно загорается вновь. Все на сцене по-прежнему. Сталин и Мао Дзе-дун продолжают делать свои «концы», уже потеряв им счет. Вероятно, прошел час. Наконец, Сталин подводит Мао Дзе-дуна к столу и указывает на гору красных куриных яиц. Жестом показывает, что они питательны и, главное, безопасны. Сталин первый разбивает два яйца и проглатывает их содержимое. Мао Дзе-дун следует его примеру, берет два яйца, но не разбивая их, проглатывает целиком, со скорлупой. Сталин удивленно смотрит на него. Тот улыбается и дает ему понять жестом, что у каждого народа свои обычаи. Сталин жестом отвечает, что у него возражений нет.

Сталин указывает Мао Дзе-дуну на кресла. Оба садятся в кресла, опять обмениваются странными жестами, даже гримасничают. Сталин вращается в кресле. Мао Дзе-дун следует его примеру и тоже вращается в кресле. Что-то вроде карусели. Слышится тонкий, произительный смех Мао Дзе-дуна, за ним, в знак солидарности, солидно, чуть лениво смеется Сталин. Он первым останавливает кресло, сходит с него. Останавливает кресло и Мао Дзе-дун. Сходит с него. Сталин указывает жестом на фильтры. Оба приближаются к ним. Мао Дзе-дун явно не понимает, что это такое. Сталин мимически объясняет, что мол, это «выпивка». Мао Дзе-дун расплывается в улыбке. Сталин жестом спрашивает Мао Дзе-дуна, которое из вин он предпочитает. Мао Дзе-дун в раздумьи, закидывает голову назад, закрывает глаза, что-то высчитывает на пальцах и показывает на левый фильтр. Сталин кивает и берет красный графин с вином из-под левого фильтра. Затем приглашает жестом к столу. Оба подходят к столу. Металлическими медицинскими щипчиками Сталин достает из кипящей воды два винных бокала, вытирает их вафельным полотенцем, тщательно, смотрит на свет, затем ставит один бокал перед Мао Дзе-дуном, другой перед собой, наливают в оба красное вино, сначала, разумеется, Мао Дзе-дуну, потом себе. Мао Дзе-дун внимательно следит за движениями Сталина. Тот нечаянно роняет полотенце на пол. Мао Дзе-дун пользуется этим и, когда Сталин наклоняется за полотенцем, мгновенно меняет бокалы, свой ставит Сталину, а сталинский берет себе. Сталин этого не видит, поднимает бокал и, указывая на плакат, висящий над ними, дает понять, что в интересах меж-

дународной революции, они должны вытпть на «брудершафт». Мао Дзе-дун не понимает. Тогда Сталин насильно протискивает свою руку под локоть Мао Дзе-дуна и заставляет его вытпть на «ты». Пьют. Целуются. Незаметно оба отплеваются. Сталин вытирает усы. Мао Дзе-дун прикладывает шелковый платочек к губам.

Сталину вдруг в голову приходит идея: он предлагает Мао Дзе-дуну помериться ростом. Кто выше, так сказать? Они становятся спиной друг к другу. Сталин слегка приподнимается на цыпочках, но Мао Дзе-дун все же выше. Однако, Мао Дзе-дун показывает знаками Сталину, что, мол, Сталин выше. Сталин отрицательно покачивает головой. Затем он усаживает Мао Дзе-дуна и они мерются силой, упирая локти в стол и соединяя ладони. Кто согнет руку «противника»? Кряхтят, краснеют. Ничья. Мао тяжело дышит и кладет руку на сердце. Сталин предлагает позвать врача. Он отказывается и жестом говорит, что ему уже хорошо, боль прошла.

Свет на сцене медленно гаснет. Пауза. Зал погружен в темноту. Вдруг со сцены доносится монотонный хrap. Нет, два хrapа, один тонкий и протяжный, другой более густого тембра. Когда свет медленно загорается, зритель видит Сталина и Мао Дзе-дуна, сидящими в креслах неподвижно и вразвалку, глаза у них закрыты, головы чуть свалились на бок. Оба спят, издавая хrap.

В комнату входит Берия. В руках у него лист бумаги.

БЕРИЯ: (Негромко). Иосиф Виссарионович...

Ответа нет. Берия видит, что и Сталин и Мао спят. Он на цыпочках уходит.

Первым просыпается Мао Дзе-дун, потягивается, кряхтит, но настроение у него хорошее, он улыбается, осматривается по сторонам, вспоминает иде он, быстро ощупывает карманы, мол, все ли цело, не обворовали ли? Смотрит на Сталина. Сталин немедленно открывает сначала один глаз, затем второй. Тоже встает, тоже потягивается, кряхтит, зевает. Быстро приходит в себя и жестом предлагает Мао Дзе-дуну сыграть в карты.

Оба садятся за круглый стол. Сталин достает из заднего кармана брyк карты. Перемешивает их, веером, как игрок. Он ставит перед Мао Дзе-дуном флажок КНР, а перед собой флажок СССР. Собирается сдавать карты. Но Мао Дзе-дун реши-

тельно отвергает его идею. Он встает, подходит к своей шкатулке, извлекает из нее костяшки из слоновой кости. Садится. Сталин смотрит на него, секунду раздумывает, потом кивает головой. Он согласен играть и в костяшки. Оба поворачивают их изображением вниз, перемешивают, как домино, и каждый берет определенное количество, остальные складывают в два ряда длинным столбиком. Сталин спрашивает жестом Мао Дзе-дуна, на что, мол, будем играть? Мао Дзе-дун жестом отвечает, что денег у него нет. Сталин показывает, что и у него денег нет. Оба шарят по карманам. Сталин достает браунинг и кладет его на стол. Вопросительно смотрит на Мао Дзе-дуна. Тот сначала испугался, однако, поняв что предлагает Сталин, достает из грудного кармана длинный китайский нож и кладет его перед собой.

Итак, играют на огнестрельное и холодное оружие. Играют молча, сосредоточенно, каждый собирает свои костяшки и выкидывает ненужные.

Входит Берия.

БЕРИЯ: (Сталину). Это что домино?

СТАЛИН: (Сдержанно). Нет, это китайская игра: маджонк. Я научился в Сибири, в царской ссылке... Интересная игра...

БЕРИЯ: Я зажгу фонарики, батано. А?

СТАЛИН: Зажигайте.

Берия поворачивает специальный выключатель, под толчком вспыхивают красные китайские фонарики. Но Мао Дзе-дун не обращает на них внимания, он сосредоточен на игре в маджонк.

БЕРИЯ: (Восторгается в одиночку). Красота!

СТАЛИН: (Не глядя на Берия, после паузы). Коммюнике подготовили?

БЕРИЯ: Так точно, Иосиф Виссарионович. (Достает из кармана лист бумаги, разворачивает его). Коротко получилось, но, по-моему, весомо. Убедительно.

СТАЛИН: (По-прежнему не глядя на Берия). Как по-вашему меня мало интересует, товарищ Берия. Читайте.

БЕРИЯ: Тут вначале насчет приезда товарища Мао Дзе-дуна в Москву, дата, час и так далее. А вот о вашей сегодняшней встрече. (Читает). «Во время встречи двух вождей мирового пролетариата, товарища Сталина и товарища Мао Дзе-дуна...»

СТАЛИН: (*Перебивает*). Надо сначала товарища Мао Дзе-дуна, а потом товарища Сталина.

БЕРИЯ: Слушаюсь. (*В сторону*). Фарисей, сукин сын...

СТАЛИН: Что вы сказали?

БЕРИЯ: Я сказал: слушаюсь, Иосиф Виссарионович, батоно. (*Продолжает читать*). «Во время встречи двух вождей мирового пролетариата...»

СТАЛИН: (*Перебивает*). Это вы уже прочитали.

БЕРИЯ: Да, да... (*Читает*). «Товарища Мао Дзе-дуна и товарища Сталина, на даче у товарища Сталина...»

СТАЛИН: (*Перебивает*). На гос. даче, товарищ Берия, на гос. даче. У товарища Сталина нет собственной дачи. Товарищ Сталин не имеет никакой частной собственности. Вы же об этом знаете. И это известно во всем мире. Зачем же дезориентировать мировое общественное мнение.

БЕРИЯ: Извините, батоно. (*Читает*). «На гос. даче в Барвихе, были обсуждены вопросы, связанные с тактикой и стратегией революционного движения в глобальном масштабе».

СТАЛИН: Насчет глобального масштаба это хорошо. Но надо сначала поставить слово стратегия, а потом тактика. Понятно?

БЕРИЯ: Слушаюсь, Иосиф Виссарионович. (*Читает*). «Два вождя пришли к выводу, что концентрация, консолидация, координация и кооптация сил социализма в мире неудержимо возрастает. Два вождя подчеркнули твердую решимость советского и китайского народов...»

СТАЛИН: (*Перебивает*). Лучше сказать в данном случае китайского и советского народов... Он ведь гость, гость, Мао Дзе-дун, как вы не понимаете. А еще грузин, мингрелец.

БЕРИЯ: Не я один писал, батоно. Суслов, Поспелов...

СТАЛИН: Мало ли в ЦК идиотов. Ну, ну, читайте, дальше.

БЕРИЯ: (*Читает*). «Два вождя подчеркнули твердую решимость китайского и советского народов помогать друг другу отныне и во веки веков и скрепить свои судьбы узами крови, духа и учений Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина-Мао Дзе-дуна».

СТАЛИН: (*Вполголоса, ворчливо*). И китайца приплели. Было нас четверо, теперь стало пятеро. Ну, ладно, ладно. Дальше.

БЕРИЯ: (*Продолжает читать*). «Два вождя указали на необходимость усиления, обострения, напряжения, нагнетения,

накаления и интенсификации идеологической борьбы с капитализмом всех мастей и оттенков и их приспешников всех мастей и оттенков».

СТАЛИН: (*Играя в маджонг*). Вот это хорошо. Я люблю слово приспешники. Это очень хорошо. Дальше, Лаврентий Павлович.

БЕРИЯ: (*Читает*). «Два вождя подчеркнули, указали, объявили, сообщили, предупредили и информировали, что как СССР, так и КНР будут и впредь оказывать всемерное, всяческое, многообразное, разнообразное, неограниченное, максимальное содействие угнетенным колониальным, поработанным народам мира в их национально-освободительном движении».

СТАЛИН: Правильно. Но в начале поправьте: КНР и СССР. А не наоборот. Он же гость, гость.

БЕРИЯ: Слушаюсь. (*Читает*). «Два вождя провозгласили курс на создание великого, величайшего, наивеличайшего, наивеличайшего общества как в СССР, так и в КНР». (*Поспешно*). Я переставлю, батона: «в КНР и в СССР».

СТАЛИН: И «наивеличайшего общества» наберите жирным шрифтом.

БЕРИЯ: (*Кивает и читает последний абзац*). Два вождя заявили, что победа коммунизма в мировом масштабе неизбежна, неотвратима, непреодолима и незамедлима, и что наши дети живут уже на пороге коммунизма и освещены его заревом».

СТАЛИН: Насчет зарева уместно и даже поэтично. В духе товарища Председателя. (*Кивок в сторону Мао Дзе-дуна*). Хорошо. Молодцом. Хвалю. Можете передать коммюнике миру. И пускай у этих империалистов поджилки затрясутся. Нашим же друзьям в странах народных демократий и в компартиях кап. стран, сообщите конфиденциально, что товарищ Мао Дзе-дун и товарищ Сталин будут спать сегодня ночью на гос. даче в Барвихе. Нет, добавьте, в одной комнате. И еще добавьте, на кроватях рядом. Вот так.

БЕРИЯ: Есть, товарищ Сталин.

СТАЛИН: Кроме того... присовокупите к выше упомянутому тот факт, что... (*Взглянул на Мао Дзе-дуна*) Товарищ Мао Дзе-дун и товарищ Сталин решили заключить договор на социалистическое соревнование. Они взяли на себя целый ряд социалистических обязательств. В будущем выполнение этих соц. обязательств будет проверяться. По-квартально. Или в полгода раз.

Это еще не уточнено. Так и сообщите, товарищ Берия: «Социалистическое соревнование вождей мирового пролетариата».

БЕРИЯ: Вот это интересно, батоно. А можно мне лично спросить: что в ваших обязательствах есть и пункт: «Работа над собой»? А?

СТАЛИН: Странный вы человек, товарищ Берия. Как же «Без работы над собой»? И потом разве социалистическое обязательство может быть без пункта: «Работа над собой»? И вот что... Внесите-ка красные маки. Теперь можно.

БЕРИЯ: Слушаюсь, батоно.

*Сталин и Мао Дзе-дун продолжают играть в маджонг. Мао Дзе-дун брызгает себе на руки жидкость из флакона, Сталин закуривает трубку. Берия вносит горшочки с красными маками, расставляет их в комнате.*

БЕРИЯ: *(Спохватился)*. Иосиф Виссарионович, а как же товарищ Председатель, вы думаете он согласен с текстом коммюнике?

СТАЛИН: *(Со смехом, утвердительно)*. Сяо-о-о-о...

З а н а в е с .

*Ю. Кротков*

\*

Жил Диоген в бочке —  
Битник прямой с виду.  
Носил, подвязав шнурочком,  
Латаную хламиду.

Лепешка да кружка воды  
На камушке под рукой,  
И окромя бороды —  
Собственности никакой.

Простите, забыл совершенно:  
Фонарь был у Диогена.

И этот чадящий снаряд  
Таскал Диоген упрямый,  
Что было, на мой взгляд,  
Сущей саморекламой:

Дескать, народ, кумекай,  
Куда это мы прем:  
В поисках человека  
Шествуем с фонарем.

Эх, Диоген, приятель,  
Эх, Диоген, дружок!  
Даром ты время тратил,  
Зря фитили ты жег!

Послушай-ка, Диоген, —  
Выброси свой рентген!  
Зряшным ты занят делом:  
Человек не бывает целым.

Человека на сто черепков  
Время ломает сразу,  
А потом в течение веков  
Собирают его, как вазу.

Начнут собирать с осколка,  
А этих осколков сколько?

Шел я Английским парком,  
Осенью шел я мюнхенской  
И сероглазой баварке  
Прямо в зрачки я плюхнулся.

Когда-нибудь вам придется,  
Искатели черепков,  
Вытаскивать, как из колодца,  
Меня из ее зрачков.

Бессонно сереют лица,  
И без единого проблеска  
Все еще где-то длится  
Ужас ночного обыска,

И все еще под наганом  
Я у стены стою.  
Где? Под каким курганом  
Найдут эту ночь мою?

Какую землечерпалкой  
Разворошат они  
Наброшенные вповалку  
Ночи мои и дни?

И кто-нибудь, интересной  
Находкою изумлен,  
Скажет: смотрите, треснул  
По сердцевине он!

В пазухе темной ямы  
Юность найдут мою.  
Разве я тот же самый  
В баре нью-йоркском пью?

Лихо бокалом звякая,  
Празднично пью при свечах.  
Со мною поэт — гуляка,  
Бабник и весельчак.

Девочка из Боготы  
Смеется за нашим столом,  
И годы идут, как готы  
В снегу за ночным стеклом.

Звезды в бокалы капают,  
Тонут в вине сиреневом —  
И кто-то уже откапывает  
Нас, занесенных временем....

Куда тебе, Диоген,  
С твоею коптилкой зряшной!  
Попробуй, найди мой день  
Вчерашний иль позавчерашний, —

День, что уже прожит  
И отбыл во тьму веков.  
Кто же меня сложит,  
Как вазу из черепков?

\*

*Сергею Голлербаху.*

Я с вами проститься едва ли успею.  
Ракета на старте и близится запуск.  
Меня высылают на Кассиопею,  
В какую-то звездно-туманную зябкость.

Еще я случившимся всем потрясен.  
Себя донимаю вопросом невольным:  
Зачем я отправился на стадион?  
Как я очутился на матче футбольном?

Ракета рванется — и был я таков,  
Меня понесет к фантастическим тысячам.  
Не ждите моих телефонных звонков,  
Не ждите моих телеграмм или писем.

Трагически выбросив руки вперед,  
В толпу нападавших ныряет голкипер.  
Сто тысяч людей на трибунах орет,  
Сто тысяч качается с ревом и хрипом!

Как будто гремит на трибунах хорал,  
И сто Ниагар низвергаются дико...  
И как же случилось, что я не орал,  
Что я не издал ни единого крика?

Умильно глаза к небесам возведя,  
Мне так говорил на прощанье судья:  
Я счастья желаю вам в мире ином.  
Вам нечего делать на шаре земном.

Вокруг меня злобою воздух сожжен,  
Мотаются лица, гримасами пенясь,  
Орут мне — стилияга! Кричат мне — пижон!  
Шипят — тунядец! Вопят — отщепенец!

Уже адвокаты меня не спасут,  
Уже отреклись от меня адвокаты,  
Уже надо мной показательный суд!  
Повсюду собранья, повсюду плакаты,

Я враг человечества! Я не орал,  
Когда человечество дружно орало.  
Меня посадили в тюремный подвал.  
Я ночью на звезды гляжу из подвала.

И вот среди звездной сверкающей пыли  
Уже я лечу небосводом ночным,  
Как будто меня ослепительно вбили  
В ворота вселенной ударом штрафным!

*Иван Елагин*

# ПОХОТЬ

Если вспоминать — вспомним!

Мачеха ушла — кажется, что-то купить (у нас говорили «сварганить»), оставила меня сторожем. Что я — сторож отцу своему! Отец лежал в постели с красивой женщиной, лежал под розовым одеялом и, может быть, рука его или руки и касались чего-нибудь заветного, непозволительного. Я этого знать не мог.

Я стоял у окна и завидовал. Я всегда завидовал. Мачеха красивая — с длинными косами, с голубыми глазами, крутобедрая, озорная. Так ведь мачеха не одна, у отца целый цветник. А обо мне отец говорит: «Зачем я ему давать что-нибудь стану, я свое лучше сам пропью!»

Я у отца в приживальщиках. Закона такого, чтобы сын у отца в приживальщиках был, нет. Так отцу что законы. Да и какие законы в Шанхае! Тем более, что отец в японской жандармерии — оккупация ведь! — свой человек, враз арестует.

Что я — сторож отцу своему!

Отец смеется, иронизирует.

«Вот подрастет парнишка, тебе в обучение отдам».

А женщина в постели томно потягивается и глядит на меня взглядом, от которого не то что мурашки, термиты по спине бегают. Кусучие.

Так вот у нас всегда. Я — мужественный, я — твердый, я на восьмом этаже по карнизу хожу. Внизу выступка и наверху выступка. Иду, гляжу сверху на прохожих, кажутся они мне Божьими коровками. Видят они меня, не видят — мне безразлично. Я больше их, выше, значительнее, мне вся вселенная принадлежит. А залезешь в окно и пахнет на тебя, как из сырой

дыры, похотливость. У нас прекрасный балкон. С балкона видно матовое, шанхайское небо. На небе звезды перламутровыми пуговицами. А им что небо! Напились, нагорланили песен похабных и вот уже каждый свою «даму» в темный угол тянет. А там начинает шуровать похотливыми руками под кофточкой, под юбкой.

«Ах, оставьте, ах, что вы!» — а сама пуговицы на груди расстегивает.

Обстановочка!

Ночью вижу горячие, выматывающие сны. Все эти «дамы», женщины, все они не отцовские, мои. Лезут ко мне под одеяло, шепчут возбуждающие слова. А я не такой. Для меня любовь и ласка, ласка и любовь. Так я думал.

Ползет по стене клоп — пустился в длинное путешествие, в Перу, за сокровищами инков. Далекий путь перед клопом, доберется ли!

Мачеха в коридоре кричит: «К этому паразиту ни одна баба не пойдет, он мальчиков насирует!»

Это обо мне.

Только ночью — ночью, когда все спят (похабничают они днем или вечером), распахивается передо мной необъятная глубина неба. Я рисую небо, вырисовываю каждую звезду. Мне кажется — сестра она мне, а я ей брат. Каждая звезда мне сестра.

Нет, я так не хочу, хочу иначе. Придет такая же вот, с длинными косами, с голубыми глазами и скажет — может быть, всего лишь одно, но какое ласковое слово! И будет матерью, сестрой и любовницей.

Тогда я плачу. Плачу потому, что нужно мыть у отца полы и мачеха ругается: «Паразит, пола как следует вымыть не можешь!»

Плачу потому, что нет мне места на этом их повальном пире. Я и здесь и не здесь как будто. Или они меня не пускают или я сам не хочу.

А им что до моих слез — у них жизнь своя.

\*

Мне делать нечего. Я вырос в исправительном учреждении.

Пороли там на скамейке, под барабан. Пороли без злобы, так — нужно-де, говорят. Нужно было, вот и пороли. Пороли за разбитые стекла, за разорванные штаны и вообще...

А, главное, я никого не знал. Я знал только таких же, поротых. А поротые в жизни не спутники. С ними вместе разве что ревом реветь. А жить нельзя.

Я из исправительного дома убежал. Бедная, голодная мать — кто в ту пору в Шанхае не бедным да не голодным был! — всплеснула руками: «Без ножа зарезал!»

Я не понимал. Откуда мне знать, что иной раз и сам не хочешь, а другому больно!

И тогда я пошел к отцу. «Хочу у тебя жить», сказал я ему.

«У меня... жить...» — удивился он. «Ну, что ж, поживи. Долго, небось, не выживешь».

Я выжил долго. Зима в Шанхае суровая. Идет ветер с Байкала, проходит ветер широкую, китайскую равнину, обнажает ветер спину твою, все члены твои. С ветром мне не в пятнашки играть.

И голодно — все помойки опустели.

А у отца пир. Об отце говорят: «привези его в Сахару, оставь посреди пустыни, у него через неделю миллион будет».

У отца всегда миллион, отец всегда умеет миллион спустить.

Отец меня не порол, отцу до меня вообще дела никакого. «Это кто такой?.. Ах так... сын...»

Этим и обойдется.

\*

Потом они меня напоили. Я думал — умираю. Им было весело. Я поднялся со стула, перед глазами пошли круги — зеленые, желтые и рыжие. Комната покачнулась, стала заваливаться, я стал заваливаться. И женщины с длинными ногами, с голубыми глазами, крутобедрые — других отец не любил — смеялись дребезжащим смехом.

И опять путешествовал клоп в Перу и опять кричала мачеха в коридоре: «С таким психопатом ни одна баба не пойдет!»

Мне было шестнадцать лет, меня никто не любил. Я сам себя не любил.

Я пришел вечером домой. Отца не было. Я не знаю, где был отец. Может быть, он кого-нибудь арестовывал, а может быть, лез к теплой красавице под расписное одеяло. Мачеха была одна. Она сидела у камина и шуровала в нем кочергой. Она смотрела на меня длинным, обидным взглядом, а потом, безо всякого перехода, вдруг спросила:

«Ты хочешь меня иметь?»

Мне стало жутко, у меня снова закружились перед глазами зеленые, желтые и рыжие круги, стало сухо в горле.

«Да» — только и смог выдать я.

«Пойдем!»

Она взяла меня за руку, повела в спальню. Она с бесстыдным спокойствием даже как бы деловито, разделась у меня на глазах.

«Ну, иди же!»

Я задохнулся.

Если вспоминать — вспомним. Что я — сторож отцу своему!

У меня не было никакого опыта, были только горячие сны.

«Держи меня за .....,» сказала мачеха.

Это я помнил очень, очень долго — помню и сейчас...

*Александр Кашин*

## БЕСПЕЧНОСТЬ

Пароходик в море  
Говорит: «Я плаваю».  
С ним поэт не спорит,  
Гонится за славой.

Пароходик душат,  
Топят волны мрачные.  
А поэт на суше  
Рвет оковы брачные.

Пароходик черти  
Заберут без почестей.  
Лишь поэт бессмертен  
В гениальном творчестве.

Жребий слишком строг был,  
Пароходик в тлении.  
Он воскреснуть мог бы  
Вновь в стихотворении.

Но поэт беспечно  
Запил на три годика  
И ему, конечно,  
Не до пароходика.

## ДОХОДЯГА

Эмфизема души  
У меня от стихов.  
Хоть пиши, не пиши  
Все ж не будешь здоров.

Я лечиться готов  
Социальной стряпней,  
Низверженьем основ  
И Вьетнамской войной.

Но вредны облака  
И нельзя ехать в глушь.  
Невозможна пока  
Ампутация душ.

Страшен ночи покров,  
Муза плачет в углу.  
Мир без звуков и снов  
Безнадежен и глух.

Вдохновенья порыв  
Отгоняю я прочь.  
Мне лишь атомный взрыв  
Мог бы как-то помочь.

### СОБА

Соба одна, соба без «ка».  
Какая же она?  
Узка, иль слишком широка  
И в чем отражена?

Кое-кто умеет с нею пить,  
Топя тоску в вине.  
Тут он не прочь поговорить  
С собой наедине.

Собу без толку не тревожь.  
Довольны мы собой,  
А если не довольны, что ж,  
Соба дана судьбой.

Ведь торговать собой — позор,  
Собой гордятся все.  
Соба не вымысел, не вздор  
Во всей ее красе.

Лишь с удивлением большим  
И как бы с похвалой  
Мы, почему-то, говорим:  
Покончил он с собой.

*Глеб Глинка, 1967*

## МАНТУАНСКАЯ НОЧЬ

Причиной по которой меня потянуло из Милана в Мантую, была двадцатая песнь дантова «Ада», где сказано, что город этот основан дочерью прорицателя Тирезия.

Она остановилась со своими слугами и чарами  
И поселилась, и оставила безжизненное тело,  
А затем люди...

Основали город на костях умершей,  
И по той, кто первая избрала место,  
Мантуей назвали его, не вопрошая судьбы.

Истомленному предчувствиями мне захотелось взглянуть на город, при основании которого творили волшебство «над травами и образами».

Мантуя окружена озерами, болотами, защищавшими ее когда то от нашествий. Из окна вагона видно было, как августовское солнце поднимало в воздух миазмы стоячих вод и как даль тускнела в дымке испарений. В этрусские времена тут был свайный город. Здесь всегда дышали гнилью болот.

Отель в котором я остановился, выходил окнами на верхнее озеро. Оловянная гладь с кустами зелени, сошла бы за старинный голландский пейзаж, если бы не яркое солнце и не газелиновые цистерны на том берегу, сверкавшие как алюминиевая посуда. Из-за леса, местами, виднелись фабричные трубы. После Милана, хрипящего под пятой железобетонных прищельцев, приятно было видеть, что Калибан современности загнан здесь в лесное логово и напоминает о себе изредка глухим рычанием.

— Там находится очень важная военная промышленность, — сказала со значительным видом хозяйка отеля, водворявшая меня в мою комнату. Шопотом она прибавила, что хотя это большой секрет, но там работают над изобретением нового вида оружия.

В тот же день я гулял по городу до поздней ночи и к вечеру знал его топографию и его архитектурные дивы. Умилил и растрогал небольшой театр на Пьяцца Кавалотти — старинный петербургский особняк, перенесенный с Мойки или с Васильевского Острова. В Мантуе много петербургского. Местами, чувствуешь себя то возле Конногвардейских казарм, то близь Конюшенной церкви.

Огромное количество парикмахерских. В каждой по два, по три крепких молодых человека в белых халатах, но нет клиентов. В пиццериях, возле пылавших печей — угрюмые мастера, похожие на кавказцев. Они отправляли в печь пиццу с таким видом, будто поджаривали грешников. А поздно вечером, на пустынных улицах — одинокие фигуры, крадущиеся вдоль стен, избегающие освещенных мест.

Когда я вернулся и лег, мне, как забытое родное лицо явился во сне театр с Пьяцца Кавалотти. Но колонны его стали исчезать одна за другой, окна приобрели резкие очертания, а петербургская охра стен сменилась блестящей фольгой. Он начал расти вверх, превратился в двадцатиэтажный металлический шкаф нестерпимой яркости. Я сразу признал в нем одного из марсиан заселяющих нашу планету. И как слабы были мои проклятия перед его прожигающим мозг блеском, которым он меня мучил до утра!

После раннего завтрака в маленькой траттории, пошел в Палаццо-дель-Тэ, прямо в Зал Гигантов. Занимала не живопись, а картина гибнущего мира. Еще дома, когда я рассматривал ее по фотографиям, зародилось подозрение в неоправданности его гибели. Теперь воочию стало ясно, что исполинские колонны и каменные глыбы падали неизвестно от чего. Не от жалкой же молнии в руках Зевса, похожей на клочок горячей кудели колеблемой ветром! Да и сам Зевс — салонный, ложноклассический, годился для интриг, для узурпации, для властвования над изнеженным придворным обществом богов сидевших на облаках, как в театральной ложе, но не ему было сокрушать титанов. Неужели это его мановением рушился мир и погибал народ отца нашего Прометея?

Я ушел не взглянув ни на Зал Психеи, ни на другие залы.

Палаццо-дель-Тэ окружено пустырями. На одном расположился цирк со своими фургонами и клетками; слышно было ржанье дрессированных коней и рычание львов. Возвращаясь к себе, я услышал по радио, чтобы никто не купался в озере и не пил озерной воды. Хозяйка отеля, сорокалетняя блондинка в стиле Пальмы Векхиа поведала по секрету, что запрещение вызвано досадным случаем: — химический завод на том берегу неосторожно спустил в озеро ядовитые кислоты.

Посмотрев в раскрытое окно, я подивился, как мог среди этих болот родиться поэт, подобный Виргилию?

Мне принесли стакан вальполичелло и выпив, я прилеж вздремнуть на кушетку. В каждом городе я пью вино, которое там производится и верю в его связь с духом местности. Мне опять приснился сюрреалистический сон с ослепительно голыми женщинами и черным небом. Проснувшись через час, увидел вдоль озерного берега белые кителя полицейских никого не подпускавших к воде. Солнце стояло над головами, а с водной поверхности, как со дна стакана, от брошенной щепотки чая, поднимался золотистый настой.

После новой прогулки по городу, я отправился к Пьяцца Сорделло — туристическому сердцу Мантуи. По пути зашел в ротонду Сан Лоренцо. Я без ума от этих миниатюрных величественных романских храмов, как Санта Фоска в Торчелло, как часовня Сен Джон в лондонском Тоуэре, Сен Жульен ле Повр в Париже. Сан-Лоренцо — едва ли не лучший из них. Двухэтажная галерея с восхитительными массивными столбами, арками и сводами. Быть христианином стоит для того, чтобы молиться в таком храме. Оттуда я направился в Палаццо Дюкаль. Полицейский на углу весело и элегантно отдал мне честь. У всех попадавшихся навстречу — радостные праздничные лица. Возле древнего дома Бонакольци, сидевшие за столиками встали и приветствовали меня поднятием бокалов.

— Синьор, вы должны выпить за Мантую.

Подошла разносившая вино девушка и все мы, при восклицианиях «За Мантую!» — выпили. Я был в восхищении. Отправившись через площадь ко дворцу и оглянувшись увидел, что еще какого-то иностранца приветствовали так же. С

площади, в расщелине между зданиями виден кусочек озера, подернутый вуалью с отливом цвета одежд Юдифи с картины Джорджоне.

В дворцовом вестибюле тревожной россыпью слов заливалось радио. Взволнованный голос торопил всех у кого есть автомобиль уезжать за город либо другим каким-нибудь способом покидать Мантую.

Но кассир спокойно продавал входные билеты, три девушки бегали взад-вперед, собирая в кучу туристов. Порой, они лихо, по балетному поворачивались на одной ноге и спрашивали: — Вы говорите по-немецки? Вы говорите по-французски? Туристы очарованно улыбались. Мне самому сделалось так хорошо, что я перестал прислушиваться к металлическому голосу.

Когда нас скопом повели вверх по широкой лестнице, мы ощутили себя одной веселой семьей. Незнакомые люди, обняв друг друга за талию и перепрыгивая, как школьники через две ступеньки, болтали без умолку. Разговаривали на разных языках, но понимали друг друга. Почему то громко хохотали, когда нас привели в апартаменты выстроенные для карликов и почему то запели в галерее Пассерино. Потом мы прошлись в чудесном полонезе через зеркальный зал с его великолепным потолком-сводом.

У наших девушек-экскурсоводов оказались глаза кокаинисток, как у мадонн Андреа дель-Сарто. Они протанцовали нам «па де трау» в салоне дельи-Аспиери, перед пышным полотном Рубенса с изображением четы Гонзаго. Всем стало невероятно весело. Мы только мельком видели роспись Мантеньи, проносясь бешеным хороводом через залу Спози. Глянуло в открытые окна Нижнее озеро и оттуда пахло пением. Пели полицейские поставленные стеречь отравленную воду.

Спускались сумерки, когда мы вышли из дворца оргийно-пьяные, готовые каждую телегу принимать за колесницу Вакха и следовать за ней с тимпанами и тирсами. В темневшем небе, над домами и церквами золотилось облако поднявшееся с озера. Такое бывает перед нашествием Атиллы, перед восстанием гладиаторов, перед налетом неприятельской авиации.

Город жаждал набата, сплошных сирен.

Из распахнутых дверей собора повалила толпа стариков и старух, распевавших псалмы на мотивы из «Гейши». Они не шли, а маршировали и танцевали. Впереди — улыбающийся падре.

Домой! Домой!

Этот голос, в тот миг, мог еще брать верх над всеми другими заговорившими во мне голосами. Но когда я вышел на Пьяцца-делле-Эрбе, меня как ночную бабочку потянуло на свет, шедший из раскрытых дверей ротонды Сан Лоренцо. Не успев подумать, я уже протискался внутрь и очутился в центре страстного мольбища. Кирпич стен и сводов пылал от множества свечей. В маленькой алтарной нише кто то читал молитвы, а вся церковь иступленно пела. Над пением взвился, вдруг, петушиный крик: — Не погрешим против плоти!

Залпом грянуло «Амен!» Где то заиграли мексиканский танец и все свечи хлынули на площадь.

Среди криков и ликований загудел громкоговоритель о том, что кислоты попавшие в озеро соединились там с гнилостными элементами дна и породили опасные испарения. Но Мантуей уже овладело безумие. Я сам возрадовался тысячелетним тайнам дна, выходящим наружу. Дух Манто встает и напояет воздух! Как было не поддаться всеобщему веселью? А радио кричало о спасательных поездах посланных из Милана и Вероны. Но голос диктора скоро смолк. Другой, пьяный, весело расхохотавшись, поздравил Мантуанцев с величайшей победой духа, с пробуждением древних чар и богов.

— Возрадуемся безумию!.. Да здравствует сеньор Джулио Романини и его эликсир блаженства!

Имя Джулио Романини, знаменитого химика, повторялось на каждом углу. Пили за его здоровье. Появились женщины одетые с предельной откровенностью. В ярко освещенных парикмахерских, с визгом и хохотом, им делали папуасские прически. Они жмурились, когда парикмахеры целовали их в плечи и в шею.

И вдруг, электричество погасло.

Весь город испустил вопль звериного счастья. Темноте

обрадовались, как покрову греха и недозволенных наслаждений. Ее приветствовали автомобильной катастрофой.

Возле рыбного рынка, с визгом попавшей под колеса собаки, столкнулись две открытых машины. Горланившие пассажиры взлетели навстречу друг другу и сплющиваясь, упали, смешав свою кровь с бензином. Кто то бросил спичку. Возник хоровод, как вокруг костра Ивановой Ночи. Никто не слушал городских властей, приказывавших по радио прекратить автомобильное и автобусное движение. Машины с упоением давили народ и разбивались в экстазе о стены и тумбы.

Вместо погасшего электричества появились факелы, свечи, пучки горящих газет.

Со стороны Корсо Гарибальди поднялось зарево, охватившее пол неба.

Уголком мозга я понимал, что город терпит страшное бедствие, но веселье давило все шопоты рассудка, особенно, когда я зашел в сеть маленьких улочек между Виа Бертини и Виа Корридони. Там плясали на крышах. Женщины с визгом перепрыгивали через улицу. Падали. Разбивались. Мимо меня, как во сне, пробежал страус. Где то кричали про слона. Пронесли вихрем стройные лошади с белыми султанами на головах.

— Цирк! Цирк! — кричала публика.

Медведя, шествовавшего на задних лапах, встретили овациями, но шархнулись от окровавленного льва. Бежали с ревом и с топотом, точно слышали голос Великого Пана.

От Пьяцца Мантенья — шествие битниц с растрепанными волосами. У тощей, высокой, что шла впереди, глаза, как граненый хрусталь, играли отсветами пожара. За нею, с грохотом волокли на веревке бронзового Виргилия.

И та, что закрывает свои груди,  
Которых ты не видишь, распушенными косами,  
И у кого там же все волосатые части,  
Была Манто бродившая по многим землям.

Мне захотелось ближе рассмотреть ее, но у битниц оказались ножи в руках и меня не подпустили.

По каким улицам бродил и танцевал, какие вина пил, ко-

торами меня угощали, каких женщин целовал не знаю. Очутился в вестибюле своего отеля, где меня встретила хозяйка, грозно подбоченясь.

— Посмейте только отрицать, что сеньор Джулио Романини — великий человек! Я его видела, когда еще была в девицах. Его уже тогда отличал сам Дуче.

Я сделал низкий поклон и мы закужились в старинном вальсе. Потом я принял ключ, преклонив колено и поцеловав ей руку. Поднимаясь к себе, видел с верхней площадки, как хозяйка пустилась в бешеный канкан.

Колдовские пары озера неслись в распахнутое окно моей комнаты. Я вдохнул их всей грудью и понял, что можно возрадоваться безумию. Здесь, в тесной комнате бедного отеля свершилось дело моей жизни — я проклял ложь элевзинских таинств, желтых фавнов и нимф и познал истинного бога — сеньора Джулио Романини. Павши на колени, молил о благодати явления. И что то белое зародилось в дали. Ко мне приближалась дочь Тирезия, волшебница Манто, уставившая в пустоту граненые глаза, прозревавшие мою судьбу.

— У меня нет судьбы, — взмолился я, — моя жизнь — из обломков. — Не вопрошай, как не вопрошали мантуанцы, поставившие город на твоих костях!

Она открыла рот и медным, как паровозный гудок, голосом приказала мантуанцам не выходить из домов. Уже прибыли спасательные отряды из Милана в противогазовых масках, а сеньор Джулио Романини нашел нейтрализующее средство против болотных паров.

Разбитый обессиленный проснулся я на полу своей комнаты. Рупор с того берега докрикивал какие то распоряжения. Светило солнце. Полицейских на озере не было. Две большие птицы, похожие на журавлей, взлетели над водой и растяли в алюминиевом воздухе. Сосед американец, войдя, расспрашивал о происшествии ночи. Он сказал, что в полночь хозяйка голая ходила по отелю.

Но когда я через два часа спустился в вестибюль, она величественно восседала за своей конторкой и поспешила твердым тоном поведать, что вчера вечером в Мантуе ничего не

произошло и если мне будут говорить какойнибудь вздор — не верить.

На улицах спокойно. Кое-где вставляли разбитые стекла, закладывали и замазывали выбоины в стенах, подбирали осколки автомобилей. О сотнях человеческих жертв, о вчерашнем безумии никто не упоминал; на вопросы отвечали либо незнанием, либо вовсе молчали. Одного иностранного корреспондента отправили в психиатрическую клинику. Он целую ночь, с полотенцем на бедрах, бегал по улицам и приставал к женщинам, изображая сатира. Но говорили, что все дело в телеграмме, которую он хотел послать в редакцию своей газеты по поводу мантуанских событий. Я отправился на Пьяцца Вирджилиана и издали увидел, что монумент весь в лесах. Десятка два рабочих водворяли Виргилия на его место. Нехотя отвечая на мои вопросы, они сказали, что ночью какие то злоумышленники стащили стацию с постамента.

Я взял билет на поезд и через час был в Вероне.

*Н. Ульянов*

## К Л Е Н Ы

День Святого Луки. И волчицею рыжая осень  
по опушке летит. Но безмолвно ее торжество.  
Вдруг сорвался полет. Кто сомнение в летящую бросил?  
Смято пламя ее, и осыпалось блеклой листвою.

И пожару конец. Не надейся на блеск обновлений.  
Час надломленный сер, и просторов погасли огни.  
В ржавом чаде долин повалился закат на колени.  
Серой нежности цвет нас невидимо соединил.

И пожару конец. Но в ликующем зареве кленов  
столько жадных лучей в предвечерний сливаются свет,  
так сиянье светло, что и в мудрых стихах и в ученых  
перебой, перехват, распылившейся линии след.

Крепкой охры поток, краснобурою сетью повитый,  
смугло-алая ткань, музыкальный ветвей перебор,  
танец пьяных огней это эхо космических ритмов,  
зов, кипенье, порыв, и безумье и боль и отпор.

— И твоя тишина эта ласка, что медлит несмело,  
пусть она обожжет, как дыханье расплавленной тьмы,  
наш союз чистоты и покоя и радости белой,  
наших кленов закат и рассвет нашей нежной зимы.

*Алексис Раннит*

*Перевод Лидии Алексеевой*

# МАРИЯ ДОМБРОВСКАЯ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Есть интересная аналогия между началом литературной карьеры Марии Домбровской и Ивана Тургенева. Сборник рассказов Марии Домбровской «Люди оттуда» (Ludzie stamtad, 1925) принес ей славу большой польской писательницы также как «Записки охотника» Тургенева стали началом его пути как большого русского писателя. Как Тургенев был одним из первых писателей, реалистически описывавшем жизнь дворовых крестьян, так и Домбровская одна из первых в польской литературе описала деревенскую бедноту. Как «Записки охотника» были прежде всего художественным произведением, но часто рассматривались критиками как документ социально-политических взглядов писателя, так и «Люди оттуда» Домбровской, — это произведение искусства, — часто рассматривалось и рассматривается с точки зрения социально-политической. Взгляды Тургенева, несомненно, отразились в «Записках», как и взгляды Домбровской можно легко увидеть в «Людах оттуда», хотя, и Тургенев и Домбровская затронули тему крестьянской жизни не как пропагандисты, а как художники. Социальное звучание их произведений — результат силы и правды реалистического видения описанной ими жизни.

Говоря о художественном методе Тургенева и Домбровской надо, конечно, иметь в виду, что с Тургеневым принято связывать начало реализма, тогда как Домбровская — это, как говорит польский критик Кароль Заводзинский, «реализм модернизированный». Но все-таки в методе Тургенева и Домбровской есть некоторые сходные черты. У них нет идеализации крестьянина и нет ударения на социальных вопросах. Наоборот, — есть сдержанность художественной эпической объективности в изображении деревенской жизни. Их объективизм сознателен и последователен до такой степени, что он привел и Тургенева

и Домбровскую к разным недоразумениям с критикой (и консервативной и радикальной), так как ее представители пытались видеть в произведениях этих писателей только документ политической борьбы.

И Тургенева, и Домбровскую упрекали в том, что их крестьяне иногда «философствуют» так, как если бы они были представителями интеллигенции. Но критики забывали, что рассматривать правду человеческой жизни может не только интеллигент; понимать ее может часто и простой человек, даже глубже, чем образованный. И еще одна аналогия. «Записки охотника» — один из редких сборников рассказов в русской литературе, композиция которых может рассматриваться почти как композиция романа. «Люди оттуда» — еще лучший пример целеустремленной конструкции, ориентирующейся на «большую форму».

## 2

Эпический талант Домбровской вскоре привел ее к этой большой форме. Ее большая тетралогия: «Ночи и дни» (четыре части в шести томах, 1932-1934) — настоящая эпопея, которую неоднократно сравнивали с «Войной и миром» Толстого. Надо, конечно, помнить, что «Война и мир» исторический роман, а «Ночи и дни» — «семейная хроника». Но одновременно можно заметить (что и заметили некоторые критики), что роман Толстого тоже в большой степени жанр семейной хроники, тогда как в «Ночах и днях» есть некоторые черты исторического романа. «Большой кусок истории Польши показан здесь на судьбах нескольких шляхетских семей».<sup>1</sup>

То, что еще поражает у Домбровской, это ее стиль, который напоминает идеал Толстого — стиля натурального, «невидимого», без всяких формалистических экспериментов.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Я. Станюкович, «Проза Марии Домбровской» («Писатели стран народной демократии»), Москва, 1959, стр. 115.

<sup>2</sup> Интересно отметить, что в то время как Домбровская считает Толстого одним из самых великих писателей мира, она полемизирует с некоторыми его взглядами на искусство. Домбровская напоминает, что Толстой в своей статье «Что такое искусство» не признавал настоящим искусством некоторые высоко-художественные произведения только потому, что они не совсем соответствовали его требованию, чтобы искусство всегда было «совестью мира». (См. «О Пане Тадеуше». Введомости Литерацки, № 55, 1935).

В некоторых рассказах Домбровской можно найти сходство и с Чеховым. Судьба человека, пафос негероического героизма, хорошее знание жизни города и деревни — все это есть и у Чехова, и у Домбровской. Но у Домбровской больше оптимизма. У нее очень редки мотивы невозможности людям понять друг друга, чеховский трагикомический симбиоз печального и смешного, так хорошо известный по рассказам «Враги», «Горе», «Неосторожность» и по драматическим произведениям. Домбровская верит в человека и в победу человеческой солидарности даже там, где есть социальные и другие конфликты («Панна Винчевская», «Третья осень»).

Домбровская перевела несколько рассказов Чехова на польский для двухтомного издания «Избранных произведений Чехова» в 1953 г.<sup>3</sup> Говоря о своей работе над этими переводами, Домбровская подчеркивает свое чувство «какой-то связи» между нею и Чеховым. Домбровская не вскрыла этой связи, но и в ее заметках о Чехове и в ее очень интересной статье о Гоголе<sup>4</sup> можно найти ответ на этот вопрос. И у Гоголя, и у Чехова Домбровская отмечает умение давать характеры, которые может быть ничем особенным и не поражают, но которых все-таки нельзя забыть.

Многое в заметках Домбровской о Гоголе и Чехове приложимо и к ее собственному методу. Мастерство в изображении характеров и экономия в фабульной конструкции, характерные для творчества Гоголя и Чехова, это тоже черты произведений Домбровской. Особенно поразительную аналогию представляет ее мастерство и экономия средств в изображении второстепенных характеров: иногда она дает их в нескольких словах, но так, что их никто не забудет. И это связывает ее творчество с творчеством Гоголя и Чехова. Вспомним таких персонажей, как Селифан или Пелагея в «Мертвых душах» Гоголя, Фирс в «Вишневом саду» Чехова и Аркушова в «Ночах и днях» Домбровской.

---

<sup>3</sup> В этом издании рассказы Чехова переведенные Домбровской: «Ванька», «Спать хочется», «Хористка», «Стрелец», «Агафья», «Ведьма», «Бабы», «Душенька», «Попрыгунья», «Палата № 6», «Горе», «Тоска» и «Моя жизнь».

<sup>4</sup> В сборнике *Mysli o sprawach i Ludziach*, 1956.

## 3

Когда Домбровская выступила на польскую литературную сцену, политические и культурные отношения между Польшей и СССР не были очень дружескими. Идеалистический гуманизм Домбровской не попадал под рубрику произведений «писателей-революционеров». Но ее настоящий талант в описании жизни деревенской бедноты в «Людах оттуда» тем не менее глубоко заинтересовал русских писателей и читателей, и сборник этот — вероятно особенно потому, что это было еще до введения социалистического реализма — был издан в Москве в 1928 г. в переводе М. Абакиной. Сборник этот был принят критикой положительно. Более острой критике с точки зрения социалистического реализма он подвергся гораздо позже в Польше в период польского «сталинизма». В послевоенное время Домбровская имела счастье найти и отличных переводчиков, и компетентных критиков в СССР. Особенно надо отметить большую и отличную работу Евы Усиевич, как переводчика «Ночей и дней» (Москва, 1964) и других произведений Домбровской. В Ядвиге Станюкович Домбровская нашла внимательного и объективного критика. Статья Станюкович «Проза Марии Домбровской» в сборнике «Писатели стран народной демократии», пока что является наиболее подробным разбором творчества Домбровской в русской критике.<sup>5</sup>

В 1956 г. Домбровская издала сборник рассказов: «Денница». Один из рассказов: «В деревне свадьба» был издан в Москве в серии «Огонька» в количестве 150.000 экземпляров в переводе Евы Усиевич. Это был период социалистического реализма в Польше, и Домбровская вынуждена была пойти на некоторые уступки в своем реалистическом методе. Но уступки эти минимальны, и нота веры в святость индивидуальных ценностей человеческой жизни раздается у Домбровской ясно и громко во всем сборнике. Может быть, поэтому сборник целиком и не был издан в СССР. Интересно отметить некоторое сходство сборника Домбровской с романом Дудинцева «Не хлебом единым», изданным в Москве почти в то же время. Особенно в одном из рассказов Домбровской («Третья осень») есть по-

---

<sup>5</sup> Станюкович в своей статье: «Мария Домбровская в СССР» в этом сборнике сообщает, что несколько работ о М. Домбровской на соискание кандидатской степени готовятся в Московском Университете.

разительная схожесть с романом Дудинцева.<sup>6</sup> Клеменс Логойский, герой рассказа Домбровской, очень напоминает Лопаткина из «Не хлебом единым». Оба одиночки, сторонящиеся коллектива, оба люди с индивидуалистическим уклоном в понимании социализма. Они сами себя называют «сумасшедшими экстравагантами» и т. п. У них нет постоянного места, «протекции», средств. Но оба, каждый по-своему, пытаются принести пользу обществу, и делают это вне коллектива и даже вопреки коллективу. И в романе Дудинцева, и в рассказе Домбровской звучит убеждение, что у человека есть право на любовь и счастье. Обоих этих героев критика упрекала в «отрыве от коллектива», и оба они дают сходные ответы. У Дудинцева Дроздов бранит Лопаткина за то, что он «является одиночкой» и в своих планах не считается с тем, что «наши новые машины — плод коллективной мысли». — «Хотя я и одиночка, но я не для себя», — отвечает Лопаткин. И Домбровская описывает аналогичный конфликт человека с коллективом. «Вы не с того конца начинаете», — говорит заведующий Логойскому, пытающемуся получить кусок земли под огород, чтобы улучшить качество продуктов. «Быть человеком недостаточно. Надо иметь документы, постоянное место...» Логойский не возражает, соглашаясь со всеми упреками. Но все вокруг знают, что он не для своей пользы пытается получить разрешение обрабатывать свой участок земли.

Надя Дроздова говорит о Лопаткине своему мужу, представителю идеи коллектива: «Лиши его всего, сделай его нищим — он все равно светит людям». О Логойском говорят все, кто его знают: «У вас даже нет собственного огорода, а вы все только и думаете, как бы другим пользу принести».

Конечно, в конце концов Лопаткин у Дудинцева добивается своего, и Клеменс Логойский у Домбровской выигрывает свою борьбу и получает официальную награду. В этом и заключается компромисс писателя. И все же читателю ясно, что и Дудинцев и Домбровская защищают свободу человека жить и работать для себя и для других так, как ему диктуют его собственные сердце и разум. Этому идеалу Домбровская на-

<sup>6</sup> Более подробно эти вопросы рассматриваются в статье автора: "Notes on the Problem of Individual versus Collective in Russian and Polish Literature 1954-1957". *Indiana Slavic Studies*, III.

всегда осталась верна, как верными ему остались и некоторые русские писатели, несмотря на политический контроль литературы партией.

Думая о Марии Домбровской в более общей перспективе, можно повторить, применяя к ее творчеству то, что она сказала о Гоголе: «Николай Гоголь — великий русский народный писатель, который понимал, что корни народного творчества глубоко в языке, искусстве, музыке и жизни народных масс. И потому, что он служил так понятой народной литературе, он стал писателем всемирным».

*Збигнев Фолесвский*

## ТРИ ВОСЬМИСТИШИЯ

### КИСЛИЦА

Снова в бешенстве, о прошлом не жалея, —  
Пьет; вчера написанное рвет;  
В изумительной своей оранжерее  
Мнет цветы и стекла бьет.  
Гибнет стихотворная теплица,  
Улетает цветоводное тепло.  
За окном пустырь. Стоит кислица.  
За окном просторно и светло.

### ДЕННИК

Как крылатый конь в попоне,  
Узник в тесном деннике,  
Я живу уже на склоне,  
Дней прожитых налегке.  
Не грустя и не старея,  
Ты мне шепчешь: я твоя.  
Ты не Муза, ты — Психея,  
Беззаботница моя.

### ПОЛУСОН

Я уже не чувствую тепла  
От кота, мне греющего ноги.  
Все становится стеклянным. Из стекла  
В полусне деревья и дороги.  
Мир становится прозрачным в полусне,  
Призрачной мечтою о покое.  
Хорошо бы умереть во сне,  
Сам не зная, что случилось такое.

*Николай Туроверов*

## ОБ АКРОСТИХЕ

Стихи наплывают по каплям в перстни,  
И россыпь акrostихов гнездится между пор.  
*И. Сельвинский. «Улялаевщина.»*

Авторы, как отечественные, так и зарубежные, трудов исследующих внешние художественные формы стиха, — за крайне редкими исключениями, — игнорируют акrostих. В литературе он неизменно рассматривается, как нежелательный иностранец. Между тем, хотя бы в силу одного того обстоятельства, что возраст акrostиха достаточно почтенен — около трех тысячелетий — он заслуживает, если не особого, то все же какого-то внимания со стороны пишущих о стихе. Надеемся, что дальше нам удастся обосновать наше мнение.

Акrostих — композиция, в которой стоящие на определенных местах буквы, слоги или слова образуют новые слова или фразы. Акrostих преимущественно, но не исключительно, принадлежность стиха; и в прозе ему тоже находится место. В ограниченном смысле, это — стихотворение, в котором начальные буквы, реже — начальные слоги, совсем редко — начальные слова или группы слов следующих одна за другой строк, прочитанные сверху-вниз (снизу-вверх и т. п.), дают имя автора произведения, обращение к кому-нибудь, изречение, цитату откуда-либо и т. д.

Если при построении акrostиха автор воспользуется начальными буквами или слогами или словами следующих одна за другой строф, такой акrostих именуют акrostихом строфическим. Если же в «игре» участвуют не начала, а середины строк стихотворения, то мы имеем дело с мезостихом, когда же игра переносится на концы строк стихотворения — с телестихом.

Случается, начальные буквы строк или строф так подобраны, что дают, в установленном порядке, алфавит данного языка, — в таком случае мы имеем дело с акrostихом алфавитным, необыкновенно большое число образцов которого встре-

чается среди акrostихов, написанных на языках древне-еврейском, латинском, немецком.

Акrostихи — невинный пустячок,  
Капризной Музы маленькая шалость.  
Рецепт их прост: рифм, позвучнее, малость;  
Обычный ямб; цезур на пяточок.  
Смысл!.. ну, на грош хотя бы; на рублёвку  
Терпения (всё дело в нем как раз)...  
И пустячок, как глянешь, вышел ловкий, —  
Хоть волокни на выставку сейчас.

Начальные буквы строк этой шутки, — слово «акrostих», здесь мы имеем дело с акrostихом обыкновенным, чаще всего встречающимся.

Гораздо реже появляется на свет Божий мезостих. Вот образец строго выдержанного мезостиха:

Придирчивы, Мой друг, мезостихи  
Без алгебры Едва ли с ними сладишь.  
Расставь их Звуки, словно на параде,  
С равеннием Отчетливым строки.  
Коль ошибешьСя, даром труд потрачен,  
Тут не спасуТ ни рифмы и ни ямб:  
Канон суров И, как осел, упрямя...  
Когда в ладаХ с ним, ожидай удачи.

Его средние буквы, начиная с буквы «М» первой строки, образуют слово «мезостих».

И совсем редко, а в стихах рифмованных только как исключение, можно увидеть телестих, представление о котором дает следующее стихотворение:

Телестихи... кто дружбе их не вериТ,  
Кто им далек — стократ блаженной тЕ.  
Кто ж потягаться с ними захотеЛ,  
Тот берегись: на первом же барьерЕ,  
Коварствуя, — хитры они, как лиС,  
Как ямб ни быстр, строфу его догоняТ  
И рифмам ноги перебьют... Внемли  
Совету друга — никогда не тронь иХ.

Буквы, оканчивающие его строки — слово «телестих».

Корни акrostиха, склонность к сочинению акrostихов уходят глубоко в древность. Существование акrostиха в лите-

ратуре Вавилона доказано археологами: они нашли акростих-гимн, посвященный богу Нево, тому Нево, о котором у пророка Исаии сказано: «Пал Вил, низвергся Нево». Создан этот прародитель акростиха около 1200 года до Р. Х.

Произведения, содержащие акростихи, найдены у самаритян, сирийцев, арабов. Акростихи алфавитные, — и не как нечто случайное, а как явление закономерное, — присутствуют в некоторых книгах Ветхого Завета: в Псалмах, в Книге Притчей Соломоновых, у пророка Иеремии, у пророка Наума и в апокрифических книгах. Библейский акростих восходит к седьмому веку дохристианской эры.

Религиозные акростихи на древнееврейском языке послебиблейской эпохи, до Средневековья включительно, исчисляются сотнями; имена их авторов известны каждому образованному еврею: Авраам ибн Езра, Калир, Соломон бен Исаак («Раши»). Современники акростишиста-виртуоза Калира говорили, что свои акростихи он создает не иначе, как с помощью ангелов.

Остановимся — вкратце — на акростихах у отдельных народов Европы, Азии, Америки.

Родоначальный реализма в английской литературе, автор «Кентерберийских рассказов» Джеффри Чосер ввел акростих алфавитный в произведение на религиозную тему. Это было во второй половине XIV в.

В 1599 году в Англии же увидели свет «Гимны Астрее, в акростихах», сопровождавшие поэму, трактовавшую бессмертие души, посвященную королеве Елизавете I. Начальные буквы каждого из 26-ти гимнов давали: ЕЛИЗАВЕТА ПРАВИТЕЛЬНИЦА. Автором акростихов был один из замечательных дидактических поэтов, писавших на английском языке — сэр Джон Дэйвис, государственный деятель, спикер ирландского парламента, которого преемник Елизаветы I — Яков I возвел в рыцарское достоинство. Один, нам современный, историк литературы, имея в виду акростихи Дэйвиса, написал: «В этой искусственной форме поэт достиг большой свободы и изящества, и содержание (акростихов) много свежее, более английско и более приближается к песне, чем (сонеты) в большинстве сонетных циклов».

У Бен Джонсона — величайшего, после Шекспира, драматурга Англии — несколько акростихов. Это: акростих, пред-

посланный комедии «Вольпоне или лиса», акrostих, посвященный сестре приятеля в книге эпиграмм и, наконец, акrostих, — его начальные буквы: ТОМАС КОРИАТ, — посвященный путешественнику Т. Корнату, обратившемуся к Бен Джонсону с просьбой рекомендовать читателям его труд — описание своего путешествия. Акrostих завершает отзыв драматурга.

Джордж Герберт — придворный, ученый и известный поэт, живший в начале XVII в., — он окончил жизнь священником, — воспользовался формой акrostиха для одного из своих религиозных стихотворений.

Акrostих, посвященный своему фавориту и дальнему родственнику — герцогу Есмэ Стюарту, написал и опубликовал сын Марии Стюарт — король Шотландии и Англии — Яков VI (Яков I).

Проф. Виллиам Бут опубликовал в 1902 году акrostихи, написанные, как он уверяет, философом и поэтом Фрэнсисом Беконом.

Пользовались акrostихом и в качестве предисловий к книгам. Подобный акrostих-предисловие открывает «Вторую книгу песен и арий» композитора и собирателя песен Джона Даулэнда, вышедшую в свет в 1600 году. Акrostих посвящен знатной покровительнице автора — графине лэди Бэдфорд.

Англичанин Виллиам Смит, поэт XVI в., оставил образец телестиха: слова, стоящие на концах строк его стихотворения, составляют, в свою очередь, небольшое стихотворение.

В царствование Елизаветы I акrostих расцвел особенно пышно. Английские поэты елизаветинской эпохи любили писать акrostихи. Сочинялись акrostихи по всяким поводам: приветственные, поздравительные, любовные и... отправившимся в лучший мир: лондонская «Хроника» того времени, описывая погребение секретаря и канцлера королевы, приводит тут же и акrostих на имя погребаемого.

В конце-концов акrostих, почувствовав себя привилегированной персоной, перешел все допустимые границы. Поэты начали пользоваться им неводержанно, с какой-то непостижимой расточительностью, доходя иногда до нелепости. Вполне естественно было ожидать, что последует реакция на чрезмерное приращение елизаветинских поэтов к акrostиху и злоупотребление им. Так и случилось, репутация английского акrostиха резко упала. Джон Драйден, нападая на своего про-

тивника — неудачного драматурга, обронил совет последнему бросить писание пьес и заняться управлением —

«Провинцией спокойною в стране Акrostиха»,  
где позволено безнаказанно «слово бедное терзать на тысячу манер».

Спустя сто лет сатирик Ричард Оуэн Кембридж в поэме «Скриблериада» повторит нападки на чрезмерное увлечение акrostихом, поместив, кстати, в сатире любопытный акrostих, сочиненный одним из персонажей сатиры — Акrostихом (с большой буквы). Невзирая на нападки, отчасти справедливые, английский акrostих продолжал жить. В XVIII в. им дважды воспользовался Томас Чаттертон и к нему же неоднократно прибегал критик и беллетрист Чарлз Лэмб. Большим любителем и мастером акrostиха и мезостиха был профессор математики и логики и автор широко известных «Приключений Алисы в Стране Чудес» — Люис Кэрролл. Он оставил свыше двадцати акrostихов и мезостихов, написанных для его маленьких приятельниц и приятелей, в том числе несколько для той шестилетней Алисы, дочери декана Оксфордского собора, которая вдохновила его на «Приключения», доставившие ему мировую славу.

Акrostихи алфавитные сравнительно часто встречаются у английских поэтов XIX в.

В наши дни выпустил «Книгу акrostихов» (1924 г.) католический прелат, ученый, писатель и поэт, духовник папы Пия XII — Рональд Нокс. Среди его акrostихов любопытен акrostих, предваряющий одну из его книг: его начальные буквы — ПОСВЯЩЕНИЕ.

Из армянских акrostихистов назовем покончившего с собою в тюрьме, в 1937 году, поэта Егише Чаренца. Вторые от начала буквы его стихотворения «Послание» дают фразу: О, АРМЯНСКИЙ НАРОД, ТВОЕ ЕДИНСТВЕННОЕ СПАСЕНИЕ В СИЛЕ ТВОЕГО ЕДИНЕНИЯ.

У венгров к форме акrostиха обращались — поэт конца XVI в. Баласси и, позже, Виллонал.

Греческий акrostих очень стар. Большой известностью пользуется акrostих Эритрейской сивиллы, — его начальные буквы, — ИИСУС ХРИСТОС, СЫН БОЖИЙ СПАСИТЕЛЬ. При помощи этого акrostиха сивилла якобы предсказала появление Христа. Акrostих этот существует в переводе, с сохранением

акростиха, на латинский язык. ●тец церкви — св. Августин привел его в одном из своих трудов. Время создания этого акростиха некогда вызвало ожесточенные споры.

В VI в. принял акростих и блестяще овладел им замечательный византийский поэт, автор церковных песнопений — Роман Сладкопевец. Выходец из Сирии, он был клириком одной из церквей в Константинополе. В церковной литературе его гимны, — в числе их содержащие акростихи, — являются наиболее совершенными образцами этого жанра.

В VIII в. неоднократно и с успехом пользовался акростихом, в своих написанных стихами произведениях, один из знаменитейших отцов Восточной церкви — Иоанн Дамаскин. ●бычные в его канонах акростихи образуют двустипшия, выражающие основную мысль произведения. Присутствие акростихов не помешало сочинениям Иоанна Дамаскина быть образцами подлинной поэзии, проникнутой неподдельным чувством.

Друг Иоанна Дамаскина, молочный брат его, Космас Иерусалимский, считающийся, наравне с Дамаскиным, основателем греческой духовной поэзии, также не пренебрег искусственной формой акростиха. Многие из гимнов, им написанных, акростихи. Среди таких акростихов-гимнов: песнопения на Рождество Христово, Воздвижение Креста Господня и на другие праздники. Трудная и неблагодарная форма акростиха не помешала и этим произведениям большого поэта достичь небывалой высоты.

Испанец-драматург XVI в. Фернандо де-Рохас, автор романа в диалогах «Целестина», о котором с большой похвалой отозвался Сервантес, выпустил свое детище в свет без упоминания, из соображений безопасности, в заглавии своего имени. Современники де-Рохаса приписывали авторство «Целестины» крещеному еврею Родриго де-Котта. Но последующему изданию своей вещи драматург предпослал письмо «Автор своему другу», — это письмо завершал акростих, который раскрывал посвященным в его тайну, что никто иной как Фернандо де-Рохас автор «Целестины».

Автор «Сообщений об испанских писателях и поэтах еврейского племени» и «Всеобщей еврейской истории», вышедшей в Амстердаме — Даниэль Леви де-Баррьос иногда пользовался акростихом. Среди его акростихов назовем «Надгроб-

ный акrostих, в котором говорит мой труп». От преследования инквизиции поэт спасся бегством из Испании. Его перу принадлежат славословия, посвященные евреям, задушенным или заживо сожженным инквизиторами.

К акrostиху прибегали в Испании и представители католического духовенства. Один историк испанской литературы жалуется, например, что священник в свите брата короля, человек остроумный и с богатой фантазией расточал свою изобретательность на акrostихи.

Образец акrostиха-гиганта дал Джованни Бокаччо. Его акrostих «Любовное видение», произведение, в котором особенно проявилась близость Бокаччо к Данте, написанное в 1342 году, состоит из 50 терцин (всего 4406 строк). Начальные буквы первых строк всех трехстиший, входящих в терцины, и начальные же буквы всех заключающих терцины строк — иными словами: буквы, определяющие «Любовное видение» как акrostих, образуют три самостоятельных стихотворения, именно: акrostих-сонет с кодою (он, в свой черед содержит акrostих — имя: МАРИЯ), сонет с кодою и сонет с двойной кодою.

Акrostих-монстр «Любовное видение» написан Бокаччо для красавицы Марии д'Аквино (Фиамметты), дочери неаполитанского короля.

Итальянский поэт XVI в. Теофило Фоленго, — успешно культивировал макаронический жанр в поэзии, — свою поэму «Хаос» обильно снабдил акrostихами, мезостихами и телестихами, иногда нарочно усложненными путем слияния их с такими трудными, в свою очередь, внешними художественными формами стиха, как сложная секстина, сонет, октава. Кстати, поэма «Хаос» оказала влияние на Раблэ. В другие свои произведения — героико-комическую поэму «Бальдус» и в пародию на Вергилия «Занитонеллу» Фоленго ввел акrostихи алфавитные, опять таки усложненные, далекие от шаблона (каждой букве отданы начала 4-х — подряд — строк и другие трюки).

Литургические песнопения коптской христианской церкви содержат акrostихи. Не менее благосклонны к акrostиху немцы. Ввел — в IX в. — в свое произведение, известное как «Сводное Евангелие» (или «Евангелие Отфрида»), повествующее о жизни Христа, несколько обширных акrostихов и телестихов и монах Отфрид из Вейсенберга. Его акrostихи и

телестихи называют тех, кому книга посвящена или тех, кого автор хочет особо почтить и, наконец, имя самого автора. Отфрид — теолог и поэт. «Сводное Евангелие» написано старогерманским литературным языком. В этом произведении стоит отметить то, что впервые в истории германской поэзии употреблены конечные рифмы.

Среди немецких акростишистов XIII в. назовем — Конрада фон Хеймесфурта и Генриха фон Тюрлина, автора рифмованного рыцарского романа «Корона». Неоднократно обращался к акростиху и прекрасно владел им историк и поэт Иоганн Роте, живший в конце XIV в. и в начале XV в. На пороге XV в. богемский гуманист Иоганнес фон Тепл, — его иногда именуют, — Иоганнес из Сааца, — включил акростих на свое имя в написанное прозой произведение «Землепашец из Богемии». Дружба с акростихом была в обычае мейстерзингеров. Знаменитый Ганс Сакс не исключение.

В то же, примерно, время видный лютеранский теолог и поэт создал песнопение, обессмертившее его имя, — и песнопение это включает акростих. Этим стихотворением, которое поныне в обиходе евангелической церкви, Филипп Николаи доказал бесповоротно, что настоящий мастер стиха, подчинившись добровольно безжалостному канону акростиха, одновременно подчиняет его себе полностью. Вдохновение в соединении с мастерством побеждают канон.

Подобно Николаи, в XVII в. Павел Герхардт создал гимн-акростих, включенный в сборники песнопений лютеранской церкви. Фонтане назвал этот акростих «величайшей немецкой песней утешения».

Прекрасные любовные акростихи, — каждый из них — образец высокого мастерства, — написал Павел Флеминг, известный и тем, что в 1634 году он посетил Москву с посольством Олеариуса.

Иоганн Кристиан Гюнтер, поэт, умерший 28-ми лет в 1723 году создал много блестящих акростихов. Гюнтера высоко ценили — в Германии — Гёте, в России — Тредиаковский и Ломоносов, подражавший ему в некоторых одах и студенческих песнях.

Двенадцать акростихов — образцов содружества высокой техники с большим чувством — дал австриец Иосиф Вейнхенбер, в стихах которого преобладают темы любви, одиночества,

меланхолии, смерти. Одобрив фашистский режим, поэт, после поражения этого режима, покончил в 1945 году, самоубийством.

В Португалии крещеный еврей Антонио Жозе да Сильва, автор комедий и сонетов, будучи лишен возможности подписывать свое имя под своими сочинениями, — его преследовала инквизиция, — скрыл его в акrostихах-децимах (десятистишиях). Акrostих, как показало время, оправдал доверие поэта, спас его имя от забвения.

Расцвет акrostиха во Франции приходится на XIII-XVI вв., когда его представляли — король менестрелей Адэнэ, такие «аристократы пера» как Франсуа Вийон, любивший вводить акrostих в свои баллады, Клеман Маро и, наконец, изобретатель акrostиха-сонета де-Поэту.

Сокровищница латинского акrostиха может гордиться своим необыкновенным богатством. Латинский язык не напрасно на протяжении многих веков господствовал в Европе, — его вклад в европейскую культуру велик, и одно из явлений этой многообразной культуры, — акrostих.

Перечислить здесь писавших латинские акrostихи невозможно, слишком велик их список. Начиная с выдающегося поэта Рима — Энния (239-170 до Р. Х.), акrostих прочно вошел в обиход литературы на латинском языке. Спустя два века после смерти современника Энния — Плавта всем его комедиям были предпосланы акrostихи, начальные буквы которых или имена действующих лиц или названия пьес.

В латинском изложении «Илиады» Гомера, сделанном при Нероне, акrostих указывает: ИТАЛИК НАПИСАЛ.

В III в. по Р. Х. некий Коммодиан написал трактат «Наставления против языческих богов», состоящий исключительно из акrostихов, — всего в труде Коммодиана 80 акrostихов: акrostихи обыкновенные, акrostихи алфавитные, акrostихи «перевернутые» (читаемые снизу-вверх).

Поль Верлен в уста римлянина IV в. вложил стих:

«Я стилем золотым слагаю акrostих».  
(Перев. И. Анненского).

Одним из таких римлян был Публий Опатиан Порфирий, автор книги панегириков императору Константину I (Великому); от первой до последней строки это — комбинации акро-

стихов, мезостихов, телестихов. Валерий Брюсов говорил о его работе: «Конечно, это фокусничество, но какая же должна быть техника стиха, чтобы так играть!..» Этому же Порфирию и его удивительным экспериментам Д. С. Мережковский отвел страницу в романе «Смерть богов. Юлиан Отступник».

В IX в., подобно Порфирию и с не меньшим мастерством, владел акростихом архиепископ Майнца Рабанус Маурус.

При Людовике XII герб Парижа украшал латинский акростих, оповещавший о достоинствах города, его — акростиха — начальные буквы давали: ПАРИЖ. Завершала этот акростих строка на французском языке: “C’est Paris entier”.

Анонимная сатира XIII в. на папу Иннокентия IV и императора Фридриха II Гогенштауфена, содержавшая, между прочим, пожелание императору поскорее отправиться на тот свет, включала акростихи на имена папы и императора.

В Венеции в 1499 году, вышла из-под печатного станка «Гипнеротомахия Полифило», учителя риторики монаха Франциска Колонна. Она интересна тайным акростихом, в ней заключенным. Начальные буквы 38-ми глав этого прозаического произведения образуют фразу: ПОЛИЮ БРАТ ФРАНЦИСК КОЛОННА ОБОЖАЕТ. Акростих помог монаху и почтить любезную его сердцу Полию и обмануть духовную цензуру.

Чтобы больше не задерживаться на латинском акростихе, скажем лишь, что пользовались им на протяжении многих веков широко: акростихи называли имена авторов или имена тех, кому стихотворения (песни, гимны) посвящались (в том числе имена Христа, Богородицы, апостолов, святых, королей и т. д.); начальные буквы акростихов скрывали молитвы (Отче наш, Ave Maria и т. п.); акростихи алфавитные были в особенном фаворе.

Диапазон тем, затронутых акростихом, велик: от обращения к возлюбленной до плача по погибшем в битве включительно. Акростих можно встретить неожиданно и в тексте богослужения и на надгробной плите христианина.

Случается, — впрочем, не так часто, — что в тексте самого стихотворения или же в сделанном к нему примечании обращается внимание на скрытый в нем акростих. Иногда для той же цели выделяют каким-либо способом буквы акростиха (особая окраска, крупный шрифт и т. п.).

Грешили, если так позволено выразиться, акростихом лю-

ди самых разнообразных общественных положений. Среди акростишистов — и папа Дамазий, и архиепископы (среди них: Альфани Салернский, Патрик Адамсон из Шотландии), и епископы (Евгений III Толедский, Иоганнес Милети — епископ Суассона, Ансбертус — епископ Руана), и знаменитейший отец церкви Августин (Аврелий), и святые (св. Альдхельм, св. Аббо), и погибший на костре Ян Гус, и аббаты монастырей и священники (аббат Гвидо Аретино, названный «отцом музыки», аббат Ульрих Штеклин фон Роттах, мастер акростиха, посвятивший ему много времени и труда, Дунгал — ирландец, священник и ученый), и — нет числа им — монахи, бесчисленные акростихи которых часто не сохранили имен их авторов.

Акростихом пользовались поэты старого Сиам.

Акростих знает китайская поэзия.

С интересной комбинацией акростиха и мезостиха нас любезно познакомил литовский поэт, ныне эмигрант — Хенрикас Радаускас.

Акростих Соединенных Штатов молод, как и сами Штаты.

Шестнадцатилетний Георг Вашингтон, будущий президент, сочинил акростих на имя девушки, которая, очевидно, заставляла сердце его биться сильнее, — девушка эта — Францес Александр. Ей же Вашингтон посвятил и свой «Сонет», ничего общего с этой формой не имеющий.

Нельзя пройти мимо нескольких «исторических» акростихов, написанных в дни борьбы за свободу. В 1769 г. в Бостоне молодежь, протестуя против действий английской администрации, публично сожгла чучело местного проанглийски настроенного книгопродавца Джона Мэйн вместе с транспарантом, на котором был акростих с начальными буквами: ДЖОН МЭЙН. Содержание стихотворения соответствовало событию.

После измены и перехода на сторону врагов-англичан Бенедикта Арнольда, «выдающегося боевого генерала революции», — так отозвался о нем Георг Вашингтон, — двоюродный брат изменника Оливер Арнольд, живший в Нью Хэйвене (шт. Коннектикут), посвятил этому поступку стихотворение, начальные буквы акростиха давали имя предателя.

В годы борьбы за свободу в Нью Виндзоре жила одна из самых маленьких женщин Америки: ее рост не превышал трех футов. Анна Бревстер, так ее звали, отличалась жизнерадостностью, добротой. Городок, где она обитала, ею гордился. Об-

стоятельства привели главную квартиру генерала Георга Вашингтона в Нью Виндзор. Жена генерала — Марта Вашингтон познакомилась с Анной, была ею очарована, пригласила ее к себе в гости. Анна отклонила честь посетить Вашингтонов, опасаясь, что приглашение последовало исключительно из-за ее «курьезности», — это было ее больным местом.

Когда Анне было, примерно, 25 лет, местный поэт, очарованный ею, написал на нее акrostих, — его буквы: АННА БРЕВСТЕР. Оставшись девой, женщина отклонившая знакомство с Вашингтоном, умерла 75-ти лет.

Акrostихом несколько раз воспользовался Эдгар Аллан По. Среди его акrostихов — стихотворения, посвященные американским поэтессам — Францес Саргент Осгуд и Сарре Анне Луис.

Во второй половине XIX в. королем акrostихов-буриме считался некий Богарт, уроженец Албани. На заданные рифмы он писал заданный же акrostих.

В Нью-Йорке, в 1871 году, вышли «Оригинальные акrostихи к некоторым штатам и президентам Соединенных Штатов и на разные другие темы, религиозные, политические, личные». Автор книги — Роберт Блекуэлл.

В Бостоне, в 1897 году, Баллард, автор «Приключений библиотекаря» выдал труд «Вторично открытый Сезам», содержащий решения шарад, опубликованных перед тем неким Беллами. Решения этих шарад Баллард опять-таки дал в форме шарад, но это были шарады-акrostихи, их начальные буквы давали решения. А за несколько лет до этого в Нью-Йорке появилась книга «Оригинальные альбомные стихи и акrostихи». Автор скрылся под псевдонимом «Дик». Акrostихи Дика, — всего 218, — были исключительно на женские имена.

Из соблазненных акrostихом еще назовем: поэта Роберта Ундервуда Джонсона, — он был пожизненно секретарем американской Академии Искусств, — автора нескольких акrostихов, среди которых есть и акrostихи-сонеты. Джонсон — автор с большой теплотой написанного сонета «Шаляпину (увидев его Борисом и Мефистофилем)», он неоднократно откликнулся на события в России: известны его стихи, связанные с «Кровавым воскресением» 1905 года, стихи приветствующие Февральскую революцию (их поэт посвятил «бабушке русской революции» — Ек. Брешко-Брешковской) и, наконец,

сонет, тема которого подрывная деятельность агентов Третьего интернационала.

Акrostих есть у плодовитого издателя, журналиста, драматурга, поэта Натаниеля Паркер Виллиса.

Автор юмористических стихов — наш современник Огден Нэш темой для акrostиха алфавитного взял футбол.

В 1964 году Людвиг Журавич поместил в русской нью-йоркской газете акrostих в честь первой русской женщины-космонавта. Начальные буквы этого стихотворения: ЧЕсть И СЛАВА ПЕРВОЙ ЖЕНЩИНЕ В ПРОСТРАНСТВЕ — ВАЛЕНТИНЕ ТЕРЕШКОВОЙ, — акrostих на английском языке.

Однажды акrostиху пришлось выступить в суде, как свидетелю. О том рассказал в «Отшельнице с Херальд Сквера» американский судья Джозеф А. Кокс.

В Соединенных Штатах акrostихом, случается, пользуются для рекламы, в избирательной кампании, на поздравительных карточках.

Не обошли акrostиха и славяне. На нескольких примерах покажем это.

У болгар связали себя с этой формой в XVI в. поэты из Дубровника, а ближе к нашим дням — один из виднейших поэтов страны, после освобождения Болгарии от турецкого ига занимавший пост министра — Петко Рачов Славейков. Писал акrostихи и болгарский пролетарский поэт — Христо Смирненски, умерший в 1923 году.

Среди польских акrostихов небезинтересен акrostих Яна Жапчица, — начальные буквы его стихотворения в честь Дмитрия Самозванца дают имя его и перечисляют его царские титулы. Тадеуш Холлендер, поэт, рано погибший в Варшаве от рук гестаповцев — автор акrostиха алфавитного. Породнился с акrostихом и Юлиан Тувим, «Польские цветы» которого сияют особенной изощренностью и красочностью польской речи.

Первое место среди словенских акrostихистов принадлежит поэту Францу Прешерну (1800-1849), романтику, основоположнику современного словенского языка, пользовавшемуся акrostихом не раз. Он единственный ввел акrostих в такую — необычайно трудную — внешнюю художественную форму, как венок сонетов. Этот «венок» переведен на русский язык, без сохранения акrostиха — Ф. Е. Коршем. Писал Пре-

шерн и на немецком языке, — на этом языке он создал акростих-сонет, ядовитые строки по адресу своих придиричивых цензоров.

Украинский акростих обязан многим творцам религиозных песен, собранных в неоднократно издававшемся «Богогласнике». Акростих: УКРАІНА есть у крупного украинского поэта Володимира Самійленко.

От акростихов славян южных и западных рукой подать до акростиха русского. О нем — в следующей статье.

*Геннадий Панин*

Примечание: Помещенные в начале статьи три примера акростиха, мезостиха и телестиха — принадлежат автору статьи.

## А К Р О С Т И Х И

### СЛОВАРЬ ЛЮБВИ

Любовь свой собственный словарь имеет:  
Юнона обратила в звуки слов  
Былинок шелест, трепет облаков, —  
Ей луч помог осуществить затею.  
Заглядываю в тот словарь и я,  
Не стань его, и песня не звучала-б.  
А те из слов, что ласковой фиалок,  
Я берегу, голубка, для тебя.

### ПОЭТУ ЭСТОНИИ

*«Вознесший пламя ледяное формы»  
А. Р а н н и т*

А почему б и нам не стать друзьями, —  
Люб Вам и мне прозрачных звуков ритм.  
Единое, подарок Музы, пламя,  
Как отсвет льда, в нас сызмальства горит.  
Священны для меня друиды Э'сти  
И Ванемуйне — светлых песен бог;  
Свет в дом вошел бы, если Ваша песня  
Решила б мой переступить порог.  
А в знак любви шлю русских рифм пучок...  
Нас никогда и никаким преградам  
Не разделить: границ для Слова нет!  
И Вас от всей души стихами рад я  
Торжественно приветствовать, Поэт.

*Геннадий Панин*

# ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО У ДОСТОЕВСКОГО

Посвящая «Новому Журналу» и его Редакции.

Р. П.

Проблема Времени и Пространства теперь захватила точные науки, философию и литературоведение. Обыватель знает, что «Время есть деньги», что «Упущенное время смерти невозвратной подобно бывает», а «все взятое взаем можно вернуть, кроме Времени». Космическое пространство, релятивность Времени-Пространства, ускорение движений машин, счет уже не секундами, а тысячными, десятитысячными долями секунды входит в физические приборы. Мы знаем, что маятник на Солнце будет качаться медленнее, чем на нашей планете, что при разных скоростях движения двух систем Время в каждой будет иное. Понятие о равно и непрерывно текущем времени Ньютона исчезло и в физике, и в астрономии, и в философии.

Историки литературы анализируют особенности Времени у разных писателей и поэтов и задают себе вопрос: —

Связана ли проблема Времени с отношением того, что меняется по отношению к неизменному? (Дж. Пристли «Человек и время»). Прав ли Анри Бергсон, что хронологическое время **нереально**, а существует лишь продолжительность или психологическое Время? Это Время нами воспринимается, как течение и творчество. Но тогда Время Бергсона не имеет отношения к Пространству, а Г. Минковский давно сказал:

“Von stand an sollen Raum für sich und Zeit für sich völlig zu Schatten herabsinken und nur noch eine Art Union der beiden soll Selbständigkeit bewahren”.

Значит, действительно существует только соединение: Время — Пространство.

Чуткие писатели, как М. Пруст, Дж. Пристли,<sup>1</sup> М. Линдберг и др. просто зачарованы проблемой форм Времени. Вот, как

---

<sup>1</sup> Джон Пристли различает три формы Времени: хронологическое, контемплятивно-спокойное и Время творческого воображения.

писала в 1966 г. Морроу Линдберг о своих чувствах: «За мною гонится призрак Времени в Африке; Время как история, и Время как ритм. Словно волокна разного вида. Времена постоянно сплетаются и расплетаются в ходе путешествия: Время слонов и время импалы, Время европейца и Время африканца...» А математик и философ Дж. Беннет различает три Времени: 1) время суксесивное — «до», «после»; 2) время вечное и 3) время *huparxis* — время возможностей, время **свободы суждения**, время неизмеримое, волевое. Этим Временем обладает человеческая духовность.

В литературоведении часто теперь тоже отличают в повествовательной манере больших писателей три типа времени: а) ритма жизни, напр., у Льва Толстого,<sup>2</sup> б) ускорения и внезапных остановок — Ч. Диккенс, Ф. Достоевский, в) замедление тока времени или анализ бесконечно малого в воспоминании — Л. Стэрн, М. Пруст. Но из всех известных мне писателей разных эпох и народов, Время у Достоевского кажется мне особенно важным и несравненным. Оно, это время, не только последовательность явлений, не период когда совершается некое событие и не историческое время “the form of a concrete historic occurrence, i. e. “time of destiny” — *Schicksalzeit*”.<sup>3</sup> И это Время у Достоевского существует, но есть и Время мистическое, и исчезновение Времени, упразднение его.

Почему же из всех русских, да и мировых писателей нового времени, Достоевский столь особенен? Почему его Время отличается сверхлогичностью личного и сверхличного элемента? Отчего Время в ходе всех его больших романов и даже некоторых рассказов, необычайно, если углубиться в ход действия, в сны и диалектику его трехпланного мира четырех и даже пяти измерений? Время то обманно, как у Парменида, и есть лишь вечно-настоящее, а прочее — иллюзия. То это Время близко ко Времени Платона и есть «движущийся Образ

---

<sup>2</sup> Несколько иную точку зрения на Время в «Войне и мире» высказал Ю. Бирман. «Русская литература», 1966, стр. 125 сл. В этом Ленинградском издании затронут вопрос о так называемом «открытом Времени». Прошлое и Будущее имеют равные права и обладают цикличностью и индивидуальны.

<sup>3</sup> См. R. Klibansky: *The Philosophic Character of History*. В Сборнике в честь Эрнста Кассирера. (Festschrift. 1963. pp. 325, 330-336).

Вечности», то оно «есть число движения», как у Аристотеля и релятивно для двух движущихся разнo систем; или оно исчезает не только потому, что нет души, духа, его измеряющего, а и потому, что «Времени больше не будет» (Апокалипсис). И все еще я не кончил перечисление аспектов Времени у Достоевского.<sup>4</sup> Объективные черты жизни и индивидуальности писателя и создали богатство видов Времени: 1) Достоевский — психолог, учитель Фрейда и Адлера, Барта и Турнейзена, Келлермана и А. Жида, 2) эпилепсия дающая на момент совершенно особое восприятие Времени и Пространства. Эта особенность им описана и в романе «Идиот» и о чувстве обретения Бога он же рассказал С. Ковалевской. Эпилептик Магомет и его Коран упомянуты Достоевским более одиннадцати раз в художественных произведениях. Горянчиков, Раскольников, кн. Мышкин не раз цитируют Коран, 3) Достоевский пророчествовал, предвидел исключительно многое. Время предсказаний, есть вхождение в Будущее, 4) по образованию Достоевский — инженер, знавший математику и книгоочец, вечно и жадно читавший с необычайной страстностью в разных областях современного ему знания. И удивительнее всего это постоянное отталкивание его от модного в 1860-1880 гг. европейско-русского позитивизма в философии.

Время в литературном произведении можно в основном рассматривать с десяти точек зрения: 1) календарное время (дни, месяцы, сезоны, года, столетия и т. п.), 2) Время суксесивности действий, слов, событий. (Сперва сказал «нет», а потом зевнул), 3) Время по отношению к некоему событию (через семь дней после его смерти, она уехала). 4) с точки зрения индивидуальной психологии героя («довольно долго», «порядочно протекло времени» и т. д.). 5) Описание формы события, феномена («совсем внезапно», «быстро, как молния»), 6) Время возможности («Если вы не прервете меня, я буду продолжать»), 7) Время постоянства (никогда, всегда, вечно).

Мне уже давно довелось и говорить и писать, что у Достоевского, не без влияния некоторых Отцов Церкви, образо-

<sup>4</sup> Отношение к Канту и восприятию мира в формах Времени — Пространства см. Я. Е. Голосовкер: «Достоевский и Кант». М. 1963. Голосовкер, однако, упустил из виду, что Достоевский *еще в молодости* в художественных произведениях поминает Канта.

вались понятия о двух Вечностях; одна — в мире материальном, а другая — в Боге. Стоя на коленях перед ложем мертвой жены своей (Марии Димитриевны) Достоевский записывает в блокнот: «...Увижусь ли с Машей?» И далее о том, что такое Время. «Время есть отношение бытия к небытию». Замечание исключительной силы и глубины. В момент смерти, после кончины близкого человека, взор духовного порядка уходит вперед — «увидюсь ли с Машей?» И отталкиваясь от всех «преград» Будущего, обращается вспять, ловит Время и дает его определение в материальном и духовном мирах, 8) Время исторического события в связи с Провидением: (Рождение Христа, Страсти Христовы), 9) Время истинного или воображаемого вечного возврата.<sup>5</sup> О нем говорится у Достоевского, напр., в «Сне смешного человека», в «Братьях Карамазовых» и др., но эта идея чувствуется писателем, как вполне противоречащая христианству, 10) Время любви, Вечность в обителях Бога. Вечность радости созерцания Христа. Особенно ярко сказал об этом писатель в сне Алеши Карамазова и видении пира в Кане Галилейской, после смерти старца Зосимы. Но и эта Вечность связана со свободой воли человека. Есть два исключительно важных замечания писателя о загробной жизни. Одно — конца шестидесятых годов и говорит о смерти мужа любимой его сестры. Достоевский обращает внимание сестры, что семья Иванова не «заражена атеизмом»; он призывает быть лучшими, верить, любить друг друга и умершего, ибо «лучшее добывается лучшим», и тогда можно получить жизнь в горнем мире и быть ее достойным, а «не смерти в мирах низших». В разговоре Ивана Карамазова с Алешей о Великом Инквизиторе читаем поразительные слова. Инквизитор говорит, что он и его католики-священники хранят тайну, что они приняли на себя проклятие познания добра и зла. И малые, слабые люди, **отдавшие им в руки свою свободу**, потеряли с ней и бессмертие: «Тихо умрут они, тихо угаснут во имя Твое и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет...» Человек может лишиться Вечности, потеряв свою духовную свободу!

<sup>5</sup> Идея греческой мифологии и мифов разных народов. Эту идею высказывал и Ф. Ницше. Об идее вечного возврата см. знаменитую книгу Eia Mercea: «Le Mythe de l'éternel retour». Paris, 1949 и J. Priestley: «L'homme et le temps», 1966.

Теперь же, весьма суммарно, представлю те аспекты времени какие особенно интересны в творчестве Достоевского. Замечу вперед, что в основном его отношение к проблеме Время-Пространство мало изменялось с годами жизни. Главное это романтически-пророческое соединение Времени и Пространства, преобразование тока Времени, движение в Прошлое и Будущее. Человек не только подчинен Времени, но он им и обладает; он может быть и сверх времени и управлять Временем. В «Хозяйке» Ордын в полубреду вспоминает все прочитанное, все пережитое и «все одушевлялось, все складывалось, воплощалось, вставало перед ним в колоссальных формах и образах... видел, как раскидывались перед ним волшебные, роскошные сады, как слагались и разрушались в глазах его целые города, как целые кладбища высылали ему своих мертвецов, которые начинали **жить сызнова**, как приходили, рождались и отживали в глазах целые племена и народы...» — «Он мыслил не бесплотными идеями, а целыми мирами, целыми созданиями, как он носился, подобно пылинке во всем этом бесконечном...» Много позже в «Идиоте» кн. Мышкин говорит, о слиянии с Высшим в краткий миг экстаза. И он же, еще в начале романа, дает автобиографически точные воспоминания Достоевского о моменте перед казнью. Тут все необычно точно воспроизводит подготовку к смерти Петрашевцев и отмену в последний момент казни. И еще дальше — Мышкин вспоминает о зрелище другой казни. В обоих случаях ожидающему казни, пять минут до ее совершения, кажутся **«бесконечным»** сроком, огромным богатством; ему казалось, что в эти пять минут он проживет столько жизней, что еще сейчас нечего и думать о последнем мгновении...» Солнце освещало крышу собора, и он «оторваться не мог от лучей: ему казалось, что эти лучи его новая природа,<sup>6</sup> что он через три минуты как-нибудь сольется с ними...» И в другом случае преступнику все кажется, «что еще **бесконечно** жить остается, пока везут». Здесь нет победы над Временем, а лишь психология личного времени, то, что отмечено мной под № 4.

Еще любопытнее Время в момент раскаяния и начала пе-

---

<sup>6</sup> Ср. в «Сне смешного человека» фразу о солнце и свете: «...Родная сила света, того же, который родил меня, отозвалась в моем сердце и воскресила его».

ререждения Раскольникова. И там обратное: семь лет, большой срок, делается кратким мгновением в ожидании свободы и новой жизни. Но есть и удивительный момент нового ритма времени кочевников в залитой солнцем бескрайней сибирской степи. Там другие люди, других времен и другого пространства. Ширится взор и бежит, и ширится, и развертывается степь. С дальнего другого берега открывалась широкая окрестность. «Чуть слышно доносилась песня. Там, в облитой солнцем необозримой степи, чуть приметными точками чернелись кочевые юрты... Там как бы самое время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его». К нему тихо подошла Соня. За этим следует покаяние Раскольникова, возврат к кругу людей, а не сверхчеловеков гордыни. И описав порыв, и слезы, и думы героя, внезапно Достоевский обрывает рассказ о его чувствованиях и как молнию бросает фразу: «Вместо диалектики наступила жизнь, и в сознании должно было выработаться что-то совершенно другое». А для воскресшего душою семилетнего срока — «Семь лет, только семь лет!» И после Ветхозаветного Авраама писатель говорит и о Новом Завете, о воскрешении Лазаря. Сколько скрытых символов, величавого ритма неслышного Времени, дали и глубины! Поистине в конце романа «Преступление и наказание» прошлое, настоящее и будущее объединены. И мистические «семь», и София, и Евангелие.

Не менее важен для концепции времени у Достоевского его рассказ «Сон смешного человека». Назвал его автор фантастическим рассказом. Но по убеждению Достоевского самое фантастическое часто оказывается самым реальным. Герой на грани самоубийства, он охвачен солипсизмом типа Макса Штирнера «Единственный и его достояние».<sup>7</sup>

Мученик своего скептицизма Смешной человек спрашивает самого себя: полно, да существует ли человечество и вселенная? И приходит к идее, что ему совершенно все равно будет ли мир существовать или все превратится в ничто. Но эта мысль ему бесконечно тягостна. Эта мысль пришла к нему ранее ноября, но «именно третьего ноября» он решил застрелиться. Любопытно, что третьего ноября в православных святцах среди

---

<sup>7</sup> Здесь нет места разбирать влияние М. Штирнера и Шатобриана на философские воззрения Достоевского и на его скрытую полемику с Ламене и Кантом.

прочих мучеников есть мученик (Катерион) — Катерий. Имя символизирует — по-гречески — разрушение, гибель, разрывание чего-то. И мне кажется, не случайно Достоевский подчеркивает дату 3-го ноября! С этого дня герой помнит каждую минуту своей жизни и «смерти». Герой, сидя за столом в пустой комнате, стреляет себе в сердце, ибо раз ему все все равно, то с его смертью исчезнет и весь мир. Он был обуян гордостью: «гордость эта росла во мне с годами». В момент перед смертью он знал: «что мир теперь как-бы для меня одного и сделан: застрелюсь я, и мира не будет, по крайней мере для меня». И тут его начинает терзать мысль, что если бы живя, скажем, на Марсе, он сделал отвратительное дело, а потом попал на Землю, то вспоминая об этом прошлом проступке и зная, что на Марс он не вернется, было бы герою стыдно, или все равно? И здесь Достоевский вводит особое Время, время во сне. Мы сразу чувствуем, что он говорит о себе и о брате Михаиле. И хотя сны «стремит не рассудок», а сердце, «Какие хитрейшие вещи проделывал иногда мой рассудок во сне!.. Мой брат, например, умер пять лет назад. Я иногда его вижу во сне: он принимает участие в моих делах, мы очень заинтересованы, а между тем, я ведь вполне, во все продолжение сна, знаю и помню, что брат мой помер и схоронен. Как же я не дивлюсь тому, что он хоть и мертвый, а все-таки тут подле меня и со мной хлопочет?» Недавно эту мысль развивал и явление объяснял А. Синявский в «Мыслях врасплох». Но кроме удивительного, сверхвременного бытия во сне, в этом же рассказе Достоевский повествует о полете на груди некоего духа души самоубийцы. Он говорит о «перескакивании через пространство и время», о полете через темные пространства. «Я давно уже перестал видеть знакомые глазу созвездия». Они, ведь, были там, откуда «лучи доходят на землю лишь в тысячи и миллионы лет». И вот, герой повести видит новое солнце «совершенно такое же солнце как наше», а затем и Землю воскликая: «И неужели возможны такие повторения во вселенной, неужели таков природный закон?» И все там такое же только это Земля рая. «...Вдруг странное чувство какой-то великой, святой ревности возгорелось в сердце моем... Я люблю, я могу любить лишь ту землю, которую я оставил, на которой остались брызги крови моей». И он знает, как любил он нашу Землю, бедную, несчастную, но дорогую и вечно любимую.

Любовь на ней связана с мучением и он жаждет мучения, чтобы любить. Далее писатель повествует о рае на новой Земле, о втором грехопадении и своем пробуждении от сна у стола с револьвером. И сон для него делается чем-то важнейшим и **реальнейшим**, остающимся **на веки**. Герой хочет проповедывать всю жизнь и учить Любви и радости бытия в вечной Истине, т. е. в Боге, ибо: «я видел Истину, — не то что избрал умом, а видел, видел, и **живой образ** ее наполнил мою душу навеки». И что удивительно, Время и в его жизни сублимируется, изменяется: «О, я бодр, я свеж, я иду, иду, и хотя бы **на тысячу лет**».

В «Сне смешного человека» выдвинуты, подчеркнуты, три идеи: отрицание бесконечного круга повторений, преобразование Времени в активной любви и ценность бытия как счастья. Ценности духовные не умещаются во времени, их рост не связан со временем. Любовь, прозрения, интуиция, это великое Теперь. Во времени совершаются явления, дела физические, успешивность ассоциаций. **Теперь** же духовно, в нем пребывает совершенность, исполненность, не преходящее движение по прямой или кривой времени, а подъем ввысь в духовном росте человеческого «Я».

В «Братьях Карамазовых» есть два аспекта Времени. Время дьявольское в кошмаре Ивана Федоровича и Сверхвремя горних миров бытия, обнимающее Прошлое, Настоящее и Будущее. В первый раз в русской классической литературе говорится и о искусственном спутнике Земли.<sup>8</sup> Разговор с чертом Ивана написан так, что читателю Иван кажется то больным, видящим в бреду своего двойника, то созерцающим настоящего дьявола. Дьявол говорит, чтобы перелететь на Землю ему из бесконечных пространств нужен только миг, но «и луч света от солнца идет целых восемь минут... духи не замерзают, но уж когда воплотился то... словом светреничал, сто пятьдесят градусов ниже нуля!» Дух упоминает забавы в деревнях, когда на морозе предлагают новичку лизнуть топор. Иван сразу спрашивает: «А там может случиться топор? —

---

<sup>8</sup> О летательных машинах несущихся в космических пространствах говорится в стихотворениях Шиллера и В. Гюго, но не о спутниках. Ср. «Проплывши пучину, свой якорь закину, где жизни дыхание спит, где грань Мирозданья стоит». и т. п.

рассеянно и гадливо перебил вдруг Иван Федорович... — Топор? — переспросил гость в удивлении. — Ну да, что станется там с топором? — с каким-то свирепым и настойчивым упорством вдруг вскричал Иван Федорович... — Если куда попадет подалеже, то примется, я думаю, летать вокруг земли, сам не зная зачем, в виде спутника. Астрономы вычислят восхождение и захождение топора...» Дьявол издевается все больше и над верой и над Временем. И передает легенду. «Был, дескать, здесь у вас на земле один такой мыслитель и философ, все отвергал, законы, совесть, веру, а главное — будущую жизнь...» Когда же философ умер и не раскаялся, его осудили, чтобы он прошел во мраке квадриллион километров и когда кончит путь, тогда ему отворят райские двери. После известного периода времени философ таки дошел до врат рая и, не пробыв в раю и двух секунд, воскликнул «что за эти две секунды не только квадриллион, но квадриллион квадриллионов пройти можно, да еще возвысив в квадриллионную степень!» Но по утверждению дьявола и земля, и все на ней, миллиард раз **повторялась**, рассыпалась, разлагалась на составные начала и вновь из комет рождались солнца, из солнца земля, «и все в одном и том же виде, до черточки». Здесь в уста искусителя вложена теория вечного возврата, вечных циклов Вселенной. Затем идет изложение идей попражня Бога и бессмертия ради гордыни и счастливого мгновения. Последовательность круговорота времени уничтожает в его цикличности смысл веры и бытия вне времени.

Совершенно иной предстает природа Времени в учении старца Зосимы и в сне-видении Алёши. Подготовкой для писателя в смысле более ранних попыток высказаться, служат речи св. Тихона в удаленной из «Бесов» главе и тип Макара Долгорукова в «Подростке», где он говорит о времени и смерти. Путь рекомендуемый Зосимой для человека есть молитва и любовь, а через них и соприкосновение мирам иным. Ад же есть страдание о том, что нельзя уже более жертвенно и деятельно любить. Прошла жизнь земная и ее времена и сроки. После краткого разочарования в том, что нет чуда нетления с телом Зосимы, Алёша переживает сонное видение, где Прощлое двух тысяч лет становится настоящим, где Христос и веселящиеся Его гости принимают и Алёшу. Он видит и своего Старца. С этой минуты вера, надежда и любовь навеки утвер-

ждаются в его душе. Алёша явственно не только видел старца, но слышал его голос. Под Божиими звездами в саду, куда он вышел из келии, Алёша имел истинное прикосновение к мирам иным, то, о котором учил Зосима, что все **живое живо** через сознательное или и бессознательное чувство иного горнего мира. И все мы связаны всеответственностью одних за других. Прошлое, Настоящее и Будущее сосуществуют в мире горнем, а через него и в нас. Тронешь один конец цепи и в другом конце отзовется.

Эту идею прекрасно понял А. Чехов. В любимейшем своем рассказе «Студент» он бессознательно **повторяет** слова Зосимы, и протягивается цепь от двора первосвященника, где у костра грелся апостол Петр, к костру конца XIX века на «вдовьих огородах», к бедным женщинам и к нему — студенту Великопольскому.

В Достоевском, в его творениях, Время и Пространство образуют одно целое. Но к концу своего земного бытия он был твердо уверен в единственности явления Христа Богочеловека. Он знал, что наступит антихристианское время, что возможен конец мира, но верующие во Христа, и активно любящие добро и людей, Бога и мир, войдут в обители иных миров, ибо «у Отца Моего обители многи суть». А времени не будет, ибо не будет уже небытия и бытия, а Жизнь вечная. «И Ангел... клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней... что времени уже не будет».<sup>9</sup> (Ап. X. 6.).

*Р. Плетнев, 1967.*

---

<sup>9</sup> Многие ученые полагали, что здесь речь не о Времени, а о сроке, что уже истекло время жизни мира = *prolongatio temporum*. Другие, и я с ними, толкуют текст как и Достоевский.

\*

*«все ясней...»*

Все ясней проясняется осенью  
и под сенью осеннею ясени

с этой просьбою — просекой — просинью  
вся томлением Русь осеняется

Все толпою теснится и просится  
и за тенью затмений — за тенью

на оси на осенней проносится  
мимо Солнца — степной каруселью

Все бежит к рубежам — Боже — в рубищах  
устремляется к Солнцу — на папертях

к подаяниям — сирым — от любящих  
возле врат золотых — только запертых

Дело времени — глубже — иначе —  
только вижу еще одного —

с Аппалачей — у белых стен Плача —  
Иеремию — не без него...

\*

ах, двадцать шесть  
курлыкающих журавлей  
осталось на белом свете —

а если уж до этой горсточки не пожалели —  
не пожалеют этих

ах, двадцать шесть их  
сгрудившихся у озер  
золотыми свадьбами — на зимовья

разрыдавшихся чеховских трех сестер —  
по белым признакам — белокровья —

журавлиные крики  
и двадцать шесть  
по безропотному журавлиному номеру

ах, родные, дождутся ли до другого пришествия — или — прахом — навечно — по миру?

## ВЕНЕЦИЯ, 66

Создали город когда-то  
подобный сказке?

Нет, опустилась на белых крылах  
лебедь

На поверхности зеркальных вод —  
Венеция

На закате солнца  
вдыхающая как амфибия

Тревоги  
северной Адриатики...

И галеры у галерей,  
и расписанных кораблей

Желто-голубые ромбы,  
и песня времени дождей

Дождевыми изумрудами  
рассыпанная над каналами...

И все еще кажется  
что не только широкая лагуна

Но и вся ширь  
успокоенного уже

Средиземноморского Мира  
плещется о площадь святого

Марка

*Яков Бергер*

# МАРИНА ЦВЕТАЕВА

*Тише, тише, тише, век мой громкий,  
За меня потоки и потомки.*

Сидя как-то у меня в Брюсселе, Марина Цветаева взяла в руки «Якорь» — антологию зарубежной поэзии и, найдя в ней свои стихи, сперва поставила знак ударения в последней строфе своего стихотворения «Заочность» на слове «длѣя», на полях отметив «НВ! от длить», а затем приписала под стихотворением «Роландов рог» это двустишие:

Тише, тише, тише, век мой громкий!  
За меня потоки и потомки... —

и подписалась Марина Цветаева. И нет, пожалуй, лучшего эпиграфа для моих воспоминаний о ней.

Узнала я имя Марины Цветаевой прочтя в 1923 году (было мне 16 лет) ее юношеское стихотворение «К вам всем, кто мне, ни в чем не знавшей меры, чужие и свои». Не лучшее, конечно, из цветаевских, но очень мне понравившееся. Затем в 1926 году в журнале «Благонамеренный», издававшемся моим братом в Брюсселе, были напечатаны ее стихотворение «Марина» и ее статья «О благодарности» и опять все понравилось. А во втором и последнем номере «Благонамеренного» Марина Цветаева в статье «Поэт о критике» высказывала горькую обиду на Георгия Адамовича, не оценившего присланного на конкурс «Звена» ее стихотворения. В сущности, по молодости лет мне трудно было разобраться кто из них прав: поэт или критик, но на Марину Цветаеву обрушились такие потоки брани в зарубежных газетах, что инстинктивно обиделась я за поэта. Как-то выжили у меня среди прочих вырезок того времени две статьи, одна из «Возрождения» (№ 338) и называется «О пустоутробии и озорстве». Автора не знаю. Цитирую только одну фразу: «Но уныние вызывает у меня и то, что пишет г-жа Цветаева. И то, и другое огорчительно не потому, что

бездарно, а потому что совсем не нужно». Еще хуже фельетон Александра Яблоновского «В халате», где Марина Цветаева приравнена к Вербицкой: «Она приходит в литературу в папильотках и в купальном халате, как будто в ванную комнату вошла» и т. д. И все это мне вспомнилось, когда в 1938 году, уезжая навстречу смерти в СССР, Марина Цветаева в последний раз посетила нас в Брюсселе и сказала со вздохом: «Некуда податься — выпихивает меня эмиграция».

Но об этом потом. Двойственность моей литературной жизни, с перевесом на Францию, и подвижность моего существования вносили в мои встречи с русскими писателями элемент не постоянства, а случайности. И не так уже много раз встречалась я с Мариной Цветаевой. Думаю, впервые видела я ее в начале тридцатых годов. Она была не намного старше меня, всего на 12 лет, но казалась мне отдаленной во времени и вообще совсем особой, ни на кого непохожей. Скажу даже, ни один из самых знаменитых писателей, русских или иностранных, в личном обращении не вызывал во мне такого трепета, а иногда и священного ужаса... Как будто она жила совсем в другом плане, чем все, парила на каких-то высотах, ходила по каким-то вершинам, совершенно не замечая «плена земли», тяжести быта. Поэтому и дружбы настоящей между нами не было, но было какое-то внутреннее доверие, которое ее заменяло.

По странной случайности я никогда не видела Марину Цветаеву вместе с каким-нибудь членом ее семьи. Я встречала Сергея Ефрона без нее, а Марину Цветаеву всегда видела одну, без мужа, без сына, без дочери, поэтому она мне и предстоит всегда в предельном одиночестве и явной безземельности.

Вижу Марину Цветаеву в ее нищенской квартире в предместье Парижа, Ванв. Стоим на кухне. Марина Цветаева почему-то варит яйца в маленькой кастрюльке и говорит мне о Райнер-Марии Рильке. Я зачарованная слушаю неповторимый ритм и неповторимое содержание ее речи, но вот ничего не помню о Рильке. Помню только лицо Марины Цветаевой и эти самые высоты, на которые она меня влекла с такой неудержимой силой, не зная, что следовать за ней я не могла. И обыденность, конечно, сразу отомстила за презренье к ней: вода в кастрюльке выкипела до дна, яйца не сварились, а спеклись и лопнули, алюминий же расплавился...

Помню стоял и сундук какой-то, напоминающий и Россию

и беженскую судьбу. А за окном томительно-грустный пейзаж пригорода, серость, сырость, дождь. Я замечала это, замечала ли Марина Цветаева?

Помню выступления Марины Цветаевой то в Париже, то в Брюсселе, на улице Конкорд. Зал никогда не ломился от публики, народной любовью Марина Цветаева не пользовалась, но приходили. Она в скромном, затрапезном платье с жидковатой челкой на лбу, волосы неопределенного цвета, блондинистые, пепельные с проседью, бледное лицо, слегка желтоватое. Серебряные браслеты и перстни на рабочих руках. Глаза зеленые, но не таинственно-зеленые, не поражающие красотой, смотрят вперед, как глаза ночной птицы, ослепленной светом. Так, явно не видящая тех, кто пришел на нее посмотреть или ее послушать, Марина Цветаева читает свои стихи, громко, скандируя слова, подчеркивая ударенья, как бы бросая вызов кому-то, и нисколько не заботясь о том впечатлении, которое она производит. Я не встречала никого из выступающих перед публикой более свободного от желания понравиться. Так, утесом стояла Марина Цветаева на своем возвышении, бросая свои заклинания, шла напролом, рубила плеча, а потом как-то по мужски, кланялась тем, кого продолжала не видеть, погруженная:

В себя, в единоличье чувств  
Камчатским медведем без льдины...

В частной жизни тоже было у Марины Цветаевой полное отсутствие женского шарма, несмотря на то, что с любовью была знакома, была подвержена ее закону, способна на молниеносные ее радости и трагедии, в которые бросалась опять напролом, не разглядев объекта; в любви или дружбе наделяя простых смертных тем, что хотела видеть в них, то-есть, собственной сутью. А кто мог, кто смел жить на ее крутизнах? Может быть одно из самых ярких тому примеров ее стихотворение «Попытка ревности». С каким, вероятно, облегчением тот, думая о ком она его написала, обратился от вдохновенной Лилит к самой обыкновенной женщине... Позднее ей казалось, что нашла она родственную ей душу, в молодом поэте Николае Гронском, трагическая смерть которого была для нее, увы, не последним тяжелым ударом.

Да, как жадно искала она в других (может быть и во мне)

того верного, а главное созвучного друга, своего alter ego и ясно, не находила.

За князем род, за серафимом сонм,  
За каждым тысячи таких, как он...

И продолжала трубить, одновременно в безнадежности и в надежде в Ролландов Рог: —

Одна за всех — из всех — противу всех  
Стою и шлю, закаменев от взлету  
Сей громкий зов в небесные пустоты.

И сей пожар в груди — тому залог  
Что некий Карл тебя услышит, Рог!

И услышали Карлы, но посмертно... Что помню еще о Марине Цветаевой? Того, что можно назвать «бабьим» в ней не было ни крошки. Ни хитрости, ни лукавства — и сплетничать не умела (это бабье присуще и многим мужчинам). Бороться и восставать, это она умела, но предавать физически не могла. Верность ее была верностью дамасской стали. Я видела ее в 1937, когда в связи с делом об убийстве троцкиста Игнатия Рейса в швейцарской санатории, Сергей Ефрон, давно уже замешанный в советской организации «Союз возвращения на родину» и приложивший руку к советизации газеты «Евразия», был разыскиваем полицией. Ефрон скрылся — Марину Цветаеву допрашивали. Она рассказала мне о допросе. Запомнился мне ее, чисто цветаевский ответ следователю, когда тот привел ей доказательство о причастности Ефрона к преступлению. “*Sa bonne foi a pu être surprise, la mienne en lui reste intacte*”. И так было это, вероятно, сказано, что несмотря на несправедность ее беженского положения, Марину Цветаеву оставили сразу же в покое, очистили от подозрения в каком-либо сообщничестве.

В другом плане, но все о том же врожденном, «подкожном» ее благородстве. Марина Цветаева была вольнолюбивица и по существу демократка. Помню в Брюсселе, идя с ней в зал, где было ее выступление, мы столкнулись с двумя рабочими, несшими какие-то ящики и сейчас же сторонясь и отстраняя меня, уступая им дорогу, Марина Цветаева громко, несколько нарочито программно сказала: «Дорогу труду!» Но несмотря

на народность свою, а может быть именно из-за нее, Марина Цветаева никогда не попыталась лягнуть демократическим копытом поверженных мира сего, на падших не наступала — уважая их несчастье и то, что в истории с ними связано, пример этому ее статья «Открытие музея».

О чем бы она ни писала, ко всему относилась серьезно, юмора не знала, собственно, и я не помню, чтобы я когда-нибудь смеялась вместе с нею. О религии или вере в Бога мне не пришлось с ней говорить, но я была ей благодарна за то, что никогда не прочла у нее ни одной строчки, которая показалась бы мне оскорблением моей веры. Для нее — Поэт: — «никогда не атеист, всегда многобожец, с той только разницей, что высшие знают старшего... Большинство же и этого не знает и слепо чередуют Христа с Дионисом, не понимая, что уже сопоставление этих имен — кощунство и святотатство».

И вот этого то святотатства Марина Цветаева никогда не совершала, инстинктивно зная сравнительность ценностей.

---

1938 год. Начало конца Марины Цветаевой. Много событий в Западной Европе, свидетельницей, а иногда и участницей которых я была, с тех пор заслонили от меня предвоенное время, но, если не ошибаюсь, путь Марины Цветаевой на родину, в ту самую Россию, которая пожирает как «глупая чушка своих детей», шел через Брюссель и Варшаву.

Воспоминания, повторяю, смутные, но без каких-то оснований они бы не существовали. Мне кажется, что именно Брюссель был последней остановкой Марины перед ее возвращением в СССР.

Я сказала ей (это помню твердо) в ответ на ее слова: «Ничего не поделаешь! Выпихивает меня эмиграция!» — «Марина Ивановна, подумайте, живя за границей, вы можете еще мечтать, что где-то, в России, вам будет хорошо, а приехав туда и мечтать будет больше не о чем и не на что надеяться. Ну, как вы с вашим характером, с вашей непреклонностью можете там ужиться?»

На это Марина Цветаева ответила: «Знайте одно, что и там буду с преследуемыми, а не с преследователями, с жертвами, а не с палачами». Этого она могла бы и не говорить. Я твердо знала, что на компромиссы пойти ей было физически

невозможно. Гордость защищала ее от двуязычья и даже под ножом не сказала бы она похвальное слово Сталину.

С каким чувством покидала Марина Цветаева Францию? В 1950 году поэтесса Алла Головина, видевшая ее в Париже перед отъездом, сказала мне, что спросила ее не будет ли она жалеть о Франции и о Париже. Марина Цветаева ответила экспромтом:

Мне Франции нету милее страны  
И мне на прощание слезы даны.  
Как перлы они на ресницах висят.  
Дано мне прощанье Марии Стюарт.

А дальше, что было дальше! Едва уехала Марина, как кто-то сообщил мне о гибели Сергея Ефрона, о том, что его будто бы расстреляли, ликвидировали, как обычно всех тех, кто принимает участие в преступлениях режима. И вот тут-то, видимо, был у меня какой-то адрес друзей в Варшаве, у которых Марина Цветаева должна была остановиться. Может быть телеграмму я послала Льву Гомолицкому, с которым была в переписке, но Марину Цветаеву в Варшаве ни эта весть, ни моя телеграмма не застали. Повторяю, эти данные я проверить не могу, нет возможности, но мне помнится, что было именно так.

Тише, тише, тише век мой громкий  
За меня потоки и потомки —

Так и остался и живет во мне образ русского большого поэта Марины Цветаевой, поэта, обреченного, как и многие другие русские поэты, на тяжелую судьбу, на мученический конец. И карарский мрамор перемальвают жернова истории...

*Зинаида Шаховская*

### ПИСЬМА М. ЦВЕТАЕВОЙ К З. ШАХОВСКОЙ

*В письмах Марины Цветаевой, печатающихся здесь, речь идет о ее французских рукописях. Они так до меня никогда и не дошли, кроме ее пушкинских переводов, любезно присланных мне в 1966 году О. Н. Вольтерс. Желание найти заработок своим ремеслом хотя бы и на чуждом языке, вероятно, побудило М. И. к этому и, насколько мне помнится, сперва она предложила "Лэтр" издательству Галлимар в*

*Париже, но в этом издательстве об этом не помнят. Переводы ею Пушкина лучше многих появившихся во Франции, но, конечно, и в них отсутствует то неповторимое, цветаевское, что присуще ее русским произведениям. Думаю, что немецкая поэзия и литература были ей более сродни, чем французская, да и сама она в этом признается: “У нас с Францией никогда не было родства. Мы разные...”*

З. Ш.

Vanves (Seine), 65, Rue J.-В. Potin.

18-го мая 1936 г., понедельник.

Милая Зинаида Шаховская, очень рада буду встрече в «Журналь дэ Поэт»<sup>1</sup> — поблагодарите Вивье,<sup>2</sup> — но визы нынче, 18-го, у меня еще нет. Все же надеюсь не позже пятницы быть в Брюсселе и выехав ранним поездом к поэтам поспею. Виза может быть и завтра, тогда поеду в среду, 20-го.

Очень глупо — сидеть и ждать и знать, что ничего не попишешь, — закон, а он, если захочет, меня вдребезги.

До свиданья, сердечное спасибо за память.

М. Ц.

Открытка (2 медведя в Зоол. парке Венсен, в Париже).

Ванв, 28-го мая 1936 г.

Дорогая Зинаида Алексеевна,

Дошло ли кольцо и как пришлось?<sup>3</sup> Ждала с ним до последней минуты — хотелось с пальца на палец. Мои «Лэтр» через неделю — 10 дней попросите у О. Н. Вольтерс, а если их еще нет, попросите, чтобы она напомнила вернуть. (Они у господина, которого зовут Люсьен, дальше не знаю). И потом **непременно** напишите впечатление.<sup>4</sup>

Сердечный привет от нас с Муром.

М. Ц.

5-го июня 1963 г., пятница.

(Открытка — два льва, прижавшись друг к другу).

Милая Зинаида Алексеевна, — а вот Вам другая пара, и, верьте мне на слово: они страшно похожи — по благородству и сиротству — на Бальмонта с Еленой: на Елену с Бальмонтом («О, Елена! Елена! Елена! — Ты красивая пена морей». — 35 лет назад сказано, а **живо** в нем — и посейчас).

О рукописи, хотя она на машинке, — дайте ее прочесть,

по собственному прочтению, кому нужно из «Журналь дэ Поэт». Мне очень хочется издать ее отдельной книжкой, но так как на книжку — мало, у меня есть еще другая однородная, физически мѣньшая. Та́ и эта дали бы томик, вроде «Проз д'Анфан».<sup>6</sup> Ту вышлю.

Можно Вас попросить передать при случае прилагаемую открытку Ольге Влад. Орловой?<sup>7</sup> Спасибо заранее!

М. Ц.

Вторая открытка, вложенная в тот же конверт, изображающая двух белых медведей: (а вот Вам еще другая пара).

Вам, когда Ваша редакция отчитает «Лэтр» и как-то выскажется... Словом, буду ждать Вашего ответа. И **лично** отзыва — независимо от возможностей издания о «Лэтр» как Вам «пришлось»? На 50-летнем юбилее Ходасевича видела весь Монпарнас, — и **милее, живее** всего — женщины: очевидно, по живучести в них души. Подарила Ходасевичу хорошую тетрадку «для последних стихов» — может быть — запишет, т.-е. сызнова начнет писать, а то годы, — ничего, а — жаль.

Один из пишуших, узнав, что я из Брюсселя, сказал: «А Шаховская там в роли Рекамье?» Я: — «Не заметила. Она просто очень любит литературу — и очень серьезно работает». Тогда тот — перестал.

До свидания! Жду весточки. Вашим поэтам — привет.

М. Ц.

Привет Петру в овраге.<sup>8</sup>

Ванв, 22-го июня 1936 г., понедельник, жара.

Милая Зинаида Алексеевна,

Оба перевода давно готовы, сейчас они на рассмотрении у Поля Буайе<sup>9</sup> — моя мечта, чтобы он дал мне **весь** Пир во время Чумы, — что значит «дал»? А то, чтобы потом — **взял**, ибо **переводить** себе в тетрадку — окончательный люкс... и глупость.

Переводы **хороши**, и таковыми останутся, если даже Поль Буайе **не** одобрит. Нет ли еще чего-нибудь — для того же сборника, или для «Журналь дэ Поэт», м. б. они захотят (по прочтении Песни и Пророка) чего-нибудь пушкинского — в моей транскрипции? Отзывайтесь скорее — тогда сразу вышлю — мне всегда в фактическом осуществлении сделанного нужен

стимул. Кроме того, я **скоро** уезжаю — и оттуда (пока что неизвестно откуда, все ближайшие дни буду смотреть по окрестностям) труднее будет: деревня, почты нет, почтальон потеряет и т. д.

Запросите О. Н. о моей рукописи. Дело в том, что я тому господину, который так хорошо меня слушал, которому я потом «на перемене» рассказала моего «Молодца» и которому, в конце (очень быстрых) концов, дала свои «Лэтр», он — **не** пишущий, но **чудно** читающий, дело в том, что я этому господину (его зовут Люсьен, это приятель О. Н.) написала — и он мне (как столько господинов и так мало господ! в моей жизни) **не** ответил — и я больше писать не могу. Почти всегда писала **первая** и **НИКОГДА** — вторично.

Хорошо бы эти «Лэтр» — выручить, ибо человек, который может не ответить на письмо может и потерять рукопись, — кроме того, мне очень хочется, чтобы Вы и Ваше окружение их прочли. Я мечтаю, если они понравятся, набрать денег и напечатать их, с еще одной небольшой вещью как раз выйдет томик, в Вашем издательстве, а то все это **на мне лежит**.

Но той вещи не могу Вам послать раньше Вашего и общего отзыва на «Лэтр», ибо — если они не подойдут, то и она не подойдет: **вся я** не подошла. Бывает.

Спасибо за стихотворную открыточку: чувство — близко, и вид (по-иному) — тоже.

О. Н. не пишет, но на ней бремя **дома**.

На мне тоже — и может быть пуще — ибо **все** — моими руками! Я — целые дни стираю и штопаю — но это во мне немецкая механика долга, а душа — свободна и ни о чем этом не знает: еще не пришла ни одной пуговицы!

Обнимаю Вас и жду отзыва.

М. Ц.

Как только напишете, перепишу и вышлю обоим Пушкиных.

Moret-sur-Loing (S.-et-M.), 18, rue de la Tannerie,  
chez Mme Vve Thierry.

9-го июля 1936, четверг.

Милая Зинаида Алексеевна, как видите — я уже на воле, а именно: в чудном старинном городке под Фонтенбло. Быт устроен, т.е. по возможности устранен, а для души — непосредственно над головой — две химеры: Мурина и моя (поде-

лили) — ибо живем непосредственно за церковной **спиной**. Я сюда приехала, чтобы беспрепятственно работать, т.-е. перевести Пушкина — лучшие стихи, не взирая — переведены ли уже, или нет, ибо я ни одного перевода не знаю, да и знала бы — не слушала бы.

Хотите — чтобы я с **этим** осенью приехала в Бельгию, т.-е. с вечером моих переводов + предисловие. Я **серьезно** запрашиваю. Давать заочно мои стихи мне бы не хотелось — и вот почему: у меня много вариантов, и Ваши поэты из «Журналь дэ Поэт» мне м. б. помогли бы утвердить **лучший** (беда, что один другого лучше: один — содержательно ближе, другой французски — или образно — лучше, вообще хорошо бы посоветоваться — **устно**, по горячему следу первого впечатления).

Пока сделаны: Когда могучая зима — Пророк — Для берегов отчизны дальней — К няне — и сейчас идет, именно волнами идет! Свободная стихия (К морю). Но я хочу — целый сборник: **все**, что есть лучшего. Посмотрим, что успею за лето.

Как Вы думаете, есть ли надежда приехать с этим в Брюссель, т.-е. с рядом стихов и с **словом о Пушкине**. Т.-е. поработать ли я на поездку (паспорт у меня есть).

Что будет с самой книжкой — не знаю: я могу дать бесплатно несколько стихов, я вообще бы с радостью работала бесплатно — если бы государство — или к.-н. меценат мне бы оплачивал мое **скромное** существование, но пока — это мой единственный источник существования, а напечатай я пушкинский сборник в Из-ве «Журналь дэ Поэт», не только ничего не дадут, а еще приплачивать нужно, — за много месяцев непрерывного труда... На обещанное в Ваш сборник — дам.

Дальше: всего Пира переводить **не** буду: там **лучшее** — обе песни, а остальное — для перевода мало увлекательно, ибо беспрепятственно. Я не люблю стиха без рифмы — и этого размера не люблю: скучаю.

Подумайте, пожалуйста, и ответьте — хотя бы предположительно.

Получили ли мою франц. рукопись (NB. машинную). Вот ее бы другую маленькую в из-ве издать — хотела, т. к. **продать** мне ее (при моем характере) навряд ли удастся, — у меня у французов **нет имени**, а в кредит — ничего не хочу. Я бы хотела, чтобы из-во «Журналь дэ Поэт» ее до моего приезда прочло и как-нибудь отозвалось. Тогда бы привезла ту другую

— **тоже письмо** (если бы Вы знали — кому и о чем!) — и получилась бы небольшая книжка, к-ую бы и предложила из-ву — на **его** условиях (кажется 600 бельг. фр. доплаты?)

Ответьте мне, пожалуйста, дорогая Зинаида Алексеевна, по обоим пунктам, если можно **не** открыткой, п. ч. в открытки я как-то не верю, слова на ветер.

Я здесь буду до середины сентября, но ответ хотела бы поскорей. Мне бы **очень** хотелось съездить в Бельгию, у Вас хороший дух, поскольку я могла почувствовать и что я безусловно увидела в факте издания «Проз д'Анфан». Так вот, та моя проза — той же породы, оттого у меня есть надежда. (Неужели тот Люсьен — ее потерял?? Запросите О. Н. — она мне ни слова больше не пишет. И Люсьен — тоже не ответил).

Итак — до письма!

Сердечный привет и пожелания хорошего — всячески (неразборчиво. З. Ш.).

Напишите о себе и своих планах.

Выросла ли собака<sup>10</sup> и как на нее смотрят кондуктора? М. б. уже — снизу??

М. Ц.

Ванв, 21-го сентября 1936 г.

Милая Зинаида Алексеевна,

Все это — недоразумение: спешно уезжая в Савойю забыла закрепить в своей памяти — или, что лучше: на бумаге — Ваш адрес, который совершенно — канул.

На-днях вернувшись — разыскала: 4, рю Вашингтон, и одновременно получила Вашу недоуменную открытку — и вот — пишу: спешу снять и тень в могущей — **не** могущей! — быть у меня на Вас обиде — за что?

Я, наоборот, сохранила о нашей встрече — Петре в саду, рытье в книжках, псе, лесе — самую хорошую память, ничем не омраченную. И Ваш черный идол<sup>11</sup> до сих пор мне благоприятствует.

Желаю Вам успеха с Вашим сборником и шлю самый сердечный из приветов.

М. Ц.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Бельгийское изд-во и периодический журнал (директор Поль-Луи Флуэ), в котором я сотрудничала.

<sup>2</sup> Роберт Вивье, бельг. поэт.

<sup>3</sup> Подаренный мною впоследствии Владимиру Смоленскому.

<sup>4</sup> Ни одна из рукописей М. Ц. ко мне не попала. Неизвестный «Люсьен» не откликнулся. В 1966 г. О. Н. Вольтерс любезно прислала мне машинопись переводов Пушкина. К несчастью, я не получила их в эпоху составления небольшой юбилейной Пушкинской антологии, выпущенной мною в изд-ве «Журналь дэ Поэт» в 1937 г. при участии проф. М. Л. Гофмана, В. Вейдле, Г. Струве, с неизданными переводами ряда бельг. поэтов, В. Набокова и моих.

<sup>6</sup> «Детская проза», сборник изд. «Журналь дэ Поэт», понравившийся М. Ц.

<sup>7</sup> Русская художница, жившая в Брюсселе, умерла после второй Мировой войны.

<sup>8</sup> Все русские поэты и писатели, побывавшие у нас в Брюсселе, приводились в заброшенный овраг Королевского парка, где почему-то находится прекрасный бюст Петра Великого. Неподалеку от него — каменное изваянье лежащей в гроте женщины.

<sup>9</sup> Поль Буайе, профессор, известный славист.

<sup>10</sup> «Тай», мой шенок, волкодав.

<sup>11</sup> Идол из черного дерева, привезенный мной из Африки.

## ПИСЬМА С. АН-СКОГО

*С. Ан-ский — псевдоним известного русско-еврейского писателя и общественного деятеля Семена Акимовича Раппопорта. Ан-ский был уроженцем Витебска (1863 г.), первые свои рассказы по-русски напечатал в журнале «Восход» в начале 80-х г.г. Тогда он увлекался народничеством, обучал крестьянских детей в деревнях, скитался по угольным и соляным шахтам юга России, о чем позднее писал в «Русском Богатстве» и др. журналах. В его очерках из русской народной жизни чувствуется сильное влияние Глеба Успенского, с которым он был близок. В начале 90-х г.г. Ан-ский уехал в Париж, где был секретарем П. Л. Лаврова до самой его смерти (в 1900 г.). Вернувшись в Россию в 1910 году Ан-ский стал писать больше на идиш. В годы первой мировой войны он объездил Галицию, помогая тамошнему еврейскому населению. В революцию 1917 г. Ан-ский принадлежал к партии с. р. (к ее самому правому крылу), членом этой партии Ан-ский был задолго до революции. От партии с. р. Ан-ский был избран в Учредительное Собрание. Умер Ан-ский в Польше 8 ноября 1920 г. от сердечного приступа, 57 лет от роду. Литературная известность пришла к Ан-скому уже после смерти, после постановки его пьесы из еврейской жизни «Дибук». Эта пьеса была поставлена Вахтанговым в Москве в театре «Габима», а потом обошла многие сцены.*

*Печатаемые письма Ан-ского мы получили от Розы Николаевны Эттингер из Иерусалима. Все они написаны Ан-ским ей. РЕД.*

*Москва, 8 января 1916 г.*

....Меня очень тронуло, что в большой печали Вы нашли несколько минут для меня. Горе Ваше такое, для которого Бог не создал утешения — и в этом ярче всего выразилось наше благоговение перед человеческой жизнью, наше отношение к ней, как к высшей ценности. Большое слово Вы сказали: «Пос-

ле этого и жить не охота, а умирать еще страшнее». В этом парадоксальном, но глубоко жизненном афоризме кроется и его антитеза: «После этого жить больше хочется и смерть кажется менее страшной». Впрочем, это не антитеза, а перефразировка. И кроется в этом афоризме та совсем не парадоксальная мысль, что жизнь и смерть не есть две противоположности. Умирать не страшно. Но страшен, — я бы сказал, — обиден процесс умирания. А сама смерть — что в ней страшного. Смерть не есть отрицание жизни, а ее завершение. Смерть не касается жизни, а дает ей законченную и цельную форму, последний штрих, последняя точка художественного произведения. Если что страшно до безумия, то это не смерть, а время, в его текучей бесконечности. Оно-то уничтожает все, заносит пылью дней и веков, удаляет, суживает, уменьшает, подтачивает, пока не обращает в ничто. ...

Хотелось рассказать о себе, но боюсь не встретиться с Вашим настроением. Ограничусь несколькими словами. Отбыл театальный съезд, прочел доклад «О Еврейском Театре», доклад казенный, очерк зарождения и развития евр. театра и преследований которым он подвергся. Пришлю Вам, когда он будет напечатан в № 2 «Еврейской Недели». На заключительном торжественном заседании произнес большую часовую речь, в которой изложил свой взгляд на задачи народного театра, на отношение интеллигенции к народу и на возможность сожительства различных национальных культур. Повидимому речь произвела впечатление. Человек 25-30 подходили, пожимали руку, благодарили. Затем прочел доклад о еврейском театре на заседании Общ. Просвещения, где было до 500 человек. Предложил основать фонд евр. театра имени И. Л. Переца и тут же открыл подписку, которая дала около 3.000 р. Выбрана комиссия для продолжения подписки. Повторю это в Киеве и Петербурге. И если удастся собрать до 50.000 р., можно будет после войны организовать еврейский художественный театр.

Собирался вчера уехать в Киев, но перед самым отъездом на вокзал решил остаться здесь еще день. Дела все закончены, с знакомыми распрощался, так что выкроил себе свободный день, нечто вроде праздника. Был в театре — весь день провел с одним собой. В такие редкие дни чувствую себя возвышеннее, лучше. Мягкая грусть одиночества сливается с особенной сосредоточенностью и примиренностью.....

В Киеве рассчитываю пробыть недели три. Может быть, напишете, если будет время и настроение. Очень хотел бы знать, как Вы чувствуете себя. Вы такая хрупкая для тяжестей жизни.

Передайте, пожалуйста, Вашей матери мой привет и глубокое сочувствие в ее горе.

Храни Вас Господь,

*С. Раппопорт*

*Киев, 16 января 1916 г.*

*Новая ул. 3, кв. И. М. Маховера*

...Пользуюсь оказией, чтобы послать Вам мой томик рассказов на еврейском языке. Посылаю также книгу «Пророки». Хотел бы, чтобы Вы прочли ее ввиду нашего разговора о христианстве.

Из Москвы писал Вам 8-го. Почти неделю в Киеве и еще не знаю, придется ли ехать на фронт, в те галицийские города, занятые еще русскими, для организации помощи евр. населению. Возможно, что наладится без меня. Во всяком случае дней 10 еще останусь здесь. Читаю здесь две лекции «О мессианизме» и «О еврейском народном творчестве».

Тяжело здесь, как в склепе. Ни проблеска жизни, ни политической, ни культурной. Знакомых много, но предпочитаю сидеть в номере и работать. Бываю в театре — и каждый раз ухожу с таким чувством, точно глупо подшутили надо мной. Сегодня смотрел «Цезарь и Клеопатра» Берн. Шоу. Игра одна обида. Должен впрочем признаться, что и «Царь Федор Иоаннович» в Художественном Театре и «Сверчок на Печи» в Студии оставили меня холодным и равнодушным. Или виною мое настроение или мы переросли современный театр и его репертуар. Возможно, что драматический театр ждет своего Вагнера. А может быть вернется назад к наивной постановке мистерий.

За эту неделю я один раз испытал высокую художественную эмоцию, какую ни один спектакль не дал. Это было вчера. Обедал у знакомого. У него внук 4-х лет, худенький, стройный нервный ребенок, очень милый и ласковый. Забрался он на стул дедушки за его спиной, положил ему ручки на плечи, прижался щекой к его голове и заговорил точно про себя, немного нарस्पев:

— Дедонька, дедонька. Какой ты старенький, какой ты серенький, какой ты миленький. Когда ты был молодой, ты был черненький и тоже миленький, а теперь ты серенький, серенький.

Трудно описать, сколько трогательной красоты и грации было в этой группе. Вероятно еще сто тысяч лет тому назад какой-нибудь обезьяныш эти же слова — по чувству — нашептывал обезьяне матери, которую обнимал, и они до сих пор сохранили свою абсолютную красоту. Какие восторги толпы, аплодисменты, хвалебные речи могут сравниться с этой детской лаской.

В моей пьесе старуха-нищая восклицает: «Сорок лет, как я не плясала». Я мог бы сказать: «Добрых десять, пятнадцать лет, как не писал писем», кроме деловых. Вам, хочется писать. Но пишу с каким-то неловким чувством, как ощупью идущий... А может быть, так лучше.

Р. С. В Киеве, кроме Лавры и памятника Столыпину, есть еще достопримечательность — Балабуха. Его конфеты — гордость Киева. Посылаю на Ваш суд, не будьте строги к ним.

*Киев, 18 февраля 1916*

...Посылаю Вам небольшой очерк (Хассидскую сказку), только что написанный. Хотелось бы услышать Ваше мнение. При этом просьба. Если найдете сказку интересной и удачной по форме, перешлите, пожалуйста, рукопись с прилагаемым письмом М. Горькому. Для этого Вам придется позвонить по телефону 81-07 С. В. Познеру и спросить его в Петербурге ли Горький и его точный адрес (кажется, Кронверкский 23). Позволил себе дать Ваш адрес для ответа. Когда получите его, прочтите и сообщите, пожалуйста, мне. Если эта просьба для Вас сколько-нибудь затруднительна, оставьте рукопись до моего приезда.

С месяц тому назад послал Вам с оказией томик моих рассказов на еврейском (идиш, прим. Р. Э.) языке, пару книжек и письмо. Получили ли? Ваше письмо, адресованное в Киев, получил. Был ему очень рад. Собирался ответить. Но в это время пришлось поехать в Одессу, потом обратно в Киев. Теперь хочется написать подробно. Столько интересных впечатлений.

В Одессу я ехал по делу на один день и пришлось остать-

ся там две недели. До этого был в Одессе один раз, года 3 тому назад и провел всего пару дней. Теперь успел лучше присмотреться.

Что за удивительный город. Еще одного такого, вероятно, во всем мире нет. На всем лежит печать наивного бесстыдства и жирной безграмотности. Заехал я в первоклассную гостиницу «Бристоль». Колоссальное здание, мраморная лестница с бронзовыми фигурами. А в развешенных в номерах печатных «правилах» — такие перлы: «За забытые и оставленные вещи пассажирам взимается по 3 коп. в сутки за хранение каждое место». Портье оставляет у меня в номере записку: «Бул вам господин просил звенеть яму телефон такой-то».

В этом вся Одесса. Богато и нелепо безграмотно. Широкие улицы с монументальными домами. Посмотришь и положительно начинает тошнить. Жирные каменные туши в стиле «Луи Шейз дер финфейнтер», даже того хуже. Такого вини-гретного стиля и нарочно не выдумашь.

Газеты целые простыни — и каждая строчка, каждая фраза пропитана специфической безграмотностью и беззаботным невежеством. А какие лица встречаются на улице! Нигде таких не видал. Женщины — большие, массивные, с толстыми вывернутыми чувственными губами, раздутыми ноздрями и большими сытыми наглыми и в то же время жадными глазами. Мужчины расплывшиеся туши в цилиндрах, с сонными глазами, точно люди объелись на всю жизнь.

Имеется все, что полагается для большого города. Прекрасная опера, приличный драматический театр, первоклассная городская библиотека, музеи и т. п. Но все это так же чуждо городу, как бриллиантовое ожерелье на грязной шее. Все привозное, купленное за деньги, и ничего больше. Эти культурные учреждения напомнили мне рассказ Глеба Успенского, как миллионерша созвала гостей послушать «ее музыку» на усовершенствованном инструменте. Когда собрала гостей, она выдвинула на середину зала огромное кресло и с торжественным видом, как артист, выступающий на эстраде, грузно опустилась в кресло. И кресло заиграло сонату Бетховена. Это была «ее» музыка. Гости остались очень довольны, аплодировали и хвалили «артистку».

И несмотря на все это, я нигде не чувствовал себя так хорошо и радостно, нигде не жил такой интенсивной духовной

жизнью, как в Одессе в течение этих двух недель. Играла тут роль, конечно, не Одесса, а тот кружок лиц, в среде которого жил это время.

Очень любопытно, что именно Одесса, безграмотная вообще, и трижды невежественная в области еврейства, в течение полувека является центром еврейского духовного творчества. Здесь зародился и развился сионизм. Здесь жили первые пионеры просвещения — Лилиенблюм, Пинскер, Маргулис. Здесь уже полвека живет патриарх ново-еврейской литературы С. Абрамович (Менделе Мойхер-Сфорим). Кроме него здесь живут Х. Бялик, д-р Клаузнер, Усышкин, Д. Фришман, критик и поэт, Гохберг, Спектор, Фруг, а также Юшкевич и Осипович. Здесь единственная в настоящее время еврейская типография.

Все эти писатели, за исключением разве Юшкевича, живут обособленно от «города», как на островке. На этом островке я и провел все две недели. В первый же день встретившись с Бяликом, я просидел с ним от 2-х часов дня до 2-х часов ночи — и очень неохотно расстались. А на следующий день это повторилось с Менделе Мойхер-Сфорим и с Фришманом. И так почти все время. О чем мы беседовали? Трудно даже определить. О нашей старой письменности, о проблемах, которые в ней выдвинуты и ее художественных ценностях. Все, конечно, в свете современных запросов духа. И так ясно стало, что и 2.000 и 1.500 лет тому назад наши далекие предки волновались положительно теми же проблемами духа, над которыми бьемся и мы. И подходили к ним смелее, и решали их глубже и оригинальнее.

В этих беседах я чувствовал себя минутами в настроении антиквара, перебирающего старинные вещи. Лежала какая-нибудь ваза сотни лет в пыли, как ненужная и устаревшая. И вдруг присмотревшись к ней, увидели, что это шедевр искусства. Ее чеканные фигуры неподражаемы, по своей тонкой работе, по художественному вдохновению. Эта ручная работа неусовершенствованными инструментами и то чего не мог вычеканить молоток и выгравировать резец, дополняла душа художника. Любуешься этим произведением, чувствуешь его близость к современному настроению, сознаешь его ценность для будущих поколений художников.

Обыкновенно собиралась у нас компания такая: Менделе и Бялик — одесситы. Фришман из Варшавы. Молодой человек

Рабинович, книгопродавец из Минска, энциклопедически образованный в области старой письменности. И я из Петербурга. И каждый из нас принес и делился с другими тем, что он пережил, передумал и приобрел в своем месте. Походило немного на восточный базар, где съехавшиеся из разных мест купцы меняются товарами. Не знаю, как другие, но я многое приобрел от этого обмена, освежился душой после целых годов жизни в петербургской деловой сутолоке, при которой забываешь даже о больших вопросах. Для меня, конечно, не новы были сокровища нашей старой письменности. Но после этих бесед так ярко-ярко блеснуло сознание: как мы богаты! И я положительно был охвачен чувством глубокого счастья, которое позволило на время забыть о всех кошмарах сегодняшнего дня.

Вспомнил одно выражение из Вашего последнего письма. Вы называете себя «кающейся еврейкой». В слове «покаяние» заключается понятие о самоограничении. Кающийся постится, отказывается от некоторых радостей жизни. В таком смысле именно и понимается «покаяние» теми, которые были оторваны от еврейства и вернулись к нему. Ощущение у них такое, что они во имя национальной идеи отошли от чего-то универсального к маленькому и бедному, но своему. И в этом большая ошибка. Происходит она оттого, что те, которые жили вне своего народа, знают еврейство только с внешней его стороны, видят в нем только горе, страдание и нищету. Вернуться из яркого мира европейской культуры к покрытому язвами старому нищету, только потому, что он родной, конечно, подвиг. Но эти возвращающиеся не понимают одного, что нация живет не страданиями, а **восторгом сознания своего «я», радостным творчеством, гордостью своей культуры, поэзией своего быта. Только этим.** Не будь этого, еврейского народа давно бы не существовало. Более того, огромность страданий, которые еврейский народ переносит, свидетельствует и об огромности его духовных богатств, во имя которых он готов их переносить. На возвращение к еврейству можно и должно смотреть поэтому, не как на подвиг, не как на самоограничение, а как на «ввод в наследство», как на приобщение к огромному богатству, которым можно радостно и гордо жить.

Хотелось мне еще много-много писать Вам, охарактеризовать «Дедушку» Менделе, юношески живого в 80 или 84 года, Бялика, Фришмана; хотелось рассказать об этих общих впе-

чатлениях окружающей жизни, в которой царит все «временное», временная мораль, временные деньги, временное местожительство — и какое это может иметь влияние на будущее, когда придется вернуться в глубокую колею жизни. Но мое письмо и так разрослось до размеров трактата. Простите, если наскучил Вам. Но мне доставляет большую радость писать Вам...

Послезавтра 20-го еду читать две лекции «Сказки бессмертного духа» и «Легенды старых камней» в Кишиневе и Херсоне. Оттуда вернусь в Одессу, куда и прошу Вас написать по адресу Вагнеровская 4, Х. Бялику, для меня. Очень Вы меня обрадуете, если напишете.

*12 ноября 1916, Москва*

...К. С. Станиславский вполне одобрил внесенные в пьесу изменения, нашел роль «Прохожего» яркой и объединяющей, но посоветовал еще подумать над последней сценой, которая его не совсем удовлетворяет. Я спросил его, не считает ли он более подходящим совсем исключить появления Хонона и всю сцену превратить в монолог Лии, которая видит Хонона (как Вы посоветовали). Но он не понял меня и подробно развил, как можно показать Хонона в виде тени (весь в черном бархате, лицо как-то особенно загримировано и т. д.). Но это мелочь, на которой он не особенно настаивает. В общем он сказал мне следующее: «Вашу пьесу мы приняли к постановке в Студии, но она должна ждать очереди. Сейчас идут репетиции «Зеленого Кольца» Гиппиус. Как только они будут закончены, приступим к Вашей пьесе, но у нас совсем нет мужчин». Режиссер Студии Сушкевич сообщил мне, что на состоявшемся совете Студии моя пьеса была единогласно включена в репертуар Студии. Завтра будет у меня собеседование с тремя режиссерами Студии и некоторыми из главных артистов, которые будут играть Хонона, Цадика, Прохожего.

Таким образом считаю вопрос о постановке пьесы окончательно решенным.

С моим чтением здесь вышло маленькое недоразумение. Вечер назначен не на 18-20 ноября, как мне казалось, а на 22 декабря. В виду того, что зал Консерватории имеет только

1.000 мест, устроители устраивают два вечера — 22 и 23-го — оба по одной программе. Придется два раза читать одно и то же. Да я вообще боюсь связывать себя таким далеким сро-

ком. К тому времени могу очутиться в Галиции. Тем не менее рискну. В крайнем случае напишу и оставлю свою речь.

Настроение эти дни тихое, сосредоточенное и немного грустное, какое у меня всегда бывает в Москве. Больше всех городов в мире (кроме Иерусалима, которого никогда не видал и люблю, как сирота любит свою мать, которой лишился в младенчестве) люблю Москву, сильную, спокойную, здоровую с крепкими корнями и такой богатой культурой. Кремль приводит меня в умиление. А люди какие ласковые и самобытные. Извозчик, который вез меня с вокзала, с глубокой уверенностью заявил мне, что война продолжится 3 года и 3 месяца.

— Почему?

— Так в Библии указано.

— Где указано?

— Где не знаю. Только указано. Еще сказано: будут воевать три великих императора. Один умрет своей смертью, другой умрет от снаряда, а третий спобедит. А потом как замирение будет, начнется всюду внутренняя война на 4 года. И побьется весь народ, мало кто останется. Будет урожай богатый — а в народе будет голод. Некому будет снимать.

Точно из Апокалипсиса...

*4 декабря 1916, Киев, Новая ул. 1, кв. Мазора*

...Как глубоко тронуло меня, что Вы пришли проводить меня на вокзал. Вся дорога было радостно и в тихой сосредоточенности все время работала творческая мысль.

Люблю часы дальних поездок. Лихорадочная суতোлка всех дел, забот и мелких хлопот сразу обрывается, остаешься вдруг наедине с самим собою, точно встречаешь себя после долгой разлуки, и начинается незаметно интимная работа души. Происходит как бы обновление жизни. И достаточно одного дня такого одиночества и молчаливого самосозерцания, чтобы почувствовать себя как бы возрожденным и просветленным. Говорят, врачи советуют даже здоровым людям время от времени воздержаться в течение целого дня от пищи, чтобы организм отдохнул и чтобы залежавшиеся жировые частицы сгорели. Следовало бы, по тем же мотивам духовного характера, советовать человеку время от времени хотя бы в течение одного дня оставаться в полном одиночестве и молчании.

Единственно, чего боюсь при таких поездках, это встречи

с назойливым собеседником, который, как навязанный сосед тюремной камеры, насильно заставляет тебя слушать и отвечать ему. На этот раз такого собеседника не оказалось. Только утром, за несколько часов до приезда в Москву встретился и познакомился с В. Г. Чертковым (толстовцем). Встретились в проходе, остановились, глядя друг на друга, припоминая, знакомы ли мы или нет. Оказалось, что мы несколько раз встречались, знаем друг друга, но не знакомы. В последний раз мы сталкивались в коридоре суда во время недавнего процесса толстовцев в Москве. Я был на нескольких заседаниях этого процесса, слушал свидетельские показания дочерей и сына Л. Н. Толстого и Черткова. И насколько тогда меня очаровали своей непосредственной святостью некоторые из подсудимых толстовцев, настолько мне не понравилась речь Черткова, который, стараясь защищать своих единомышленников, сводил на нет принципиальную основу их поступка. При личной встрече он произвел на меня гораздо более благоприятное впечатление. Человек огромной интеллектуальности и, повидимому, большой духовной силы. Его толстовство какое-то аристократическое, волевое. Оно лишено обаятельности толстовства полу-юродивого Сережи Попова, явившегося на суд оборванным как последний нищий (он сын сенатора) и глядевшего на всех чистыми голубыми глазами невинной святости. Тот не понимал, как можно жить иначе, как не «по божески». А Чертков «все понимает» и в то же время в нем есть эта же прямая линия устремлений.

Между прочим, он просил меня побывать у него и познакомиться с кружком его друзей с еврейским народным творчеством. При случае непременно прочту у него небольшой доклад.

В Москве пробыл от поезда до поезда. Не успел ни повидать ни даже поговорить по телефону с кем-нибудь из Студии или Художественного Театра. За то успел в другом. Еще в прошлый раз, когда был в Москве, я вел переговоры с некоторыми лицами об издании собранных мною этнографических и исторических материалов, музыкальных произведений и альбомов художественных произведений (всего будет до 40 томов). На этот раз двое из лиц, с которыми я говорил, определенно обещали мне на это издание 10.000 рублей. Еще 5.000 обеспечено на издание художественного альбома. Это обещание имеет еще то значение, что заручившись им, я такую же сумму,

если не большую, получу и в Киеве. А с 30.000 руб. можно смело приступить к работе в широком масштабе. Между прочим, я уверен, что издание не только окупит расходы, но даст излишек.

По дороге в Киев заехал к сестре и провел у нее полтора суток. Это посещение меня сильно порадовало. Меня сильно беспокоило здоровье сестры, ожидал найти ее тяжело больной, а нашел в отличном физическом и душевном состоянии. Только изнервничалась и, не получая с неделю писем от сына, плакала беспрестанно. Теперь вместе со мной и сын приехал — и она расцвела. Это состояние сестры мне стало понятным, когда пожил два дня в атмосфере какой-то особенной семейственности, от которой я обычно так далек. Сестра живет вместе с дочерью и зятем, у которых трое детей. И насколько семья эта спаяна можете судить по тому, что зять сестры, мужчина 42-х лет, когда два его мальчика уехали в Брянск, чтобы поступить в гимназию, всю ночь плакал навзрыд, а дочка его, девочка 11-ти лет, здоровая и совершенно самостоятельная, когда ее отвезли в Москву и поместили в пансион, захворала от тоски по семье, слегла и ее пришлось взять домой.

Не успел приехать, как меня охватила со всех сторон эта атмосфера семьи и родственности. Стали меня закармливать, осматривать белье и платье, нашли десятки изъянов и охали по этому поводу. Тут же я узнал все мельчайшие детали о семье сестры, о каждом в отдельности, о родных, о местечковых знакомых. Сразу погрузился в какую-то мягкую перину местечковой обывательщины.

Приходилось ли Вам когда заходить в кухню большого зажиточного дома, где кухарка — женщина солидная, деловая и с достоинством носит свое звание? Вас сразу обдает густым теплом, немного затхлым и пряным, но приятным, от которого начинает слегка кружиться голова и является чувство приятной истомы. Нечто подобное испытал и я. Долго, конечно, не мог бы оставаться в этом «тепле», но два дня провел в нем с радостью. Приятно было это настойчивое, немного примитивное, почти назойливое, но очень искреннее внимание, интересно было слушать горячие рассказы об очень маленьких делах, уютно было вспоминать с сестрой о детстве, с удовольствием даже несколько часов играл в карты. И когда все это промелькнуло и я снова очутился в вагоне, в душе немного заще-

## ПИСЬМА С. АН-СКОГО

мило, жалко стало этого уюта, тепла с его интересами. И ложась спать, думал: как много поэзии, истинной, заправской, глубоко человеческой в этом «мещанстве», где люди живут тесно притулившись душой друг к другу. И какое право имею я и мне подобные брюзжать, гордо отворачиваться, как от чего-то низшего, от этой мещанской жизни? И вспомнил я Серēju Попова, толстовца, вспомнил других, живущих центростремительной жизнью, вспомнил всю этнографию жизни — и горько стало. А утром, когда проснулся, подъехал к Киеву, — забыл про эти мысли, ощущения и снова вернулся «к себе».

В Киев приехал в пятницу утром и сразу окунулся в здешние общественные интересы: ОПЕ, КОПЕ, ОЗЕ, инцидент на последнем собрании, выход президиума в отставку... возмутительное поведение оппозиции, и т. д. Все это пронеслось в первый день приезда. В первый же день начал хлопоты относительно моего назначения уполномоченным. Завтра утром это назначение, кажется, состоится и завтра же вечером, вероятно, уеду в Галицию. Моя поездка туда для организации помощи населению и раздачи теплого платья (сегодня отправляются отсюда 4 вагона вещей стоимостью в 193.000 руб.) в самом деле нужна. Теперь поеду всего на 10-12 дней. Затем вернусь, съезжу в Москву и после уже поеду на долгое время. Из Москвы хоть на день (числа 25-26-го) поеду в Петроград... Завтра высылаю Вам книги по этнографии, о которых говорил.

Всего Вам светлого.

*С. Раппопорт*

*Чертков, 15 декабря 1916*

...После 16-тмесеячного перерыва снова очутился в Галиции, которая вскипела в душе жгучим воспоминанием. Ожили прежние картины и настроения, точно не было этого долгого перерыва.

Всего неделя как я здесь, но кажется, что вечность. Все время в каком-то водовороте. За эти несколько дней перебывал в семи городах и местечках, пришел в столкновение с сотнями людей, проехал на подводах несколько сот верст по голым степям, где в некоторых местах еще свежи следы недавних гигантских битв и чудится запах крови; видел и слышал много горького и страшного. Все это скопилось в душе в хаотическом состоянии. Не успел разобраться в множестве впе-

чатлений, осмыслить их. Но одно ощущение выступило с самого начала: то, что видел теперь **более ужасно**, чем виденное полтора года тому назад.

Фактически положение галичан не только не ухудшилось, но значительно улучшилось. Правда, я видел города совершенно уничтоженные, напоминающие Помпеи, видел голых, босых, голодных и бездомных, слышал рассказы об ужасах, относящих нас к доисторическому времени. Но в сравнении с тем, что я видел и слышал полтора года тому назад — это ничто. Вместе с тем общее положение значительно улучшилось. Местное начальство несравненно лучше относится к евреям, режим менее строгий, нужда не такая острая, некоторые слои местного населения приспособились и даже хорошо зарабатывают.

Но вот именно то, что исчезла острота, что наступило приспособление — и произвело на меня самое страшное впечатление. Разрушенный снарядами и руками остервенелых людей город не производит того жуткого впечатления, какое производят например уцелевшие Тарнополь или Чертков, захиревшие, обескровленные, точно пораженные тягучей неизлечимой болезнью.

В прошлом году предо мной были мученики, герои эпической трагедии и это возвышало их, придавало их психике глубину и силу чрезвычайную. А теперь эти же самые несчастные, привыкшие, приспособившиеся к своему положению, превратились в профессиональных нищих.

Трагедия превратилась в бытовое явление. Люди привыкли к голодному прозябанию, к культурной оголтелости, к потере своего человеческого облика. Интеллигенты, которые в течение 2-2½ лет не имели возможности выехать за черту города, выйти из дома позже 9 ч. вечера, не принимали участия в общественной жизни, были лишены возможности заниматься своей профессией (адвокаты, чиновники, учителя), были отрезаны от родной литературы, ни разу не были в театре и т. д., — эти интеллигенты примирились со своим безделием, ненужным и нудным существованием, слоняются без дела. Научившись с грехом пополам читать по-русски они усердно штудируют ежедневно «Киевскую Мысль» и целыми днями рассуждают о русских внутренних делах. Другое занятие: и

старики и молодые учат наизусть Шиллера и Гёте. Своего рода спорт.

Еще более жуткое впечатление производят слоняющиеся без дела дети. До самого последнего времени были запрещены всякие занятия в школах. В последние дни они разрешены (с ограничениями), но в виду холодов большинство детей, не имеющих ни одежды ни обуви, не может выйти из дому.

Был я в «яслях», устроенных Земским Союзом. Там было 45 детей, большинство девочек 4-9 лет. В небольшой комнате с партами сидели дети на скамьях. Заведующая еще только собирается через некоторое время начать занятия с ними. А пока? Сидят по целым дням на скамьях и молчат. Иногда поют. Знают несколько солдатских песен по-еврейски, перенятых у раненых еврейских солдат. Одну они мне спели. Это плач матери по сыну, находящемуся на войне... Хотелось плакать, когда слышал, как тонкие голоса завывали:

«Oi, wei der Mamen, oi, wei der Mutter».

Приехал сюда в Чертков сегодня поздно ночью. Ехали шоссеной дорогой по снежной степи. Небо было свинцовое, но снег и лунность пробивавшаяся сквозь тучи позволяли различать окрестность. Устали лошади, шли медленно. Возница, мальчик еврей, не поворачиваясь ко мне, рассказывал, как выселили все местечко Подволочиск, где он жил, как их гнали в Киев, потом в Пензу. Как им разрешили вернуться, но когда их ссадили с поезда в Подволочиске, им не позволили оставаться в городе больше часа, как бросившиеся к своим домам и найдя их разоренными подняли вопль; как потом всех погнали пешком за 80 верст в Скалат, как по дороге умерли от голода и усталости старики.

Монотонный рассказ, с которым гармонируют и мутная слепая ночь, и силуэты черных воронов, бродящих по снежной степи. Но вот я закурил. Возница повернулся ко мне, чтобы тоже закурить и при свете спички я увидел юное, здоровое жизнерадостное лицо с живыми глазами. И понял я, что жизнь сильнее всех этих ужасов и победит она.

Падаю от усталости — и не хочется положить пера. Пишу Вам, ...точно беседую с Вами. Хочется рассказать еще про некоторые встречи. Здесь в Черткове был знаменитый цадик. У него целый дворец. Война застала цадика в Вене. Когда он узнал, что русские подходят к Черткову, он послал сюда своего

главного служку с таким наказом: «Поезжай. Тебя могут убить, ты можешь сгореть, но ты должен спасти хранящиеся у меня два письма Бал-Шема. — А золото и драгоценности? — Все это может погибнуть, только спаси письма». — И он поехал и пережил ужасы войны, был на волос от смерти, но спас письма. Все же остальное добро цадика, оцениваемое в два миллиона, погибло. Однако вернуться обратно он уже не мог. Для большей безопасности он зарыл в жестяной коробке святые письма в земле в погребу и затем несколько месяцев не мог приступить к погребу. Затем, когда он получил возможность, он нашел в погребу все перерытым и уничтоженным, но жестянка с письмами уцелела. Он их вынул и увидел, что в одном письме, писанном рукой Бал-Шема, «буквы улетели», осталась чистая бумага. Другое письмо, где только подпись Бал-Шема, уцелело.

Этого служку цадика я встретил сегодня утром в Копенгагене. Он мне все рассказал и показал оба письма. На одном еле заметна подпись. Другое же на старой полуистлевшей бумаге (письмо относится к 1753 г.), совершенно чистое. Конечно, буквы исчезли от сырости, но на хасидов этот эпизод должно быть произвел страшное впечатление.

*Москва 30 декабря 1916 г.*

...Хоть издали поздравить Вас с Новым Годом. Чего пожелать Вам? Не знаю. Не хочется повторять жалкого, ничего не говорящего слова «счастья». Разве пожелать гармонии в жизни? Это, может быть, самое большое, что нужно человеку.

Все время в Москве. Участвую в съезде по народному театру. Серая публика, неискренние, бледные речи, сотни раз повторенные и сотни раз забытые. Особенно неприятно звучит их сентиментальность и паточность. Помимо съезда время проходит нудно и бездельно. С пьесой (Дибук) ничего не налаживается. Режиссер Студии Сулержицкий нервно болен, и отправляется куда-то в санаторию, а Станиславский недоступнее министра. Признаться, у меня пропала охота пробиваться к ним. Не знал, что на пути к сцене столько низеньких дверей проходить надо. Бог с ними! Если пьеса хорошая — ее через 50 лет будут ставить без моего содействия, а если плохая — тем более не стоит возиться. А слава, — ей Богу, мало это меня интересует. Да и поздно о ней заботиться.

...Хотелось бы посидеть часок в Вашей уютной комнате, на диване в углу (очень там хорошо!) и что-нибудь рассказывать Вам, хотя бы содержание задуманной трагедии «Иосиф Дела-Рейна»... Я сделал одно печальное открытие. Люди дичают не только в глуши, при отсутствии людей, но и пожалуй еще больше от слишком частой встречи с людьми. Вертясь в шумном водовороте, встречаясь с тысячами людей, разучиваешься подходить к человеку. И когда вдруг оказываешься с ним лицом к лицу, иногда становится даже жутко. Вам это, вероятно, непонятно?

Посылаю Вам с оказией собрание моих сочинений, пять тошениких томиков. И это почти все. Грустно посылать их, как бывает грустно признаваться в своей бедности. Грустно — но не больше. *Mon verre est petit, mais je bois de mon verre!*

А как лукава логика человеческой психики. Ведь хотел послать Вам книгу, которая Вам была бы интересна и дорога, а посылаю то, что мне дорого.

Храни вас Господь,

*С. Ратнопорт*

*Киев, 21 января 1917 г.*

...Сию с моим другом и беседую. Его зовут Изик. Он меня любит и даже немного благоговеет предо мной. Я раза в четыре выше его ростом, а перед великаном нельзя не благоговеть. Он нежный и ласковый. В глазах у него очаровывающая душу чистота, и голос у него нежный и музыкальный. Он весь день ждал меня, а когда я пришел, не кинулся мне навстречу, не сказал ни слова, а тихо подошел, погладил меня рукою по колену и мягко взял за руку.

Теперь сидим на диване и беседуем. Мой друг еще не умеет читать, но у него большие интеллектуальные запросы — и я заговариваю с ним о литературе. Он отвечает, что бонна прочла уже ему все книги. Заговариваю об игрушках и узнаю, что у него уже имеются все игрушки. Я немного озадачен универсальностью и пресыщенностью моего друга и начинаю вместе с ним придумывать такие игрушки, каких еще нет. Хорошо было бы иметь игрушки, которые ночью оживали бы и пока мы спим играли бы с нами как мы играем с ними днем. Изик у эта идея нравится, но он опасается, что они могли бы нас разбить играя с нами в темноте. Тогда я предлагаю, чтобы у кукол

ночью глаза светились, как электрические лампочки. Это предложение принимается Изиком. Он увлечен. В каждом его слове, каждом движении столько чарующей искренности, правды и непосредственности, что начинаю думать не о куклах, а о людях. Еслиб хоть уголок земли был заселен такими маленькими, чистыми, правдивыми и кроткими существами!

Подходит молодая мать. У нее на пальце огромный рубин, а в ушах крупные бриллианты. Она покровительственно улыбается мне, но довольна, что я люблю ее сына. Чтобы подчеркнуть это, она советует Изику поцеловать меня. Он смущен, колеблется секунду, потом берет мою руку и целует ее. И мне тепло и радостно от этой ласки. А когда мать уходит, Изик тихо просит меня придти завтра и я ему тихо обещаю, что приду. И я инстинктивно понимаю, почему он при матери не просил меня придти и не поцеловал меня по ее просьбе.

Через час я на шумном собрании молодежи. В горячих дебатах звучат фразы о «демократических принципах», о «буржуазной психологии». В речах много рисовки, фразистости, задора, но прорываются искорки непосредственного чувства, простоты и прямоты. И в этих искорках улавливаю осколки души Изика. И хотя тут нет святой и трогательной цельности, эти искорки светят и греют.

Еще через час сижу на совещании одного комитета. Вокруг меня люди пожилые, деловые, усталые. И речи их тоже пожилые и усталые. И р ет холод, и нет ни искорки, ни света, ни тепла...

После совещания захожу в артистический клуб ужинать. Ко мне подсаживаются два «осведомленных» человека и шопотом, с увлечением передают последние политические сплетни, сенсационные, грязные и подлые. И кажется мне, что сижу в затхлом подвале и меня охватывает что-то липкое и нечистое...

Вот Вам целая гамма одного дня.

Задержался в Киеве из-за аптек и для получения пасхальной муки для Галиции. Уеду дня через 4-5. Пока работаю, кое-что заканчиваю, подготавливаю, но эта работа на бивуаках, без настроения, без души. И дни проходят пустые и будничные извне и в то же время большие и подчас красивые по внутренней душевной работе, по той интимной грусти, при

которой хочется оставаться наедине с собою, в своем собственном тихом храме, у своего алтаря.

...17-го вечером мысленно провожал Вас на вокзал. Ведь если бы Вы поехали сюда, Вы 17-го уехали бы. До того времени я мысленно переживал Ваше пребывание здесь, ходил вместе с Вами в Музей, в Кирилловскую церковь, где картины Рериха. А когда Вы уехали, я остался совсем — совсем один.

...Получил свои фотографии, снятые здесь. Вышелшие, без души, без выражения. Неохотно и не радостно посылаю их Вам... Получили Вы у Юдовина мою карточку? Были в Музее, рассматривали ли снимки, подготовляемые для альбома? Очень хотелось бы знать, что думаете об этом издании.

Сохраняю для Вас еще автограф Горького. Получил от него письмо с приглашением сотрудничать в «Луче»...

Работаете уже в Комитете? И несмотря на лютые морозы ездите каждый день туда? Вошли ли уже в работу?

Молюсь за Вас большому, сильному и ласковому Богу.

*Ваш С.*

*Скалат, 28 января 1917 г.*

...8 часов утра. Лежу в постели, укрывшись двумя одеялами и буркой. В комнате не более 6-7 градусов. Я только что проснулся, но у меня уже посетительница. Пожилая еврейка, она первая узнала, что ночью приехал «офицер из комитета» и поспешила первой ко мне. Стоит у тепловатой с вчерашнего печи и возбужденно говорит. Речь у нее картинная: «Были людьми — превратились в комья грязи». «Бог играет нами, как ребенок куклою, колотит нас головой об землю». У себя дома в Подволочиске, откуда она выселена вместе с другими, она была зажиточной хозяйкой. Теперь живет из милости у родственницы, получает кое-какую помощь от Комитета, но ей этого недостаточно. Будь она одна с мужем, не роптала бы. Но у нее две дочери. Всю зиму ходили без обуви. Теперь Комитет дал 18 рублей. За эти деньги и одной пары башмаков нельзя купить.

Плачет. Когда заговаривает о дочерях, слезы начинают литься из глаз. Такие красавицы, такие образованные — и как зачахли! Но вспомнит о другом — и рассмеется. Особенно, когда упоминает про Бога. Ей почему-то становится смешно, когда она упоминает о Нем. Точно говорит про какую-то большую и очевидную нелепость.

Слушаю ее, а перед глазами другое заплаканное лицо. Это было вчера в Тарнополе. Предо мною стояла девушка со строгим, монашеского типа интеллигентным лицом, голубыми глазами. Все лицо, облитое слезами, казалось под вуалью. Стояла неподвижно, держа прошение на имя Комитета. Содержание прошения знаю. Брат девушки по нелепому обвинению в шпионаже предан военному суду. Сестра, живущая уроками, кое-как сколотила 200 руб., пригласила из Киева адвоката. Но ему мало 200 руб. И она просит Комитет добавить адвокату гонорар. Если Комитет этого не сделает, брат ее может быть невинно присужден к смертной казни.

Успокаиваю ее, обещаю писать в Комитет, уверяю, что Комитет исполнит ее просьбу. Она молча слушает и слезы продолжают литься из глаз. Кто-то спрашивает ее о чем-то по-польски. Она поворачивается лицом к спросившему, отвечает, и в ее голосе, тихом и звучном, нет слез, точно откинула слезную вуаль, чтобы ответить. Чувствую, что слезы не связаны с просьбой ко мне, что они не для меня, а давно накопленные, постоянные. И кажется, что девушка даже не чувствует, что они льются у нее из глаз.

Эти слезы меня глубоко тронули и я помню их, а слезы теперешней посетительницы меня меньше волнуют. Ее, конечно, жалко, она нуждается, но не больше других. Пожалуй меньше.

Пока умываюсь — другая посетительница. Просит пособие, чтобы нанять учителя для сына, прошедшего пять классов гимназии. Спрашиваю, почему ему не достать уроков. Занимается. В конце концов оказывается, что считает ниже достоинства, чтобы сын давал уроки. А из Комитета получает. Но она недовольна. Она не хочет больше быть «интеллигенткой», а желает получать хлеб и молоко... Меня не удивляет это странное противопоставление. Получающие помощь разделены на две категории: интеллигентов, получающих без огласки денежную помощь, и простых людей, получающих продуктами. Но продукты дорожают и на суммы получаемые «интеллигентами» можно все меньше приобретать продуктов. Удовлетворяю ее просьбу.

Далее переходит к другому вопросу. У этой женщины родственница девушка лет 28. Когда я был здесь в прошлый раз, мы решили на заседании Комитета выдать ее замуж. Комитет назначил 100 руб., я и еще несколько человек дали по 50-ти

и сколотили 300 руб. приданого, без которых жених не согласен идти к венцу. Это большое событие — первая свадьба в городе с начала войны. Но явилось новое препятствие. Необходимо сделать невесте платье и белье, а жениху пиджак и сапоги. Сделать это из приданого нельзя — жених не согласится, а других сумм нет. А без нового платья невесту вести под венец невозможно.

Далее идут один за другим разные посетители. Раввин входит тихо, благочестиво, говорит мне, улыбаясь, несколько льстивых слов о моем добром сердце, о котором он уже раньше слышал, приводит подходящую цитату из Талмуда и затем уже объясняет, что 32-х рубл. в месяц, выдаваемых ему Комитетом мало для семьи в шесть человек. Но я знаю, что как раввин, он имеет значительные доходы в городе — и отказываю ему.

Приходят члены Комитета. Тут начинается внутренняя политика. Дело в том, что в Скалате, имеющем до 3.000 местных жителей евреев, находится 1.921 высленцев, преимущественно из Подволочиска. Киевский комитет оказывает помощь почти исключительно высленцам, совершенно разоренным. Что же касается местных бедняков, то мы считаем, что город очень мало пострадавший от войны и хорошо зарабатывающий от проходящих войск, должен им помогать. Вследствие этого наша месячная смета в 16.209 руб. 25 коп. распадается на 15.309 р. 25 к. для высленцев и 900 р. для местных. В здешнем комитете два местных и три подволочиских. Местные члены комитета недовольны таким распределением — и на этой почве происходит много дразг и недоразумений.

У меня сидит член комитета Белевич, молодой человек из Подволочиска. Производит чарующее впечатление, как характером так и лицом. Два года работает в комитете безвозмездно, не покладая рук. Что было у него — прожил. Теперь занимает у дяди, живущего в России, по несколько сот рублей и этим живет. Он жалуется на скалатских жителей. Они всегда были нищими и обращались к Подволочиску за помощью. А у нас все жили хорошо, почти в роскоши, хорошо зарабатывали. Они теперь и не могут примириться, что нам помогают больше, чем им. А между тем они прекрасно зарабатывают. Да и 15 тысяч, которые выдаются нам, тоже остаются в городе. Имеются 4.500 квартирентов, которые им платят.

И незаметно переходит на личные дела. Как-то особенно

просто рассказывает, что имеет невесту. Воспитывался с нею в одном доме. Ее отец хассид и раньше не хотел выдать ее за вольнодумца. Но теперь при общей разрухе, отец смягчился. Конечно, он (жених) не думает жениться пока война не кончится, но ему надо было, чтобы отец невесты дал согласие. А то найдется подходящий жених — и сговорятся.

Приходит другой подволочиский член комитета Мессинг, старик, имевший миллионное состояние и совершенно разоренный, проживающий теперь остатки. Он с умилением вспоминает, как сердечно по-братски помогали им русские евреи, когда их гнали из Подволочиска в Пензу.

— Остановились на поляне, возле какого-то местечка, не пускают нас в местечко, не позволяют брать воду из реки. Изнываем от жажды. Узнали в местечке — и пять молодых людей запряглись в водовозки и притащили пять бочек воды. Пришли в Винницу и жители уступили нам свои квартиры, кормили, поили, на дорогу надавали продуктов и рыдали над нашим горем. В Проскурове в Комитете видел, как жена резервиста, получавшая 1 р. 50 коп. в месяц пособия, отложила 50 коп. для нас. Вообще видел столько братского участия, какого никогда не ожидал. Теперь мы поняли, что такое русские евреи!

Переходим к комитетским делам. Оказывается, что Начальник уезда, шталмейстер граф Белявский-Жуковский прислал в комитет письмо с требованием объяснений, почему комитет почти не оказывает помощи скалатским нуждающимся и пригрозил закрыть комитет. Подволочиские члены комитета уверены, что это результат доносов скалатских членов комитета. Ходили они к графу, объясняли ему — и он просил, чтобы делегат Киевского комитета, когда придет, зашел к нему. Вся эта история мне крайне неприятна, противна. Но придется пойти к графу объясняться. Пока отправляюсь в комитет, где происходит раздача записок на продукты. Бледные, измученные лица, голодные глаза, чахлые дети, босые, в отрепьях. Еле живые старики. Меня облипает целая туча просьб, жалоб, молений. Только один старичек с добрыми-добрыми наивными глазами радостно подает мне руку, удерживает мою, крепко жмет ее и любовно глядит мне в глаза. Жду просьбы. Но он ни о чем не просит, а только говорит, что радуется, что снова видит меня (очевидно не в первый раз встретился со мною).

Идем смотреть жилища выселенных. Крошечные коморки,

## ПИСЬМА С. АН-СКОГО

поломанные кровати, тряпье, грязь, голые дети сидят в кроватях под лохмотьями, ручки у них покрыты язвами и струпиями (детская оспа). В одной комнатке стены внутри покрыты мерзлым инеем, в другой потолок провалился. Мой приход производит суматоху, хозяйка смущена, что-то прячет, стыдится своей нищеты, и мне стыднее чем ей, чторываюсь в ее нищету и беспомощность.

Заходил в богадельню. Семь стариков и две старухи, дряхлые, исчахшие скелеты. Особенно один, прямо мумия фараона, которую видел в каком-то музее. Принял меня за врача и попросил лекарства. «В груди все распухло и кашель не может выйти», шепчет он, глядя на меня единственным мутным взглядом (другой вытек). Еще старик весь одряхлевший, но с совершенно юными, прямо пророческими, проникновенными глазами. Он откуда-то издалека. При отступлении его арестовали, привели сюда и бросили. — Почему арестовали? спрашиваю. — Как почему? Не видите, что я шпион? Кажется на лице написано. — И хрипло смеется. И все старики и старухи смеются беззубыми ртами.

Иду на заседание комитета к председателю д-ру Эрлиху. Он скалатский. Лицом он очень похож на кота в «Синей Птице», крошечный подбородок, топорщащиеся усы и прищуренные глаза. Он «поляк Моисеева закона» и до начала заседания старается мне объяснить почему он не считает евреев нацией и почему ему поляк местный ближе иностранного еврея. Рассуждения не более убедительные, чем философия Е. С. На заседании комитета разбирается главным образом вопрос о «местных» и выселенцах. Д-р Эрлих и другой скалатский член комитета настаивают, что Киевский комитет должен оказывать большую помощь скалатским беднякам, что город очень беден и не может помогать своим нуждающимся и что эти нуждающиеся, видя какая широкая помощь оказывается выселенцам, горько ропщут и ходят жаловаться к графу. Может быть, это и правда. Я указываю, что лучший исход — это стараться вернуть выселенцев домой в Подволочиск, куда теперь разрешают вернуться. Но там все уцелевшие дома заняты войсками и некуда вернуться.

Иду к графу. Выхолненный красавец-аристократ, поразительно любезен и корректен. Встречает меня жалобой, что местный комитет пристрастно распределяет помощь, обходя

местных бедняков. Отвечаю ему, что местный комитет ни при чем, что он исполняет инструкции Киевского комитета, а последний помогает лишь жертвам войны. Подволочиские — все жертвы войны, а таких нуждающихся как в Скалате и в России сотни тысяч. Граф настаивает, что подволочиские все богаты, а скалатяне исключительно нищие. Указываю ему, что выселенцы из Подволочиска, лишённые крова, лишённые движимого имущества, которого не могли тащить с собою когда их гнали вглубь России, могли унести с собою только немного денег. И те, которые их имели, за полтора года проели их. Но самое лучшее будет дать возможность подволочичан вернуться домой. Тогда они не будут просить помощи. — «Я ничего не имею против, но их дома заняты войсками». — «Попросите, говорю я, гарнизонного начальника в Подволочиске, чтобы в каждом доме где 4-7 комнат, предоставили хозяину дома одну-две комнаты. Если дадите мне такое письмо, я надеюсь добиться этого». — «Охотно дал бы, но не могу. Требовать не имею права, а просить неудобно. Но обещаю постараться добиться этого».

На этом кончается беседа. Еще обещал дать по казенной цене три вагона реквизированной пшеницы для мапы для населения уезда. Это экономия в 10-12 тысяч рублей.

Собираю снова комитет, сообщаю о своем разговоре с графом и предупреждаю, что если впредь будут впутывать начальство в дела комитета, он будет закрыт в Скалате Киевским комитетом.

Снова в гостинице, снова посетители. Приходит пожилой еврей из Подволочиска, какой-то ползучий, шепчущий. Полунамёками дает понять, что оказываемая помощь никакого значения не имеет. Пожалуй 1.000 руб. для вдов и сирот надо было бы отпускать. А остальные? — Конечно, члены комитета себе не берут.. Но знаете... Возле денег... тепленькие места... А главное — употребите все усилия, чтобы нас вернули домой. Там опять станем людьми. А то превратились в пропащих нищих.

Как ни неприятен он мне, чувствую, что последние слова его истинная правда. Наскоро закусьваю. Велю запрягать, чтобы ехать в Гржималов. 8 часов вечера, темень, мороз, вьюга, но хочется вырваться отсюда. Много нищеты, горя, нужды, но самое гнетущее — ощущение проклятия, которое лежит на

деньгах, на милостыне, которая деморализует, убивает душу.

Последний посетитель юноша. Приходит с требовательным криком: Моя жена!.. Не ожидал, что он женат. Оказывается, у него уже второй ребенок родился. Неделя после родов. Теперь провалилась стена, чуть не убила их. Завесили дыру тряпками. В комнате как на улице, а дров нет! Пусть комитет даст двойной паек дров. Плачет, требует. И что-то красивое есть в его слезах и требовании. Точно он сознает, что имея жену и творя жизнь, он выполнил какое-то предназначение общечеловеческое и ему обязаны помогать. — Вот Вам подробный день. Хотел, чтобы Вы имели полную картину.

*Ваш С.*

*(Окончание следует)*

# 1917 ГОД

## РЕВОЛЮЦИЯ В УЕЗДЕ

Февральская революция застала меня в ссылке, в Черном Яре Астраханской губернии, куда я был выслан в административном порядке на 2 года из Петербурга в связи с работой моей в Рабочей Группе при Центральном Военно-Промышленном Комитете.

Как ни множились признаки надвигающейся грозы — а мы их ловили с чуткостью, только ссылкой и заключенным свойственной, из окружающей скудной действительности, а больше всего из газет и писем — все же революция явилась, воистину, яко тать в нощи.

Незадолго до этого ко мне приехала из Питера жена с детьми. Из ее рассказов я узнал многие подробности о нараставшем общественном движении, о деятельности Рабочей Группы в Военно-Промышленном Комитете, о партийных делах. Впрочем, о деятельности Рабочей Группы наша колония и без того была прекрасно информирована, благодаря обстоятельным письмам оказавшегося злостным провокатором студента Лущика, работавшего в секретариате Рабочей Группы.<sup>1</sup> Несмотря на бдительность почты (вскрывались, не без изряд-

---

\* Петр Абрамович Гарви (1881-1944) был видным членом РСДРП. Меншевик правого крыла, П. А. много работал в России в профсоюзном движении. В эмиграции, в Нью Йорке, выпустил книги «Воспоминания социал-демократа» (1946) и «Профессиональные союзы в России» (1958). Воспоминания П. А. о начале революции 1917 г. печатаются впервые. Мы их получили от сына П. А. — Ю. П. Гарви. РЕД.

<sup>1</sup> В первые же дни революции Лущик, перешедший со всем аппаратом Рабочей Группы на службу Исполнительного Комитета Петрогр. С. Р. Д., был разоблачен и арестован в Таврическом Дворце Б. О. Богдановым. Не знаю, когда и кем он был освобожден, но в 1918 г. он жил на юге. Его доклады Охранному Отделению о Раб. Группе отличаются обстоятельностью и бойкостью пера.

ной утечки, даже пищевые посылки на имя ссыльных), до нас довольно быстро доходили нелегальные издания и расплодившаяся в конце 1916 и начале 1917 г. апокрифическая литература оппозиционного характера. После убийства Распутина стало ясно, что обостренное военными неудачами оппозиционное настроение захватило даже высокбюрократические и придворные круги, а растущая дороговизна и продовольственные затруднения все больше разжигали революционные настроения среди рабочих. Стихийно складывался блок имущих классов и пролетариата для общенационального нажима на обанкротившееся и всенародно дискредитировавшее себя самодержавие. По имевшимся у нас сведениям, Рабочая Группа сознательно ставила своей задачей, оберегая политическую самостоятельность пролетариата, содействовать сплочению всех оппозиционных и революционных сил для подготовки победного натиска на самодержавие. Все растущая оппозиционность Гос. Думы, хотя и робкая, непоследовательная и нерешительная в своих проявлениях, выдвигала ее против воли на положение общенационального центра движения, а грубая тактика царской бюрократии по отношению к Гос. Думе объективно толкала последнюю на путь разрыва с властью. Рабочая Группа стремилась связать нарастающее революционное движение рабочих с Гос. Думой, как общенациональным центром оппозиционного движения с целью все больше толкать влево упиравшуюся, боявшуюся революционных выводов из революционного положения, Государственную Думу.

Но как раз подготовлявшаяся Рабочей Группой демонстрация рабочих у Таврического Дворца, назначенная, помнится, на 14 февраля, кончилась «провалом» группы и неудачей движения. Последние письма, полученные из Петрограда, были написаны в весьма минорном тоне. Неудача движения и разгром группы вызвали уныние.

Тем неожиданнее явилась для нас весть о революции. За день-два до того мы, ссыльные, узнали о каких-то обысках среди служащих уездного земства, о поисках гектографов, на которых что-то печаталось. Но все это казалось в порядке вещей, хотя в Черном Яре земские служащие вели себя тише воды — ниже травы, и набег на них казался подозрительным.

И вот, не помню 1 или 2 марта, в наш домик на самом краю города влетает ссыльная меньшевичка Ксения Александровна

ровна Панфилова еще с кем-то из молодых ссыльных. Вся растрепанная, прерывающимся от волнения голосом кричит:

— Революция! Революция!

Мы с женой вскочили с мест.

— Какая революция? Толком говорите!

— Революция! Земских служащих не даром обыскивали.

Исправник что-то скрывает. Он получил предписание от губернатора из Астрахани не оглашать сведений из Петербурга. Явно, революция! Говорят, у земских служащих действительно есть какие-то точные данные. Надо связаться с ними.

Подоспели другие товарищи — И. Кубиков-Дементьев, с. р. Митя, большевик Я. Шаров (портной, после видная «шишка» в Петрограде) и др. Ничего определенного и они не знали. Но уверенность в том, что «революция» совершилась, — абсолютная. И эта уверенность передалась сразу и мне. Дух захватило от восторга — и как тяжело было бы разочарование!

Мы побежали куда-то. По дороге повстречали тов. Грознова (с. р.), с. д. Катю Яковлеву, Ник. Петр. Смирнова (с. р.) и других. В течение двух месяцев в нашей колонии тянулся тягостный для всех раскол. Как всегда, по какому-то пустому поводу колония перессорилась и разбилась на две группы, прервавшие одна с другой всякие сношения. Но в это памятное утро мы встретились, как если б ничего не было между нами. В загоревшемся пламени революции без остатка сгорела ржавчина подневольной ссылочной жизни.

Земские служащие, которых мы разыскивали в рассеянных по городу учреждениях, знали немногим больше нашего. Сонное болото уездной земщины было, правда, взбудоражено, но толком никто ничего не знал. Из уст в уста передавались слухи, догадки, «факты».

Не помню в этот ли день или на другой я получил из Москвы от брата жены, Бориса Фихмана, телеграмму, рассеявшую все сомнения: «Поздравляю. Скоро увидимся. Все хорошо. Петя не бросайте Соню». Телеграмму эту все мы, ссыльные, комментировали весьма усердно. Явно, шурин мой опасался, что при первой вести о революции я помчусь в Питер. Иначе, как бы я ссыльный, не учиняя побега, мог бросить жену? И как бы шурин решился писать о моем отъезде в телеграмме?

Но с другой стороны — почему он прямо не написал о перевороте? Быть может, революция еще не совсем победила?

Или победила она в центрах, но шурин опасается, что телеграмму об этом не пропустит старая власть на местах?

Наконец, не знаю уж каким образом, в наши руки попал первый документ. Напечатанный на мимеографе текст отречения Николая II-го. Потом циркуляр Некрасова по железным дорогам, обращение ген. Корнилова и др. В здании уездного земства собралась возбужденная, опьяневшая от восторга, публика. Это было, кажется, в тот же день, что получились задержанные астраханским губернатором телеграммы. Что делать? Некоторые из нас, ссыльных, как Грознов, сейчас же пробуют взять дирижерскую палочку в руки. Мне почему-то показалось это навязчивостью — хочется, чтобы сами вот они, обыватели, взялись за дело, проявили революционную самостоятельность, инициативу.

В центре вопрос: как отнесутся казаки и инородцы к перевороту? Особенно — казаки. Хотя у последних во время войны настроение несколько изменилось, но все таки можно было опасаться взрыва монархической преданности. А местный гарнизон?

Наскоро вносятся предложения о посылке эмиссаров в казачьи станицы и киргизские поселения, об установлении связи с Астраханью и ближними городами, об обеспечении революционного порядка. Обсуждение этих вопросов вначале ведется беспорядочно и бестолково. Лишь на другом собрании решено было провести через собрание граждан предложение о выборе «десятских» от каждых десяти домов и об образовании из них «общественного комитета». Вскоре получилась телеграмма кажется, от Временного Комитета Гос. Думы или от Временного Правительства о передаче административных функций на местах председателям губернских и уездных земских управ. Задача как будто упростилась, но с другой стороны создалось несоответствие между революционной общественностью и земским деятелем, правда «прогрессивным», но изрядно упирившимся при каждом истинно революционном шаге.

Беспорядочные собрания ссыльных, земских деятелей и служащих с участием начальника гарнизона продолжались все время моего пребывания в Черном Яру, до 10 марта. Особенно активное участие в них принимали какой то инженер-подрядчик («жох», говорили раньше про него) и наш Грознов.

Самым ярким моментом было народное собрание на базарной площади. Откуда только народу набралось! Стар и млад, горожане, казаки, калмыки, солдаты. Инженер-подрядчик с красным от волнения и натуги лицом зычным голосом на всю площадь прочитал акт отречения, телеграммы Бубликова и Некрасова, приказы новых властей. Потом тов. Грознов разъяснял значение событий, призывая к самодеятельности, к соблюдению революционного порядка. Собравшиеся слушали внимательно. Никогда раньше мне не думалось, что эта темная, праздная обывательская масса, не читавшая газет, чуждая политики и общестственности, с таким энтузиазмом, полностью может принять переворот. С каким любопытством подходили отдельные обыватели к явившимся на митинг солдатам гарнизона, вступали с ними в беседу, словно для того, чтобы убедиться, что эти дети народа, вчера еще грозная опора царской власти, сегодня опора свободы. А эти «дети народа» из тыловых частей, мужики 30-35 лет, застенчиво отвечали на вопросы, упирая на то, что нынче свобода и все дружно на одном должны стоять. И они приняли переворот без раздумья. Только в поведении начальника гарнизона, «приявшего» революцию, как факт не столь приятный, сколь непреложный, чувствовалась натянутость и неловкость. Когда на собрании в земстве поднят был вопрос о представительстве солдат в общественном комитете, начальник гарнизона пожал плечами недоуменно, но все же, потрогав для чего то руками портупею, сказал:

— Что-ж, если нужно, я не возражаю.

Оторванные от своей пашни, семьи, села, бородатые тыловики жадно ловили вольные наши речи, но чувствовали себя первое время как-то стесненно «на равной ноге» с тут же присутствующим начальником своим, больше помалкивали или стесненно поддакивали. Надо было, как это мне доводилось в 1916 году, видеть раздирающие душу сцены прощания этих мужиков со своими семьями, в самый разгар полевых работ по уборке урожая, надо было слышать долго стлавшийся по равнотушной водной глади Волги зверино-жалостный вой может быть на веки осиротелых баб и детей, чтобы понять, какой вихрь надежд и ожиданий таился под степенной выдержкой тыловиков.

Мы ходили по городу именинниками. С нами все заговаривали, поздравляли «со свободой», справлялись, когда соби-

раемся домой. Тут же выражали сожаление, что вот без хороших людей останется городишко.

Помню, одна старуха на базаре все крестилась:

— Воистину, и на Пасху такой радости не бывает. Тогда один человек воскрес, а нынче — весь народ!

Наш водовоз, флегматичный, невероятно обросший волосами казак, узнав об отречении вслед за Николаем и Михаила, сказал в разговоре с моей женой:

— Что-же, и без царя можно, вроде как с президентой. Живут же, слышь, без царя в Америке. Выберем и мы на время президенту. Негоден — уберется, годен — на новый срок выбрать можно. Верно я говорю?

Каждый вечер устраивались митинги в помещении чайной, в аудитории-театре, что «на бульваре». Набивалось народу в них — не продохнуть. Мы гордо восседали на эстраде, а кто поречистее, выступал. В том самом помещении, куда нас полицейские лишь две недели тому назад не пустили на общее собрание местного кооператива, хотя мы и состояли в нем членами, теперь мы царили нераздельно: каждое наше слово звучало как откровение, каждое предложение, как декрет. Особенным успехом пользовался И. Кубиков (Дементьев),<sup>2</sup> докладывавший и комментировавший «последние известия». Он был мастер давать первые уроки политической грамоты невежественным обывателям.

А как же власти? Исправник сразу стушевался. О нем просто забыли на первых порах. Отношения с политическими ссыльными у него были хорошие. Но обыватели имели на него зуб. Он сидел у себя и ждал ареста. Но как-то в суматохе забыли арестовать этого ничтожного человека. Тогда он, опасаясь расправы со стороны обиженных им обывателей, сам взмолился: арестуйте меня! Секретарь полицейского управления, которого один из наших, кажется Д. Чертков,<sup>3</sup> готовил к экзамену «на чин», весело подтрунивал над добивавшимся своего ареста начальником.

Хотите посмотреть ‘дела’ ваши? — предложил он нам как-то.

---

<sup>2</sup> Рабочий-печатник, один из видных представителей рабочей с. д. интеллигенции, меньшевик, литературный критик.

<sup>3</sup> Давид Чертков — бундовец, после революции городской голова или председатель демокр. гор. думы в Саратове.

Мы отправились в полицию. Секретарь вытащил папки с «делами» политических ссыльных. Много их накопилось! Из чужих дел помню лишь «дело» тов. Айзенштадта-Юдина. Я разыскал свое «дело», стал читать, потом списывать. Это была справка из департамента полиции о краткой моей политической биографии — своего рода послужной список! — и с указанием на обстоятельства, вызвавшие мой арест и высылку в Черный Яр. «Был представителем Организационного Комитета Р.С.Д. Р.П. в Рабочей Группе Военно-Промышленного Комитета и вел в ней усиленную пораженческую агитацию». Подумал, какой же это провокатор мог дать обо мне такую неверную и невежественную характеристику? Я был весьма умеренным «интернационалистом», часто колебавшимся в своей «военной позиции», но никогда в сторону пораженчества, к которому неизменно относился резко отрицательно.

Тут же в полиции разыгралась характерная сценка, разгадку которой я узнал позже, в Петербурге. Одна из наших ссыльных девиц, Ксения Александровна Панфилова, прочитав свое «дело», чуть в обморок не упала:

— Да ведь это знали только **свои**, кровно близкие: я, Катя, Соня, Нина и ее жених, Лущик. Кто же мог **им** это рассказать?..

Увы, негодяем оказался интимный друг этой группы, их акуратный корреспондент студент Лущик, о котором я уже говорил.

Я свое «дело» списал, но брать не хотел и другим не советовал. Если растащить «дела», потом не соберешь их. Надо оставить для архива революции.

Другим представителем местной власти, имевшим к нам, ссыльным, отношение, был начальник почтовой конторы. На него у нас был «зуб». Как я уже упоминал, он с каким-то особым рвением вскрывал нашу корреспонденцию, даже пищевые посылки. Мы с первых же дней подняли вопрос о его смещении. Недопустимо, чтобы в момент революции почтово-телеграфные сношения находились в руках отъявленного монархиста!

Когда мы по личным делам пришли в почтовую контору, старый наш Шнекин с физиономией и повадками гоголевского чинуши, сразу стал неузнаваем. Лебезил, клялся в своей невиновности: «начальство наседало, как я мог не подчиниться!»

Молил не губить его на старости лет, не пускать по миру семейного человека, был жалок и смешон. Помнится, его оставили, чтобы не дезорганизовывать дела, но приставили к нему молодого почтового чиновника, еще до революции тайком от начальника передававшего нам письма невоскрытыми.

Мы спешно готовились к отъезду. Любопытный эпизод. Когда колония обсуждала вопрос о колониальной библиотеке, любовно составлявшейся поколениями ссыльных, я предложил сдать ее такой общественной организации (напр., союзу земских служащих, который не замедлил организовать), у которой когда-нибудь ссыльные могли бы получить ее обратно. Признаться откровенно, я не очень то обдумал свое предложение. Но какая же буря поднялась!

— Неужто вы, Фома неверующий, полагаете, что и после этой революции, когда царя сбросили и армия перешла на сторону народа, будет политическая ссылка?

Я не оправдывался, сконфузился: «В самом деле, что же это я?» Мог ли я думать тогда, что не победившая царская реакция, как после 1905 года, а коммунистическая диктатура «именем революции» восстановит позорный институт административной ссылки и вновь населит все эти Черные Яры и Чердыни, Великие Устюги и Тужински новыми заключенными? А как бы пригодилась теперь наша библиотека новой колонии ссыльных в бескультурных условиях нынешней ссылки!

Не все политические ссыльные готовились к отъезду: были среди нас один-два из числа, высланных из Подольской, кажется, губ. за «шпионаж». Это были евреи, жертвы наветов, среди которых случайно оказались и наши товарищи. Только месяца два спустя по распоряжению Керенского, кажется, они получили свободу.

Дни и вечера уходили на хлопоты, собрания, митинги, сборы. Но и ночи были тревожны. Не спалось. Мыслью уносился туда, в Петербург, откуда приходили скупые сведения. Много было не ясно, многое казалось неожиданностью. Как-то там наши? Не растерялись ли, да и есть ли там кто? Одни были в ссылке, другие в эмиграции, третьи, как Г. Д. Кучин и А. Э. Дюбуа, на фронте. Революция вспыхнула, когда руководящих людей в Питере было до смешного мало. Да и те, что были, тянули в разные стороны: оборонцы и интернационалисты. Но самое главное: **что делать с войной?** Что русская революция

пробила брешь в этой стене мирового безумия, было ясно. Надо кончить войну, взяв за исходный пункт русскую революцию. Но Россия одна не может выйти из войны. Русская революция должна вновь вызвать к жизни Интернационал и положить начало международной борьбе за мир. Надо сразу же обратиться к народам мира от имени русской революции, русского пролетариата, а о таком обращении что-то не слышно. «Война, начатая правительствами, должна быть закончена народами». Эта фраза из декларации социалдемократической фракции Гос. Думы, в составлении которой принимали, к слову сказать, участие Ф. А. Череванин, Г. М. Эрлих и я, казалась пророчеством и указанием. И вот я, ворочаясь без сна в постели, надумал послать Н. С. Чхеидзе телеграмму о необходимости немедленно от имени Сов. Раб. Деп. обратиться ко всем народам, к пролетариям всех стран, с предложением объединиться в дружном интернациональном усилии, чтобы добиться начала мирных переговоров на принципе «без аннексий и контрибуций». Телеграммы я не послал, так как решил, что и без меня догадаются. И точно — догадались. В день моего возвращения в Питер, 14 марта, я попал вечером на историческое заседание С. Р. Д. в здании Морского Кадетского Корпуса, где принято было известное «обращение к народам всего мира».

Сборы наши подходили к концу. Начиналась распутица. Снег таял, и на немощеных улицах Черного Яра стояли огромные лужи, в которых отражалось веселое весеннее солнце. На Волге у берегов были широкие закраины, и все труднее было попадать с берега на дорогу, тянувшуюся посредине реки. Путь становился ненадежным, и жена стала уже побаиваться, не опасно ли везти детей по такой дороге, не благоразумнее ли будет выждать первых пароходов. Для меня такая отсрочка — недели на две — казалась чем-то вроде измены революции. К счастью, случай положил конец колебаниям.

Дело в том, что по городу пошли слухи о том, будто казаки, недовольные переворотом, собираются итти в город и громить революцию. Равенство граждан они будто бы истолковали как лишение казачества привилегий и как уравнивание их не только в правах, но и в собственности с горожанами («граждане»-горожане). Казачество владело лесными и водными угодьями и опасалось поравнения с «иногородными», т. е. с неказачьим населением.

Передавали, как достоверный факт, что из Астрахани навстречу взбунтовавшимся, якобы, против революции казакам отправлены верные революционные войска и рабочие. Но столь же достоверным казалось, что прежде, чем прибудет помощь из Астрахани, казаки учинят в уездных городах в первую голову погром политических, как главных виновников переворота.

Я ни одной минуты не верил этим слухам, которые оказались раздутыми и даже вздорными. Но жена моя, опасаясь за судьбу детей, из двух опасностей выбрала меньшую — риск провалиться под лед.

10 марта мы тронулись в путь. Встречные горожане, бабы на базаре напутствовали нас сердечными пожеланиями. С грустью и завистью смотрели на нас немецкие военнопленные. Мы их утешали надеждой на скорое окончание войны. Ведь революция это мир, — думалось и верилось тогда.

Кое-как спустились мы на санях с крутого яра, с трудом выползли на лед и тронулись на колесах по Волге. Вода местами доходила до осей. Было немного страшно за детей. Но пересиливало чувство свободы, жажда борьбы, сознание грандиозности событий, навстречу которым мы двигались по непрочному льду, трещавшему местами под тяжестью телег. Волга казалась облитой весенним солнцем. Черный Яр остался позади, а впереди скоро заалели на мачтах у Владимирской пристани алые знамена революции.

С большим трудом, чуть ли не по расходившимся льдинам, удалось нам выбраться на берег — обратно ямщики уж не решались ехать по Волге. Наш переезд, как уверяли на станции, был все-таки рискованной операцией.

На станции мы провели несколько часов в ожидании поезда. За эти несколько часов пришлось многое пережить. Мы с женой, первые из политических ссыльных «обратников», попавших на станцию, естественно сделались центром внимания. Кое-как устроили детей у сторожихи и вошли в общий «зал». Там, то и дело, с озабоченным деловитым видом проходили взад-вперед железнодорожные служащие и рабочие с красной повязкой на руке. Ко мне сразу же обратились с просьбой сказать речь. Я отнекивался, ссылаясь на то, что я не оратор, что вот через несколько часов приедут более красноречивые товарищи. Не помогло. Условились, что через час будет собрание,

и я буду говорить о необходимости профессионального объединения. Пока собирали публику, на моих глазах разыгралась любопытная сцена.

Делегация от ж. д. служащих и рабочих явилась на станцию, чтобы убраться, кажется, даже арестовать начальника станции.

— За что вы меня, старика? — плакался перепуганный начальник станции.

— Не знаешь? — выступил вперед рабочий ж. д. депо. А вспомни-ка, как ты над нами измывался? Ну, ка, припомни, кто на фронт отправил такого то, только за то, что нашим выборным был? А он на фронте погиб, жену с детьми оставил... Молчишь, гадина?..

Старик оправдывался, ссылаясь на строгость высшего начальства, на суровые приказы, на невозможность делать послабления, молил о пощаде, обещал верой и правдой служить народу. Был жалок.

Собралась толпа.

— Да что на него глядеть? — раздалось в задних рядах. — Теперь плачется, а тогда, небось, орал на нас, душил, вампир этакой!

Дело пахло самосудом. Депутаты вспомнили обо мне и попросили «разобрать дело», а то «как бы чего не вышло».

— Вот товарищ — политический-ссылный, значит, — пусть разберет.

Как ни отнекивался, пришлось вмешаться. Убедил толпу не омрачать первых дней свободы кровавым самосудом. Пусть дело передадут местному комитету жел.-дор. служащих, тот разберет и вынесет постановление. А пока пусть старика отстранят от работы, и если это невозможно по техническим условиям, то пусть приставят к нему кого-нибудь для контроля.

Не сразу успокоилась взволнованная толпа. Видно, много накопилось обид на старого жел.-дор. служаку. Все-таки удалось предотвратить самосуд.

Между тем зал набился битком. Пришлось выступать с речью. Говорил о старом режиме, о том, как сгнил он, как пал под напором всех классов. Общий натиск был нужен для свержения царизма, но каждый класс в революции преследует свои особые цели. Рабочий класс должен стремиться не только к

закреплению политической свободы в демократической республике, но и добиться ряда социальных завоеваний, как опорных пунктов для дальнейшей борьбы за социализм. Необходимо добиться свободы коалиций, 8-час. рабочего дня, широкого рабочего законодательства. Для всего этого нужно объединиться в самостоятельную рабочую партию под знаменем социалдемократии и одновременно в профессиональные союзы. От степени классовой организованности рабочих — профессиональной и политической, — от их сознательности и выдержки будет зависеть в значительной степени и мера их завоеваний в буржуазной революции, ибо революция социалистическая еще невозможна.

Слушали внимательно. Аплодировали. Потом жена рассказывала, как во время речи один ж. д. рабочий сказал ей:

Хорошо говорит. Вот наш, русский, никогда так не скажет!

По странному совпадению еще до начала моей речи один из рабочих обратился ко мне с вопросом:

— Вы из каких будете?

— Из политических ссыльных, — отвечаю.

— Да я не про то. Из русских или из евреев?

Вскоре после моего выступления под вечер приехали из Черного Яра другие товарищи. Веселой ватагой проехали мы дальше, на магистраль, по узкоколейке. Дементьева-Кубикова еще с кем-то из наших на дрезине возили куда-то на соседнюю станцию на митинги. Товарищи были в состоянии какого-то упоения. На станции рабочие сами перегрузили наш багаж, усадили нас в вагон, провожали громкими приветствиями.

*П. А. Гарви*

## РУССКИЕ ПОДВИЖНИЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

*Мы печатаем воспоминания Марии Михайловны Кульман (урожденной Зерновой), умершей в Лондоне 8 августа 1965 г. М. М. была одной из выдающихся женщин в русской эмиграции. Эти записи были сделаны с ее слов ее братом проф. Н. М. Зерновым, когда болезнь уже лишила М. М. возможности писать свои воспоминания.*

*М. М. — дочь известного московского врача Михаила Степановича Зернова, родилась 10 марта 1902 года. Высшее образование получила в Югославии, где была первой женщиной, окончившей в 1926 г. Богословский Факультет Белградского Университета. Переехав в Париж она занялась работой среди русской молодежи. Ею было организовано Содружество молодежи при Русском Студенческом Движении за рубежом, знавшее своих участников с Русской Церковью, историей и литературой. В 1929 г. М. М. вышла замуж за швейцарца Г. Г. Кульмана, занимавшего впоследствии пост заместителя Верховного Комиссара по делам беженцев при Лиге Наций. До войны 1939 г. Кульманы жили в Женеве. И здесь М. М. не забывала о русских. Ею были организованы летние бесплатные каникулы в швейцарских семьях для русских детей из Франции. Накануне второй мировой войны Кульманы переехали в Лондон, где в их доме была устроена школа для русских детей. По окончании войны М. М. создала Пушкинский Клуб, целью которого было знакомить как русских, так и англичан с русской культурой.*

*Предлагаемые записи описывают события, относящиеся к годам юности Марии Михайловны Кульман. РЕД.*

### МОНАХИНИ ХОПОВСКОГО МОНАСТЫРЯ

Я была первой из среды русской молодежи в Белграде, открывшей путь в Хоповский монастырь. В нем нашли свое временное пристанище инокини Леснинской обители, покинувшие Холмщину во время войны и после многих скитаний попавшие

в Сербию. Монахини возглавлялись игуменьей Ниной и схимонахиней Екатериной, основательницей Лесны.

Я отправилась в путь одна поздней осенью 1922 года. Фрушка Гора, на которой находился Хоповский Монастырь была в 70 километрах от Белграда. Поезд довез меня до станции Рума. Надо было идти пешком еще около 20 километров. Утро было морозное, деревья разукрашены пушистым инеем. Я быстро зашагала. Сперва прямая дорога шла по плоской придунайской равнине, но после маленького городка Ирига она стала обвивать гору; густой лес обступил ее со всех сторон. Вскоре через просветы голых ветвей я увидела зеленые купола монастыря, построенного в барочном стиле. До 1918 года Фрушка Гора была частью Австрийской Империи.

Я шла с молитвой, не зная ни как меня примут монахини, ни того что я смогу получить от встречи с ними. Первой меня заметила послушница Домна, ставшая впоследствии моим близким другом. Она так обрадовалась мне, что я сразу почувствовала, что буду здесь желанной гостьей. Она отвела меня в келию Ольги Владимировны Обуховой, почитательницы и верной спутницы Епископа Веньямина (Федченко, 1882-1962), жившей гостьей при монастыре. В ее келье, светлой и очень тепло натопленной, меня и поместили. Отдохнув, я была представлена игуменьей Нине, которая благословила меня провести несколько дней в Хопове.

Так началось мое знакомство с этой замечательной общиной. В этот мой первый благословенный приезд я близко узнала матушку Екатерину, отца Алексея Нелюбова, духовника монастыря и многих инокинь, я прикоснулась также к чудотворному образу Леснинской Божией Матери, углубившей и освятившей все пережитое мною в эти памятные дни.

Игуменья Екатерине (урожденной графине Ефимовской, 1850-1925) было уже за 70 лет, когда я познакомилась с нею. Она уже давно (1908) передала управление обителью своей преемнице Нине, но сохранила всю живость своего ума и памяти. Она с исключительным теплом встретила меня. Я имела с ней ряд незабываемых бесед, она охотно делилась со мною опытом своей жизни и поведала мне свои заветные мысли. Для нее особенно дорого было то, что я училась на Богословском Факультете так как она всегда настаивала на важности высшего богословского образования для русских женщин.

Отцом матушки Екатерины был граф Борис Ефимовский, мать — княжна Хилкова. Ее родители были людьми преданными церкви, с любовью соблюдавшие ее обряды и предание. Она с ранних лет стала увлекаться русской литературой, когда ей было 19 лет она сдала экзамены при Московском Университете, ее повести и рассказы печатались в «Русском Вестнике» и других журналах. На нее обратили внимание Тургенев, Маркевич и другие литераторы. Впоследствии она была в переписке с Достоевским. Ближе всего по духу она чувствовала себя со славянофилами особенно сблизившись с семействами Киреевских и Аксаковых. Большое влияние на нее оказал С. А. Рачинский, основатель православной сельской школы в своем родовом имении Ташеве. Но ни литература, ни светская жизнь не удовлетворяли ее до конца. Она хотела отдать себя всецело на служение церкви, мысль о монашестве все чаще волновала ее. Ее желание однако не встретило ни в ком сочувствия, семья и знакомые считали это необдуманным порывом неопытной молодости, не сознающей всей тяжести монашеского подвига. Духовенство не доверяло серьезности ее намерения, а один из архиереев заявил «от бального платья к клобуку пользы не будет никому». Даже ее друзья славянофилы отговаривали ее от этого шага, считая что она сможет сделать больше для церкви и просвещения оставаясь в миру. Но зов к монашеству звучал в ней все сильнее и она решила искать указания у знаменитого оптинского старца Амвросия (Гренков, 1812-1891). О. Амвросий тогда уже не вставал с постели из-за своей болезни и лежа принимал посетителей. Но увидав незнакомую девушку он встал и возложил на нее свою монашескую мантию, сказав «перед тобою большой путь, будешь игуменьей». Эти пророческие слова решили судьбу молодой графини. В 1885 году ей было поручено строительство Свято-Богородицкой общины в Лесне. Сначала у нее было 5 сестер и две девочки-сиротки. В 1889 году она приняла постриг и община была преобразована в монастырь. Накануне войны 1914 года в Лесне было 400 монахинь, 100 служащих и воспитывалось до 700 детей. Община имела 6 церквей, школы, больницы и другие многочисленные здания. На Троицу и на монастырские праздники сюда стекалось до 30 тысяч паломников и до 40 священников съезжались, чтобы исповедывать и причащать толпы богомольцев.

Мать Екатерина говорила мне, что она приняла монаше-

ство не для того чтобы забыть о мире, но для того чтобы преобразовать его. Она была основоположница деятельного женского монашества, она верила, что наступает время, когда русской женщине придется взять на себя защиту церкви и всю тяжесть борьбы за сохранение православной культуры. Она делом и словом старалась возродить древний орден дьяконис и ее усилия почти что увенчались успехом. Только война и революция воспрепятствовали учреждению дьяконис в русской Церкви.

Она сама увлекалась Богословием и сумела привлечь в Лесну многих высоко образованных девушек. Она была убеждена, что для многих русских женщин изучение богословия может быть путем к богопознанию. Сама она творчески искала решения трудных догматических вопросов, не удовлетворяясь трафаретными ответами.<sup>1</sup> Так например она не могла примириться с возможностью вечных мук, находя их несовместимыми с верой в Бога любви и милосердия. Ей были очень близки мысли Достоевского об искупительной силе красоты. Ее аскетический путь не угасил в ней интереса к литературе, одно из любимых ее произведений была «Суламифь» Куприна.

Она много рассказывала мне и о своих наблюдениях над русскими крестьянками, говорила, что «русская женщина жаждет подвига, она готова ночи простаивать на молитве, пост самый суровый не страшит ее, но труднее всего для нее это послушание, монахини на западе отказываются от своей воли, но русская инокиня редко способна на это. Их привязанность к миру связана с их материнством, когда я стала принимать сирот на воспитание, то я встретила упорное сопротивление, многие говорили «самой большой жертвой для нас при пострижении был отказ иметь своих детей, а теперь мы должны нянчиться с чужими сиротами и заботы о них возвращают нас в мир». Для самой же матушки Екатерины, главным был подвиг любви, который она дерзновенно ставила выше аскезы, хотя сама она вела подвижническую жизнь.

---

<sup>1</sup> Игуменья Екатерина подарила мне на память в мой первый приезд в Хопово несколько своих сочинений: 1) Ответ на письмо Свенцицкого самому себе. Сергиев Посад. 1907, 2) Диакониссы первых веков Христианства, Сергиев Посад. 1909, 3) Христианство нашей школы и Христианство Слова Божьего С.П.Б. 1910.

Кроме этих вдохновительных бесед с мудрой старицей, у меня было много разговоров с инокинями. Меня особенно занимал вопрос, что привело их к монашеству. Большинство из них охотно отвечало на мои расспросы. Больше всего я сблизилась с послушницей Домной, первой встретившей меня на пороге монастыря.

### ПОСЛУШНИЦЫ ДОМНА И МАРИЯ

Домна была уже немолодой женщиной, но как и другие инокини в Лесне считалась послушницей так как постриг большинство монахинь принимали лишь в конце жизни. Домна рассказала мне, что когда ей было 12 лет, она увидела во сне огромный крест, закрывавший все небо и услышала голос Христа, говорившего: «Вы опять распинаете меня своими грехами». После этого ее потянуло начать жизнь странницы. Ее родители сначала не хотели ее отпускать, но видя ее непреклонность, согласились отдать ее в монастырь. Она ушла из дома в поисках обители, которая была бы ей по сердцу, нашла Лесну и навсегда в ней осталась.

Другая монахиня Мария, поразившая меня своей хрупкой красотой, рассказала мне, что в молодости была привлекательна, весела и многие хотели жениться на ней, но она всем отказывала. «Хоть и была я веселая, но без Христа мне все было скушно», говорила она. «Теперь я потеряла здоровье и жду смерти, тогда я по-настоящему встречу с Ним».

### МАТЬ МИЛЕНТИНА

Совсем особое место в моих отношениях с Хоповскими инокинями занимала моя дружба с матерью Милентиною. Она была одной из первых вступивших в Леснинскую обитель, поэтому мать Екатерина ее особенно любила. Она была купеческого происхождения и получила некоторое образование. Когда я встретила ее с ней, ей было уже много лет, ее маленькое личико покрытое морщинами было похоже на печеное яблоко. На этом сморщенном лице выделялись ярко голубые глаза, как две светло синенькие пуговицы. Она часто зажмуривала их когда говорила со мной и тогда из них текли слезы. У нее был дар ясновидения, который она прикрывала юродством. Часто во время службы она подходила к молящимся и быстро говорила им на ухо несколько отрывистых слов. Но эти слова

никогда не были случайны, а отвечали на внутреннее вопрошание богомольца.

Так однажды я приехала в Хопово очень расстроенная, случившейся со мною неприятностью: когда я садилась в поезд в Белграде у меня украли мой кошелек. В нем были все мои деньги и мой билет, но что было особенно огорчительно для меня, в кошельке находился также ключ от дома наших знакомых и важное письмо моего отца к одному доктору в Белграде, которое я обещала немедленно доставить по моем возвращении. Несмотря на эту потерю я все же решила продолжать мой путь. Кассирша, поверив мне на слово, дала мне новый билет, за который я обещала ей заплатить по возвращении. Добравшись до Хопова, я пошла в церковь, там шла служба. Молясь, я была раздвоена в моих мыслях, я не знала должна ли я была просить Бога помочь мне или же мне не надо молиться о деле, которое все же было «пустяком». Когда я произнесла мысленно это слово, мать Милентина быстро подошла ко мне и шепнула на ухо «у Бога нет пустяков». Я была поражена, она прочла мои мысли и ответила на мой недоуменный вопрос.

Мое приключение кончилось самым неожиданным образом. Вернувшись в Белград, я пошла к доктору, чтобы объяснить ему потерю письма. Увидя меня в своей приемной, он сразу вызвал меня в свой кабинет. Он был взволнован и спросил, не могу ли я объяснить ему непонятное происшествие: он показал мне только что полученное им письмо. Оно было от моего «доброего» вора. В нем он благодарил доктора за деньги и возвращал ему кошелек, в котором были билет, ключ и письмо.

Помню и другой случай. Мать Милентина подошла ко мне и другим молящимся и стала говорить нам: «молитесь о Федоре Михайловиче Достоевском, о спасении его души, молитесь. Он все предвидел, все описал. Книга есть, названа именем, которое не приведи Господи назвать в церкви».

При игуменстве матери Екатерины мать Милентина прислуживала в течение многих лет в алтаре и очень ревностно относилась к своим обязанностям. Всегда первая приходила она в церковь и содержала все в образцовом порядке. После смерти матушки Екатерины игуменья Нина назначила ей другое послушание — пасти гусей! Мать Милентина приняла это

как наказание за грех гордости. Она попросила перевести ее в подвал и выбрала себе темную келью без окна. Она смотрела на свое унижение, как на путь к усилению молитвы. Гуси стали ее друзьями и наставниками. Она выпускала их до восхода солнца и проводила с ними весь день, обращаясь с ними как с разумной Божьей тварью, здороваясь с ними утром, прося прощенья вечером и крестя их на ночь. «Гуси слушают меня, они открывают мне тайны тварей», говорила она, «а ведь на нас лежит вина перед всеми ними».

Со мною мать Милентина была всегда особенно хороша. Она подарила мне свою иконку, а когда я выходила замуж, прислала мне в подарок стаканчик и несколько гусиных перьев. В письме она объяснила, что стаканчик это чаша полноты, а перьями надо выметать все зло из дома. Мать Милентина умерла в 1934 году.

### СТРАННИЦА ЛИДИЯ

Разговаривая с монахинями в Хопове, я часто слышала имя странницы Лидии. Она покинула Хопово незадолго до моего приезда, прожив там около года. Она видимо произвела глубокое впечатление на всю обитель, многие считали ее святой и поражались ее подвигам. По их рассказам она зимой и летом ходила босиком, в легком ситцевом платье и повязывалась белым платком. Питалась она водой и травами. Зимой Хоповская церковь совсем промерзала и монахини, привыкшие к суровой жизни, все же одевали валенки и закутывались в теплые платки, поверх зимних ряс и все же с трудом выдерживали холод храма. Странница же Лидия простаивала длинные службы в своем летнем платье, стоя на каменном полу без чулок в легких туфлях. Она очевидно не чувствовала мороза. Монахини рассказывали также, что она проводила все ночи напролет в молитве, обычно уходя для этого в лес окружавший монастырь. Несколько раз монахини видели ее стоящей на молитве и были напуганы необычайными явлениями, сопровождавшими это ночное бдение. Они слышали странные звуки, а иногда холодный вихрь кружился вокруг нее. О. Алексей Нелюбов, опытный и мудрый духовник обители, впоследствии ставший исповедником многих русских из Белграда, приезжавших специально говеть в Хопово, подтвердил мне, что рассказы о подвижничестве Лидии не были преувеличены. Он также сказал,

что сам не чувствовал себя способным быть ее духовным руководителем и потому благословил ее желание вернуться в Россию, чтобы найти там нужного ей наставника. Лидия решила идти пешком через Румынию и потому покинула Хопово. Монахини не знали, удалось ли ей перейти советскую границу. Меня очень интересовали эти рассказы о необычайной страннице. Слушая их я не предполагала, что мне не только придется встретиться с ней, но даже принять участие в ее странной судьбе.

Года через два после моего первого посещения Хопова в 1924 году я увидела в русской церкви в Белграде монахиню, поразившую меня своим лицом. Будто какой-то свет исходил от него, особенно удивительны были ее синие глаза. Увидав ее я подумала, вот такое лицо должно было быть у странницы Лидии. С дерзновением юности я подошла к ней при выходе из церкви и прямо спросила ее: «Кто вы?» Она не удивилась моему вопросу и ответила: «Меня зовут мать Диодора». Услышав это незнакомое мне имя я прибавила: «А я думала, что вы странница Лидия». Она видимо совсем не ожидала этого и с живостью спросила меня: «Да, я была Лидией, а вы откуда обо мне знаете?» После этого мы тут же на церковном дворе вступили в самую оживленную беседу. Мать Диодора рассказала мне, что она приехала в это же утро из Румынии, чтобы увидеть сербского Патриарха и получить от него монастырь для своих монахинь. Она не знала где она могла бы остановиться и я предложила ей поселиться в нашем «Ковчеге» на Сеньяке, так называлась наша хибарка, где жили мои братья и сестра и еще несколько близких наших друзей. Мать Диодора с радостью согласилась, так как денег у нее не было. Она прожила у нас несколько дней и по вечерам у нас были длинные разговоры, заходившие далеко за полночь. Она рассказала мне многое из своей жизни. Родилась она в Киеве, в семье врача. Фамилия ее была, кажется, Дохтурова. Когда ей было лет 12, она впервые задумалась о Боге и начала молиться, чтобы Он открыл ей себя. Сперва она молилась перед отходом ко сну, но постепенно стала отдавать этой ночной молитве все больше и больше времени. Наконец она решила уходить для молитвы в сад и проводила там всю ночь. Когда же она дошла до того, что не чувствовала больше ни холода, ни усталости, началось ее странничество. Родители не могли остановить ее, но сначала

она все же зимой возвращалась в Киев, где продолжала учиться в гимназии. Ее любимым предметом была русская литература. Характерно, что она считала Маяковского и футуристов более духовными, чем Блока и символистов, т. к. по ее мнению Маяковский нашел путь к обнаженному человеку, он коснулся его духа. Желание всецело отдать себя молитве овладело ею, но оставалось еще последнее препятствие — ее привязанность к искусству. Когда ей было 17-18 лет она пешком пошла в Италию. По дороге туда у нее была необычайная встреча. Когда она шла по горам на юге Франции, ее остановила, вышедшая из своего домика, женщина и сказала: «Я вас все время ждала. Бог открыл мне, чтобы я вас приняла у себя». Это была русская по имени Серафима Коноплева, жившая отшельницей в горах около Канн. Мать Диодора прибавила: «Мы полюбили друг друга как свои души. Я провела у нее несколько дней, беседуя о Боге и молитве».

Попав в Италию Лидия ходила из одного города в другой, чтобы «проститься с красотой». И тут она поняла, что искусство потеряло власть над нею, что создания Возрождения стали для нее, как игрушки для взрослых, они не могли больше удержать ее в мире. В церкви в Бари при мощах Николая Угодника она молилась прося указания, куда ей идти. Незнакомый человек подошел и сказал: «иди в Черногорию, там живет Святой, который будет твоим Наставником». Она так и сделала. В Черногории она поселилась в пещере, где пребывала в молчании и молитве. Сначала она питалась лишь травами, но пастухи заметили ее и стали приносить ей каждое утро кукурузный хлеб. Так она жила пока не встретила людей, которые духовно помогли ей. Когда все что они могли ей дать было исчерпано, она нашла того Святого, о котором ей было сказано в Бари. Он посоветовал ей идти в Хопово, а оттуда она пошла в Румынию, желая вернуться в Россию.

По дороге она остановилась в одном из женских монастырей в Бессарабии. Там жила юродивая мать Диодора, она не мылась, не причесывалась, говорила несуразно, считалась выжившей из ума и была всеми презираема. Когда Лидия собиралась переходить границу, эта бедная и жалкая юродивая подошла к ней и сказала: «Я хочу посвятить тебя в тайну. Бог открыл мне, что мне осталось мало жить. Мое юродство — принятая личина, которая покрывает подвиг молитвы за Россию

и за мир». Она поведала страннице Лидии глубины духовной жизни и это было для Лидии как бы новым посвящением.

Через несколько дней после этой беседы мать Диодору нашли около реки умирающей. Когда ее принесли в ее келию от нее шел свет. Глаза монахинь открылись и они поняли, что они гнали и презирали святую. Она умерла, причастившись Святых Таин, благодатная и осиянная своей полной отдачностью Богу.

Потрясенный священник постриг странницу Лидию и дал ей имя Диодоры. В монастыре произошел раскол. Часть монахинь хотели выбрать игуменьей вновь постриженную подвижницу. Мать Диодора не желала углублять раскола. Она решила вернуться в Сербию с частью сестер, где ей был обещан монастырь недалеко от Цариброда на Болгарской границе.

Во время этих ночных разговоров мать Диодора сказала мне: «Когда вы будете на юге Франции непременно найдете мою возлюбленную душу, Серафиму Коноплеву и передайте ей мой привет». Я была удивлена этим поручением. Мы жили тогда в далекой Сербии, в большой бедности и я никак не думала, что попаду на юг Франции, которая казалась нам недоступным миром. Но мать Диодора опять повторила: «Непременно встретитесь с Серафимой, когда будете там».

### ОТШЕЛЬНИЦА СЕРАФИМА

В 1927 году я попала в Ниццу. Остановилась я у наших друзей. Когда я упомянула имя Серафимы Коноплевой, то услышала совсем необычайную историю. По их словам она считалась святой, жила одна в горах, и приходила в церковь только раз в год на Пасхальную Заутреню. Ее все почитали и зная ее подвижническую жизнь, посещали ее прося молитв. Но вот прошел странный слух, что эта подвижница соединила свою жизнь с казаком по фамилии Тархановым, бродягой и пьяницей и даже разбойником, недавно выпущенным из тюрьмы. Мои друзья не знали верить или не верить этим слухам, и были в большом недоумении. В то лето у меня не было времени приступить к розыскам Серафимы, но я просила моих друзей, узнать где живет отшельница и передать ей, что я привезла ей привет от странницы Лидии.

На следующее лето я снова была на юге Франции. Во время разговора с Владыкой Владимиром (1873-1959, будущий

эксарх для Западной Европы), я спросила его, что он знает о Серафиме Коноплёвой, рассказав ему также о поручении данном мне матерью Диодорой. Владыка заинтересовался моим рассказом и сказал, что я должна непременно разыскать Серафиму. По его словам она действительно жила одно время с каким-то русским бродягой, но несколько месяцев тому назад она ушла от него и теперь скрывается где-то в Монте Карло. Владыка хотел, чтобы я увидела ее и сказала ей, что она должна закончить то, что начала и что он благословляет ее на брак с Тархановым, тем более что у казака был мальчик от какой-то другой женщины и Серафима начала его воспитывать. Когда же я спросила, где я смогу найти Серафиму, Владыка сказал, что ни он и никто из его знакомых не знает ее адреса, но по слухам какой-то сапожник в Монте Карло может отвести меня к ней. Владыка прибавил: «Если вы готовы посвятить ее розыскам целый день, вы наверно найдете ее».

Через неделю я поехала в Монако. Был жаркий безоблачный день. Я знала что если Серафима все еще была в Монте Карло, она должна была скрываться в верхней части города, населенной ремесленниками, и более бедной частью населения княжества. Там я начала заходить в маленькие лавочки, покупать какую-нибудь мелочь и расспрашивать торговков, не знают ли они что-нибудь о русской, раньше долго жившей одной в горах, а теперь поселившейся в их городе. Словоохотливые торговки охотно вступали со мной в разговор, расспрашивали меня и обо мне самой и о моей знакомой, но никаких полезных сведений мне сообщить не могли. Также безуспешны были мои расспросы сапожников. Ни один из них не мог ничего о ней сказать. Я уже начала терять надежду отыскать Серафиму, как к моей великой радости неожиданно напала на ее след. Один старичек-сапожник сказал мне, что слышал о такой русской, сам он не знает, где она живет, но все же указал как пройти к какой-то портнихе, которая была с ней знакома. Портниха приняла меня с недоверием, сначала ничего не хотела говорить, но когда я объяснила, что прислана епископом с важным поручением, то она мне объяснила, что действительно знает Серафиму, но адреса ее сказать не может, т. к. ее друг скрывается от всех. В большом горе я объявила ей, что, кроме поручения владыки я привезла еще и поклон из Сербии и знала, что Серафиме важно было меня повидать. При этих словах портниха

воскликнула: «Так это вы передавали ей этот поклон! Серафима рассказывала мне о нем и о том, что хотела бы вас увидеть. В таком случае пойдете. Я отведу вас к ней». Мы пошли по узким крутым улочкам до самого края города, вошли в какой-то двор и в конце его в маленький домик. В очень чистой, но почти голой комнате я увидела Серафиму. Она встретила меня так, как будто ждала. У нее была прозрачное лицо с правильными чертами. Трудно было сказать какого она возраста. Ее карие глаза, безцветные губы, весь ее облик был полон изящества, тонкости, духовности и какой-то бестелесной женственности. Одета она была в очень простое серое платье, но оно было хорошо сшито и шло к ней. Мы сразу стали говорить о самом важном. Я рассказала ей о владыке и его совете. Она приняла его спокойно, сказав: «Владыка считает, что я должна выйти замуж? Хорошо. Скажите ему, что я вернусь через несколько дней и сделаю то о чем он говорит».

После этого она рассказала мне о своей необычайной судьбе. По ее словам с ранней молодости она хотела послужить отверженным и несчастным. Еще в России молоденькой девушкой она ходила по тюрьмам, строила планы создать дом для уличных женщин и помогать им вернуться к лучшей жизни. Уже в России у нее было желание посвятить себя молитве. С годами она все глубже погружалась в нее и наконец, уйдя от всех, она всецело отдала себя молитве. Попав во Францию она удалилась в горы и жила там несколько лет совсем одна, наняв маленький домик у одной женщины. Когда та умерла, домик оставила ей. Местное население приняло ее и она чувствовала себя в полной безопасности.

Однажды к ней пришел русский бродяга и потребовал у нее ночлега. Она приняла его. Желание ее молодости послужить отверженным осуществилось, но совсем не так, как она это предполагала. Она стала жить с Тархановым, он привел своего сына и она занялась воспитанием этого одичавшего ребенка. «Чувство, что я могу помочь этому человеку, спасти его от страшного загула и пьянства, и этим вернуть ему Божий образ принудил меня пойти на этот путь», сказала она. «Я не знаю правильно ли я поступила или нет, но молитву я не потеряла, а она стала еще горячее в моей душе. Когда мне передали, что кто-то привез мне поклон от странницы Лидии, я очень обрадовалась, но с тех пор потеряла покой, не зная нуж-

но ли мне вернуться к отшельничеству. Я решила уйти от Тарханова и с тех пор скрываюсь здесь, так как он ищет меня. Теперь я вернусь к нему». Говорила она все это так просто, как будто рассказывала мне историю случившуюся не с ней, а с кем то другим. Она прибавила: «Я все хотела спасти погибших женщин, а теперь стала одной из них». Мы расстались. Чувство мира и света унесла я от этой удивительной встречи.

Больше Серафиму я никогда не встречала, но это не был конец этой истории. Через несколько недель я получила письмо от Тарханова, в котором он требовал от меня вознаграждения за понесенные им убытки. Он писал, что привет из Сербии, привезенный мной, дорого обошелся ему. Благодаря отсутствию Серафимы он лишился крова и пропитания и должен был отдать своего сына в чужую семью за плату. Он перечислял все понесенные им убытки и настаивал на том, что я обязана оплатить их. На письмо я не ответила и денег ему не послала.

Что случилось с Серафимой я не знаю, а судьба матери Диодоры была следующая. Во время изгнания русских из Югославии правительством Тито, ее должны были выслать во Францию, французское правительство давало визы духовным лицам.

Мать Диодора просила высылки в Россию, но т. к. это было невозможно, то она выбрала Албанию, говоря: «Монахи должны искать не покоя, а страдания». По слухам она в Албании продолжает свой монашеский подвиг.

### ПОЕЗДКА В МОНАСТЫРЬ МАТЕРИ ДИОДОРЫ

После моей встречи в Белграде с матерью Диодорой, бывшей странницей Лидией, меня потянуло посетить ее обитель, но это было не легко осуществить. Сербский патриарх дал в ее распоряжение покинутый после войны, маленький монастырь, расположенный в окрестностях Цариброда, на самой Болгарской границе. До него было трудно добраться. Однако я не оставляла этой мысли и нашла себе спутницу в лице Лиды Шатаевой, молодой вдовы, члена нашего братства Св. Серафима Саровского. Она, как и я, непременно хотела увидеть мать Диодору и ее монастырь. Мы списались и назначили день нашего паломничества. Это было летом 1925 года. Я проводила лето вместе с моими родителями в «Враньской Бани»,

Лида жила в Белграде. Мы условились встретиться на станции в Цариброде, а оттуда идти пешком в монастырь. Накануне моего отъезда мои родители сказали о моей поездке о. Косте, священнику сербу, у которого мы снимали нашу дачу. Он пришел в ужас и стал настаивать, чтобы мы отказались от нашего плана. Он говорил что сербо-болгарская граница продолжает быть местом, где все время происходят вооруженные столкновения, что нас могут убить и даже следа нашего нельзя будет отыскать, что вообще это неслыханное дело двум девицам одним идти пешком через лесные дебри. Мои родители, конечно, взволновались, они стали спрашивать других сербов и те все подтвердили опасения о. Косты. Несмотря на уговоры моих родителей, я не хотела отказаться от моего намерения. Я настаивала, что мне непременно нужно увидеть мать Диодору. Кроме того было уже поздно предупредить Лиду об отмене поездки. В конце концов мне удалось успокоить родителей так как я убедила моего брата сопроводить нас до монастыря. На следующее утро очень рано, мы отправились в путь. Около 3 часов дня мы были в Цариброде, где нас уже поджидала Лида. Я думала, что мы без труда узнаем, как дойти до обители. Но в действительности это оказалось совсем нелегко. На все наши расспросы мы получали самые неопределенные ответы. Никто не мог нам указать, где находится монастырь и сколько времени нужно, чтобы дойти до него. Все очень сочувствовали нашему желанию посетить монахинь, добрые слухи о которых достигли Цариброда, но местные жители еще не собрались побывать у них. Нам говорили, что монастырь находится далеко в горах, что дорога к нему заросла лесом, что ведут к нему лишь горные тропинки, известные одним пастухам. Итак, получив только общее указание в каком направлении нам надо идти, мы бодро двинулись в путь. Лида и я не сомневались, что мы с Божьей помощью найдем монастырь. Мой брат был менее оптимистичен, но и он не хотел спорить о нами. Сперва мы шли по хорошей дороге, после двух часов быстрой ходьбы мы свернули на горную тропинку, она повела нас извилистыми зигзагами, то спускаясь в долины, то поднимаясь на гребни гор. Вокруг был дремучий, девственный лес. Мы не встречали ни одной души. Тропинка то пропадала то вновь появлялась, стало темнеть, Лида бодро распевала церковные песнопения, мы продолжали идти не видя никаких

признаков приближения к монастырю. Мой брат начал волноваться, провести ночь в лесу было рискованно, вокруг — дикие звери, кроме того мы могли легко по ошибке перейти болгарскую границу, а это грозило арестом и многими неприятностями. Он настаивал на нашем возвращении в Цариброд, но мы и слышать об этом не хотели, мы верили что найдем монастырь. Стало совсем темно, зажглись яркие звезды, мы упорно продолжали идти вперед, и вдруг к нашей величайшей радости до нас донесся в ночной тишине отдаленный звон колокола. С удвоенной энергией мы ускорили шаги, но монастырь продолжал скрываться в лесу. Даже звон колокола то приближался, то совсем замирал. Была уже полночь, мы сильно устали, но уверенность, что мы уже недалеко от монастыря помогала преодолевать утомление. Наконец взобравшись еще на новую вершину, мы увидели где-то внизу огоньки свечей и услышали пение. Монахини служили полунощницу на дворе, стоя со свечами вокруг своей церкви.

Лида торжествовала, она верила в помощь Святителя Николая и, как она нам потом сказала, она всю дорогу просила его довести нас до монастыря. Спустившись вниз мы присоединились к монахиням, никто из них не удивился нашему неожиданному появлению в такой неурочный час. Это была незабываемая служба, она длилась до двух часов утра. У матери Диодоры было 30 монахинь, все они были русские из Бессарабии. Пели они прекрасно, молодыми, сильными головами: «Се жених грядет во полунощи и блажен раб его же обрящет бдяще, недостоин же паки его же обрящет унывающим». Это ночное бдение, в лесу, под звездным покровом потрясло нас, особенно мой брат был восхищен красотой этой службы. Когда полунощница кончилась нам отвели комнаты для ночлега и мы заснули крепким, счастливым сном молодости.

На следующий день мой брат решил возвращаться домой, чтоб успокоить наших родителей, а мы еще остались на целую неделю в этом чудесном монастыре. Мать Диодора была строгой игуменьей, сама она питалась только отваром трав. Все утро она проводила в молчании, монахини соблюдали трудный Афонский устав. Ели они лишь овощи. Хотя у них и были козы и огороды, но жили они все же в большой бедности.

Поразило меня лицо матери Диодоры; оно было молодое,

свежее с нежными красками; монахини тоже были главным образом молодые, некоторые из них были настоящие красавицы. Жили они совсем отрезано от мира. Только по праздникам к ним на службу приходили иногда окрестные «селяки» как сербы так и болгары. Они были совсем разные и по одежде и по тому как молились. Болгары были маленького роста, черные, более благочестивые, но и более примитивные, их женщины, опускаясь на колени, садились на свои ноги, часто крестились, вслух повторяя слова своих молитв. Сербы ставили свои свечи и недолго оставались в церкви.

Мы всецело разделяли жизнь монастыря, вставали ночью на полуношницу, не пропускали ни одной службы. Во время трапез соблюдалось молчание, очередная монахиня читала жития святых певуче и красиво. Тут у нас случилось искушение. Среди этого благочестивого молчания на Лиду и на меня вдруг напал мучительный смех и это стало повторяться каждый раз. Мы старались удерживаться, но наши усилия пропадали даром, мы оставались до конца беспомощными жертвами этого нежеланного смеха.

### СЕСТРА ЕВГЕНИЯ

Монахини любили беседовать с нами. Они гуляли с нами. Особенно запомнилась мне одна из них, сестра Евгения. Ей было лет 20, она была исключительно красива. Ее небольшое тонкое лицо было освещено чудесными голубыми глазами, она посла коз. По моей просьбе она рассказала мне о себе. Ее рассказ произвел на меня столь глубокое впечатление, что я запомнила многие ее выражения. Начала она так: «Зовут меня Евгения, я не достойна ни неба ни земли так как я великая грешница, простите меня» и при этих словах она низко поклонилась нам. Это введение так тронуло меня, что мне тоже захотелось поклониться ей до земли и просить ее простить меня.

Из ее дальнейших рассказов мы с Лидой узнали, что она была родом из Одессы, ее мать до революции служила прислугой, отец и брат стали большевиками, тем отрекшись от христианства. Мать сильно горевала и Евгения решила поступить в монастырь, чтобы замаливать грех отступников отца и брата. До этого она была лучшей ученицей в школе, и получила в награду сочинения Пушкина. Тут она нас спросила: «Читали вы этого писателя? Я очень полюбила его», — и прибавила: «Я

даже знаю много его стихов наизусть, а одно есть у меня особенно любимое, хотите я вам прочту его?» Мы конечно попросили ее прочесть нам ее любимые стихи и с нетерпением ждали какое стихотворение будет выбрано красавицей-монахиней. К моему великому изумлению сестра Евгения стала читать нам с большим чувством: «Был на свете рыцарь бедный» любимое стихотворение Достоевского, вокруг которого он построил трагическую, раздвоенную любовь князя Мышкина к Аглае и к Настасье Филипповне. Я была потрясена до слез всей необычайностью этой сцены: монастырь, затерянный в дебрях Балканских гор, русская инокиня, читающая нам стихи Пушкина, в которых звучит поэзия средневекового рыцарства с его культом Прекрасной Дамы и все это на фоне большевистской революции, выкинувшей и ее, и меня, и Лиду из России, и бросившей всех нас в этот дикий лес на границе между Болгарией и Сербией.

Сестра Евгения хорошо знала всего Пушкина, особенно она ценила «Станционного Смотрителя» — «это, как сама жизнь», — говорила она. Она сказала мне: «когда моя мать благословляла меня на иночество то она завещала мне искать святых людей, а в то время большевики уже стали гнать христиан и закрывать монастыри, поэтому я перешла границу, найдя в Бессарабии обитель готовую принять меня и я стала в ней послушницей».

Монашеский подвиг, уставные службы и постоянная молитва полюбились ей, но вскоре случилось событие, которое вырвало ее из тихой жизни мирной обители. В их общину пришла молодая девушка и попросила принять ее. «Она была совсем особенная», сказала сестра Евгения, «и руки у нее были не такие как у нас и все у нее было непохожее на нас». О себе эта женщина ничего не говорила но пошел слух что она не простая девушка, а сама великая княжна, спасаемая от своих убийц-большевиков, и теперь скрывающаяся под видом послушницы. Когда эти слухи стали распространяться и люди начали приходить в монастырь чтобы посмотреть на таинственную инокиню, она так же внезапно исчезла, как раньше появилась. После ее ухода сестра Евгения не имела больше покоя, она не могла дольше оставаться в монастыре. Бросив все, она пошла разыскивать беглянку. После долгих поисков ей удалось найти ее живущей в маленьком домике. Незнаком-

ка приняла сестру Евгению, сказав: «хорошо, будем жить вместе как две сестры».

Жили они душа в душу и была Евгения счастлива, но вскоре снова поползли слухи о великокняжеском происхождении отшельницы и в один день она опять бесследно исчезла. На этот раз все попытки найти ее окончились бесплодно и сестра Евгения вернулась в свой монастырь.

Быстро пронеслись дни нашего пребывания в монастыре и пора было отправляться домой. При прощании у меня была знаменательная беседа с матерью Диодорой, она сказала мне: «я знаю, что у вас есть стремление к монашеству, но это не ваш путь, ваша дорога лежит на запад», и она снова повторила слова, сказанные ею мне в Белграде: — «когда вы будете во Франции не забудьте передать мой привет Серафиме Ивановне Коноплёвой». Она считала вообще, что монашество в его привычных формах приходит к концу, «чтобы быть инокиней в современном мире надо быть пламенной», говорила она, «а таких теперь почти нет, а те которые идут в монастырь лишь по увлечению, то о них грустно и думать».

### СИБИРСКАЯ БОГОМОЛКА

Мы ушли из монастыря рано утром вдохновенные и обновленные. Шли мы с Лидой счастливые и дружные, земля пела под ногами. Узкая тропинка то подымалась то опускалась. Мы прощались с горами, с лесом, со святой обителью. На середине пути мы сели отдохнуть под большим дубом и вдруг из-за поворота показалась фигура, которая совершенно поразила нас. Навстречу нам шла настоящая русская богомолка, повязанная платком, с палкой в руке, с катомкой за плечами. Подойдя к нам, она спросила — «сеструшки, я слыхала, что здесь монастырь есть, так вот как пройти к нему». Она с такой простотой обратилась к нам, что видимо ни минуты не сомневалась что и мы русские. Мы начали закидывать ее вопросами: кто вы, как вы сюда попали, почему решили что мы русские? Она обрадовалась, узнав, что мы только что покинули монастырь, села рядом и стала охотно рассказывать нам о себе.

Она была маленькая но крепкая старушка с выдающимися скулами на обветренном лице. У нее были живые, светлые глаза, от нее веяло русским севером, таким далеким от этих гор и лесов. Мы узнали от нее, что зовут ее Ксенюшка (а нас она

начала сразу звать Марьюшка и Лидьюшка), что муж ее был зажиточный крестьянин, родом они были из Сибири. Еще до начала войны муж ее увидел во сне что антихрист хочет завладеть русской землей и услышал голос, звавший его на дело проповеди. Он разделил все имущество между детьми, завещал им жить в мире и по Божьему закону, жалеть нищих и помогать им, а сам решил начать странничество. Ксенюшка последовала за ним. Называла она его «старчиком» Романом. И так стали оба они ходить по Руси. «А Рассея наша», говорила она, «без конца и края». Обошли все обители, поклонились мощам святых угодников, встречали многих и праведников и грешных. Потом началась война, а за ней пришла и революция. После нее многие стали слушать старчика и каяться, даже красноармейцы. Был же ему дан особый дар трогать окаменевшие сердца неверующих. Его проповеди навлекли на него преследования большевиками, наконец где то на севере около Архангельска их обоих арестовали и под конвоем повели в концентрационный лагерь. С дороги им удалось бежать и укрыться в такой непроходимой чаще, где «никто никогда не бывал».

Так они прожили все лето, «и не голодали», прибавила рассказчица. А когда наступила зима и стало ясно что их гонители потеряли их след, они двинулись на Юг, пересекли всю Россию без денег и документов, но тогда еще было довольно добрых людей, дававших им кров и пропитание. Добрались они до польской границы. Пошли дальше, им удалось благополучно добраться до Болгарии. Там они расстались. Старчик почувствовал приближение смерти и хотел умереть на Святой Горе, а жене завещал постричься в одном из женских монастырей. С этой то целью и шла Ксенюшка к матери Диодоре.

Мы слушали ее бесхитростную повесть с глубоким волнением, Ксенюшка была для нас подлинным осколком святой, верящей в чудеса Руси. Для Лиды, выросшей в городе, это была первая встреча с православным народом. Она в это время мучилась вопросом о христианском отношении к войне и шопотом сказала мне, что хочет узнать мнение об этом странницы. Я пыталась отговорить ее, считая такой трудный вопрос неуместным. Но Лидия все же задала его. Ксенюшка нисколько им не смутилась, наоборот живо отозвалась на него, сказав «старчик часто говорил о войне, она началась на небе и начали ее не мы а Ангелы и не нам дана власть прекратить ее, мы

можем только выбрать ту сторону, на которой хотим сражаться или вместе с Ангелами света или вместе с Ангелами тьмы. А кончится война только после страшного суда, когда каждый получит свое воздаяние». Лида была удовлетворена. Простились мы со странницей с большой любовью. Она дала мне на память свою фотографию со старчиком, снятую в Польше, которая до сих пор хранится у меня.

*Записал Н. М. Зернов*

# ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ЦЕРКОВНОЙ СМУТЫ

ГОД 1922-й

«Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его; не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели и расширить род в день бедствия.

Не следовало бы тебе входить в ворота народа Моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день гибели его, ни касаться имущества его в день бедствия его.

Ни стоять на перекрестках для убивания бежавших, ни выдавать уцелевших из него в день бедствия» (Книга пророка Авдия 1, XII-XIV).

Эти слова древнего пророка, обращенные к единокровному с иудеями народу Едома, вступившему в союз с врагами евреев, невольно вспоминаются, когда речь идет об обновлениях. В час величайшей драмы, которую переживала когда либо русская церковь, часть ее служителей решила воспользоваться несчастьями своих братьев для личных выгод. Это опозорило обновленческое движение в глазах народа, оттолкнуло от него широкие массы и завело его в тупик.

Предательство и карьеризм — воплощением этих главных пороков обновленчества была «Живая Церковь».

Невозможно указать точную дату возникновения Живой Церкви. Первоначально это было лишь название журнала, придуманное, как мы видели, свящ. С. Калиновским. Уже в первые дни после переворота этим именем стали называть все обновленческое движение в целом; термин «живоцерковник» стал в быту синонимом обновленца — сторонника майского церковного переворота. В это же время в стенах Троицкого подворья,

\* См. кн. 85 и 86 «Н. Ж.»

на дверях одного из кабинетов появилась загадочная надпись: «Центральный Комитет группы «Живая Церковь». Это был штаб священ. В. Д. Красницкого, который сразу же задался целью создать стройную централизованную организацию, состоящую из особо отобранных людей, по типу политической партии. Самый термин Центральный Комитет отнюдь не был случайностью. Как популярно объяснял священ. Евг. Белков (первоначально ярый сторонник Живой Церкви), взаимоотношения между Высшим Церковным Управлением (ВЦУ) и Центральным Комитетом, ЦК группы Живая Церковь — были аналогичны между взаимоотношениями ВЦИК и ЦК РКП(б). Что касается самой группы «Живая Церковь», то она, по мысли ее организаторов, должна была играть роль авангарда обновленческого движения. Невозможно точно определить первоначальный состав ЦК. Это, вероятно, не смогли бы сделать и сами его руководители. Считалось, или, вернее, подразумевалось, что в него входят все главные деятели переворота. Однако, из этой группы следует прежде всего исключить А. И. Введенского, который хотя формально и входил в Живую Церковь, но после решения в июне 1922 года на 2 месяца «вышел из игры» и поэтому не принимал участия в организации Живой Церкви. Это, впрочем, не очень печалило В. Д. Красницкого: он сразу же постарался забыть о своем блестящем соратнике, и не включил его ни в один из органов Живой Церкви. Что касается епископа Антонина, то он с самого начала занял враждебную, резко-отрицательную позицию по отношению к Живой Церкви. Таким образом, путем исключения можно установить, что первоначально ЦК Живой Церкви состоял из трех человек: В. Д. Красницкого, Е. Х. Белкова и С. В. Калиновского.

Справедливость требует, чтобы, говоря о Живой Церкви, мы начали ее характеристику с Калиновского, т. к. он не только придумал название «Живая Церковь», но как увидим ниже, был автором первого программного документа этой организации.

Сергей Васильевич Калиновский родился в Москве около 1886 года в семье священника. После окончания Духовной Семинарии и Академии он был рукоположен в 1910 году в священника одной из московских церквей. Обладая некоторым литературным и проповедническим даром, священ. С. В. Калиновский вскоре становится оруженосцем митрополита Владимира

и известного черносотенца протоиерея Восторгова. Таким образом, о. Калиновский, если и не был непосредственным участником черносотенных организаций, то во всяком случае примыкал к наиболее правым кругам дореволюционного духовенства. Революцию о. Калиновский встретил полковым священником. Во время наступления Керенского он подвизался в частях армии, действовавших в Западной части Псковской губернии, где он пламенно призывал солдат идти в бой, обрушивая громы и молнии на большевиков. После Октября антибольшевистский вития быстро и незаметно исчезает из армии. В 1918 году мы видим его снова в Москве, где он получает от Патриарха лестное назначение — настоятелем одной из центральных московских церквей — храм Гребневской Божией Матери, что на Лубянке. В 1919 году свящ. С. В. Калиновский пытается создать «Рабоче-Крестьянскую Христианско-социалистическую партию». Он опубликовал ширококвещательную программу; однако, партия была запрещена органами власти, как вредная. С. В. Калиновский на время отходит в тень. В 1921 году он снова появляется на свет Божий в связи с голодом в Поволжье. В 1922 году он выступает как сторонник изъятия церковных ценностей и один из идеологов надвигающегося раскола. О роли Калиновского в майские дни мы уже говорили. Первый номер журнала «Живая Церковь», подписанный к печати еще до церковного переворота, открывается передовой статьей С. В. Калиновского, выдержанной в необычайно воинственном тоне: «Довольно молчать! — восклицает редактор. — Наступил момент, когда православный русский народ ждет решающего голоса Церкви. **По вине старого бюрократического и иерархического строя** (курсив Калиновского) взаимоотношения между ставленниками бывших правящих классов и Советским Государством стали абсолютно невозможными. Обнаружено моральное банкротство церковных, ныне существующих порядков. Всякий дальнзоркий сын церкви должен собственными усилиями иметь гражданское мужество («усилиями иметь!» **А. Л.**) и решительность принять меры к торжеству и спасению православной церкви». (Журнал «Живая Церковь» № 1, 1922 г. стр. 1).

Редактором этого номера был С. В. Калиновский и редакция даже помещалась у него на квартире: Москва, уг. Лубянской площади и Мясницкой ул. 2/4 (у Гребневской церкви),

кв. 5. Заправили ВЦУ были, однако, не очень высокого мнения о талантах Калиновского; поэтому они сразу отстранили его от редакторства, вежливо выразив ему благодарность за инициативу. В качестве редактора следующих номеров журнала фигурируют поочередно Е. Х. Белков и В. Д. Красницкий. Перу С. В. Калиновского принадлежит, однако, чрезвычайно интересный документ, написанный им, как рассказывал А. И. Введенский, еще в начале мая 1922 года и впоследствии опубликованный в № 2 журнала «Живая Церковь». Считаем уместным привести его здесь, так как он как нельзя более полно характеризует тот дух, которым была проникнута Живая Церковь. Документ озаглавлен: «Проект докладной записки во ВЦИК, исходящей от некоторой части духовенства и мирян православной церкви». В тексте документа говорится: «Желая по мере своего разумения и сил способствовать Государственной Советской Власти в деле возрождения Родины, мы, нижеподписавшиеся, считаем необходимым учреждение при ВЦИК особого Всероссийского Комитета по делам Православной Церкви, духовенства и мирян, во главе с главным уполномоченным по делам Православной Церкви в сане православного епископа. На этот Комитет возложено должно быть:

1. Выделение из общей массы православного духовенства и мирян тех лиц, которые признают справедливость Российской социальной революции и лояльны по отношению к Советской власти; ограждение их от церковных решений и судебных кар со стороны патриаршего управления.

2. Объединение означенных лиц в общегосударственном масштабе путем выработки общей программы в делах церковных и в отношениях государственных.

3. Наблюдение за деятельностью патриаршего управления.

4. Способствование мирному и закономерному проведению в жизнь государственных мероприятий, не затрагивающих религиозного чувства православного человека, не разрушающих его нравственного мировоззрения». («Живая Церковь» № 2, стр. 10).

Подтекст этого, очень плохо, ужасным канцелярским языком написанного, документа таков: надо выделить группу духовенства, которая должна стать частью государственного аппарата. Именно это и было заветной мечтой всех деятелей Живой Церкви: если эта мечта не осуществилась, то в этом

вина отнюдь не Живой Церкви. Надо сказать, что идея сращения церковного аппарата с государственным пережила не только С. В. Калиновского, но и самую Живую Церковь; особенно широкое распространение получила эта идея среди церковных людей в первые годы после Отечественной войны. Ее главным носителем в это время был законный наследник деятелей Живой Церкви — известный московский священнослужитель, до 1956 года всемогущий, имени и титула которого мы не называем, т. к. он в настоящее время прикован к постели тяжелой и, как говорят, неизлечимой болезнью. Эта идея сращения церкви с государством не является новой. Живая Церковь являлась в этом отношении лишь своеобразным рецидивом победоносцевщины в советских условиях. О том, что эта идея является порождением антихристианского духа, лишний раз свидетельствует судьба С. В. Калиновского. В августе 1922 года он подал в ЦСУ заявление о своем выходе из его состава, а еще через несколько месяцев в газете «Безбожник» появляется его краткое заявление о снятии им с себя сана. Этот свой шаг он мотивирует тем, что под влиянием контрреволюционных выступлений духовенства он разочаровался в церкви. В дальнейшем Калиновский становится профессиональным антирелигиозником. Но и в этом новом амплуа ему не удалось стать крупной фигурой. В течение десяти лет он ютился на задворках антирелигиозной пропаганды и умер в полной безвестности в 30-х годах. Народная молва сохранила лишь один анекдот из этой эпохи его жизни, который запечатлел проф. Кузнецов в своей работе «Церковь и Государство», относящейся к 1922 году. «Рассказывают, — пишет проф. Кузнецов, — что на одной из фабрик Калиновский старался доказать, что Бога нет. Каким же образом вы долгое время были священником? — спросил его один из верующих рабочих. Калиновский не нашел ничего лучшего, как сказать: «Да, я обманывал народ». Тогда рабочий обращаясь к присутствующим, остроумно заметил: «Вот видите, граждане, он много лет нас обманывал; может быть, он обманывает нас и сейчас, утверждая, что Бога нет?» (см. Кузнецов «Церковь и Государство» по поводу послания митрополита Сергия. Лекция, прочитанная 3 января 1922 года в Москве, стр. 251).

Таким образом С. В. Калиновский принадлежал к числу людей, о которых говорят, что у них охота смертная, да участь

горькая. Будучи одержим всю жизнь карьеристским зудом, он не имел, однако, главных качеств, необходимых для крупного карьериста: таланта, энергии и силы воли. «Мелкий человек» — лаконично характеризовал его А. И. Введенский. Вполне естественно, что в первые же дни раскола он был оттеснен на задний план и в организации Живой Церкви не играл роли. Несколько большую роль играл Е. Х. Белков, который занимал после переворота должность управляющего делами ВЦУ. Однако и деятельность Белкова в организации Живой Церкви была незначительной: литератор и энтузиаст, он был на редкость сумбурный и беспорядочный человек и, наконец, у него был еще один крупный недостаток, который мешал ему играть выдающуюся роль в Живой Церкви: он был честным человеком — и ему претили методы Красницкого.

Главным организатором Живой Церкви, ее вождем был В. Д. Красницкий. «Живая Церковь, это — я», — мог бы сказать он про себя с полным правом. Выше мы довольно подробно характеризовали В. Д. Красницкого. К его достоинствам относится, между прочим, то, что он был вполне ясным и определенным деятелем. С поразительным цинизмом, нисколько не утруждая себя маскировкой, он заявлял всюду и везде, что он является выразителем сословных (или как он говорил, классовых) интересов белого духовенства. Идеализируя белое духовенство, он обрушивался на архиереев-монахов. В его изображении все белые священники были ангелами, тружениками, церковным пролетариатом — высшее духовенство и монахи — это синоним всех пороков, тираническая каста, церковная буржуазия. Белое духовенство должно воспользоваться моментом, чтобы захватить церковную власть в свои руки. Женатый епископ, независимость священников от епископов и поднятие материального уровня духовенства путем создания центральной церковной кассы — таковы основные лозунги Красницкого. Вероятно, он был искренен только в одном: он действительно любил белое духовенство, из среды которого вышел; блок с Советской властью рассматривался им как средство к возвышению белого духовенства. Впоследствии он отказался от предложенного ему Собором высокого сана архиепископа Петроградского и вообще от архиерейства, мотивируя свой отказ желанием сохранить связь с рядовым духовенством. «Агитация и организация» — этот лозунг Красницкого можно расши-

фровать так: разъяснение белому духовенству его сословных интересов и сплочение его для борьбы с иерархами. К этому, по существу, сводилась вся программа Красницкого: разговоры о каких-либо более широких реформах вызывали у него, как он сам говорил, головную боль. Однажды А. И. Введенский внес предложение ввести всеобщее еженедельное причастие. Красницкий возражал яростно и запальчиво. «Но ведь Христос, сам Христос, призывает к себе людей», — патетически воскликнул Введенский. «Ах, подите вы с Вашим Христом», — неожиданно ответил Красницкий, сморщившись и раздраженно махнув рукой. Но однажды во время такого же яростного спора Красницкий вдруг неожиданно затих и сказал: «Давайте, пойдем и отслужим все вместе молебен пред иконой Иверской Божией Матери: может быть, мы тогда помиримся».

«Вы враг церкви», — неоднократно говорил он Введенскому — церковью для него было русское белое духовенство. Впоследствии, к концу жизни, Красницкий понял, что его деятельность не принесла пользы церкви и, умирая, причастившись с благоговением Святых Таин, просил у Бога прощения за все содеянное им зло и горячо молился в кругу своей семьи о соединении Русской Церкви. Но это было много после, в марте 1936 года, после многих пережитых катастроф.

В 1922 году Красницкий был твердо уверен в своих силах и проводил свою линию с энергией и настойчивостью, заслуживающими лучшего применения. Блестящий организатор, он в течение двух недель, буквально из ничего, сформировал огромную (правда, как потом оказалось, эфемерную) организацию. По своей структуре, Живая Церковь должна была, по мысли Красницкого, близко напоминать Коммунистическую Партию и быть как-бы ее филиалом среди духовенства. Самый быт церковных учреждений должен был максимально приближаться к быту советских учреждений 20-х годов. В этом отношении представляет интерес зарисовка, сделанная в стенах Троицкого подворья, корреспондентом одной из провинциальных газет:

«Вдали от суетного мира, в глухом переулке стоит Троицкое подворье, — пишет пензяк А. Зуев — покои последнего патриарха. В соседнем саду все так же шумят дубы и клены. В тихих залах все так же хмуро смотрят со стен портреты давно умерших князей церкви. Все так же ярко блестит навошен-

ный пол. Все в том же чинном порядке стоят кресла. Переменились лишь люди и за их спокойной внешностью невольно чувствуется кипучее (?) биение нашей жизни. Ушел из покоев великий господин всея великия, малыя и белыя Руси Патриарх Тихон. За ним ушли тихие, бесшумные слуги — келейники. Пришли новые, с новыми думами. Принесли в тихие покои новые, такие чуждые слова. На двери приемной висит вывеска: Центральный Комитет. Это Комитет группы Живая Церковь. На дверях следующей комнаты, где восседал сам Патриарх, значится: «Президиум»; по лестнице поднимается священник, под мышкой у него «Правда» и «Известия». На площадке лестницы, под развесистым фикусом, наряду с книжками «Живой Церкви» продаются «Атеист» и «Наука и Религия». Тут же висит рукописная стенная газета Съезда — «Известия». В ней имеется отдел: «О контрреволюции в приходах». В приемную идут просители. Вот вылощенный столичный иерей с академическим значком на груди. Вот старенький попик из Олонецкой губернии хочет вступить в группу «Живая Церковь». Все спрашивают у секретаря форму, по которой писать заявление. Секретарь подсовывает только что поданное предыдущим просителем заявление и попик долго без помарок, его переписывает» (Пензенская газета «Трудовая Правда», 18 августа 1922 года, № 189, стр. 2).

Из этих попиков, запуганных и задерганных, из вылощенных столичных иереев, мечтавших о епископских митрах, Красницкий создал в течение одного месяца свою партию. Именно эти новоявленные реформаторы, должны были, по мысли Красницкого, стать тем рычагом, при помощи которого он думал перевернуть православную церковь. К ним он обращался с пламенными призывами.

«Революция изгнала помещиков из усадеб, капиталистов из дворцов, — патетически восклицал он в программной статье, напечатанной в № 3 журнала «Живая Церковь», — должна выгнать и монахов из архиерейских домов. Пора подвести итог за все те страдания, какие перенесло белое духовенство от своих деспотов, монахов-архиереев. Пора покончить с этим последним остатком помещичьей империи, пора лишить власти тех, кто держался помещиками и богачами и кто верно служил свергнутому революцией классу. Эту задачу должна взять на себя церковная группа «Живая Церковь» (стр. 11).

«Елейная проповедь, уснащенная громкими словами: любовь, христианство, добрые дела, — писал по поводу выступления одного из деятелей Живой Церкви корреспондент царьщинской газеты «Борьба». — А в итоге: надо предоставить доступ священникам на епископские должности и по-новому распределить доходы духовенства. И тогда... церковь оживет и Царствие Божие придет на землю» («Борьба», 19 октября 1922 года, № 831, стр. 1).

Если, по замечанию Карла Маркса, исторические явления повторяются дважды — один раз в виде трагедии, а в другой раз — в виде фарса, — то «Живая Церковь» была исторической пародией на нидерландское и шотландское пресвитерство. Живоцерковное движение было пресвитерианским в своем существе, так как главной его целью была борьба с епископатом. Собственно говоря, Красницкий с удовольствием вообще уничтожил бы архиерейство и сохранил бы лишь две иерархические степени: священство и диаконство. Однако, открыто провозгласить подобный лозунг он, разумеется, не мог, не мог даже и заикнуться о чем-либо подобном, т. к. это означало бы открытый разрыв с православием и автоматически повлекло бы за собой уход Красницкого из церкви. Поэтому, сохраняя для видимости архиерейскую власть, Красницкий делал все, чтобы превратить ее в фикцию. Абсолютное большинство архиереев старого поставления должно было, по его мысли, лишиться власти; хорошо было бы лишить их также жизни и свободы; но об этом, как рассчитывал Красницкий, позаботится его друг Е. А. Тучков. Взамен этих старых архиереев было намечено рукоположение новых, женатых епископов, обязанных своими кафедрами исключительно ему, Красницкому. Женатость архиерея была верным ручательством того, что он навсегда останется верным Живой Церкви. (Ведь никто, кроме живоцерковников, его архиерейства не признает). Однако власть даже этого архиерея должна быть ограничена епархиальным управлением, состоящим из священников-ставленников Живой Церкви. Архиерею принадлежало лишь право председательствовать в епархиальном управлении. Без санкции управления архиерей не мог даже перевести священника из одного храма в другой или назначить псаломщика. Если учесть, что в каждой епархии был еще особый «духовный чиновник», — уполномоченный ВЦУ (что-то вроде комиссара от Живой Церкви), который мог

отменить любое решение епархиального управления и, по существу, сместить архиерея, направив соответствующую рекомендацию в ВЦУ, то следует признать, что архиерей-живоцерковник играл жалкую роль. Это была лишь декоративная фигура для торжественных церемоний. Управлять за него должны были другие — уполномоченные ВЦУ, а функции премьер-министра русской церкви Красницкий великодушно брал на себя. Причем — «сместить», «уволить» «выслать в 24 часа за пределы епархии», «сообщить гражданским властям о контрреволюционной деятельности» — глаголы в повелительном наклонении слетали то и дело у него с языка. Таков был этот курносый, осанистый батюшка, пришедший в революцию прямо из Союза русского народа. На кого, однако, опирался Владимир Дмитриевич в своих притязаниях на власть? Отвергнув старую Иерархию, он столь же решительно отвергал влияние мирян на церковные дела. За мирянами программа Живой Церкви признавала право играть роль в церковных делах лишь при одном условии — если они являются членами группы Живая Церковь; в то же время подчеркивалось, что мирянин должен безоговорочно подчиняться приходской дисциплине и не смеет ничего предпринимать без санкции своего батюшки. Но каковы же — и здесь мы подходим к узловому вопросу — были взаимоотношения Живой Церкви с гражданской властью? Незачем много говорить о том, что поддержка (прямая и косвенная) органами власти была единственной надеждой Живой Церкви. О том, что такая поддержка оказывалась, можно видеть даже из официальных документов. Столичная пресса, пестрившая сообщениями о церковной революции, предпочитала замалчивать этот шекотливый вопрос. Но провинциальная пресса, более простодушная и откровенная, иногда приоткрывала краешек завесы. Особенно откровенной была в этом смысле харьковская газета «Коммунист».

«За сокрытие церковных ценностей, контрреволюционную деятельность и **гонение на сторонников Живой Церкви арестован** архиерей Геннадий», — сообщается в корреспонденции из Пскова от 15 августа 1922 года, под заголовком «Арест архиерея» («Коммунист», 17 августа 1922 года, № 188, стр. 3).

«Вчера в 1 час дня, — сообщает та же газета через неделю, — харьковский архиепископ Нафанаил, епископ Старо-

бельский Павел (викарный), члены епархиального совещания протоиереи Буткевич и Попов и протоиерей Воскресенской церкви Иван Гаранин были вызваны в Наркомюст, где, в присутствии представителя НКЮ тов. Сухоплюева, уполномоченный ВЦУ на Харьковщине гражданин Захаржевский объявил им за подпиской постановление ВЦУ об увольнении их за штат с высылкой их из пределов харьковской епархии. Уволенный архиерей и его приспешники попробовали было возражать против постановления ВЦУ, но затем дали обязательство подчиниться этому решению (еще бы! А. Л.). Затем, в присутствии НКЮ, милиции, уполномоченного ВЦУ, помещение епархиального совещания было опечатано» («Коммунист», 29 августа 1923 года, № 192, стр. 4).

Это был отнюдь не единственный случай прямого сотрудничества представителей ВЦУ с органами власти на местах; как увидим ниже, в провинции это сотрудничество проводилось почти в неприкрытой форме. Пресса до сентября 1922 года также освещала события церковной жизни в исключительно благожелательном для Живой Церкви духе. Только в сентябре 1922 года намечается перелом в отношениях между властью и обновленческим расколом.

Никто, однако, не скрывал того, что условная поддержка органами власти группы «Живая Церковь» носит конъюнктурный, временный характер. Прекрасно понимали это и деятели Живой Церкви — в первую очередь сам Красницкий, которого трудно было заподозрить в наивности. На что же рассчитывали они в дальнейшем? Ответив на этот вопрос, мы сможем легко определить историческую роль Живой Церкви.

«Современная церковная реформа является своеобразным приспособлением духовенства к НЭП'у, — говорил 21 ноября 1922 года в лекции на тему «Сменовеховство в церкви», прочитанной в Харькове, некто Яков Окунев («Коммунист», 22 ноября 1922 года, № 268, стр. 2).

Вся Россия пляшет НЕПА,  
Пляшет НЕПА Наркомфин,  
Залихватски пляшет НЕПА  
С дьякониссой Антонин», —

пели в это время задорные частушки в популярном среди нэпмановской публики московском кабаре «Не рыдай» на Кузнецком мосту.

Если внести сюда маленькую поправку, заменив имя Антонина именем хотя бы Красницкого, то следует признать, что и антирелигиозные лекторы и шансонетки из «Не рыдай» были совершенно правы. Все претензии Живой Церкви на то, чтобы стать частью советского государственного аппарата имели какой-то смысл тогда, если люди стояли на позиции сменовеховских идеологов, утверждавших, что Советская Россия должна будет в ближайшее время переродиться в крепкое, национальное, буржуазное государство. На это рассчитывали тогда многие, очень многие, как в России, так и за рубежом.

«Большевики могут говорить, что им нравится, — писал в парижском журнале «Смена веx» проф. Н. В. Устрялов, — а на самом деле это не тактика, а эволюция, внутреннее перерождение, они придут к обычному буржуазному государству. История идет разными путями».

«Такие вещи, о которых говорит Устрялов, возможны, надо сказать прямо, — говорил В. И. Ленин 27 марта 1922 г. в своей речи на XI съезде партии. — История знает превращения всех сортов; полагаться на убежденность, преданность и превосходные душевные качества — это вещь в политике совсем несерьезная. Превосходные душевные качества бывают у небольшого количества людей, решают же исторический исход гигантские массы, которые, если небольшое количество людей не подходит к ним, иногда с этим небольшим числом людей обращаются не слишком вежливо. Много тому бывало примеров, и потому надо сие откровенное заявление сменовеховцев приветствовать. Враг говорит классовую правду, указывая на ту опасность, которая перед нами стоит». (Ленин, Соч. т. 33, стр. 257, изд. 4).

Окрыленные надеждами НЭПа живоцерковные батюшки во вторник 4 июля, на организационном собрании группы «Живая Церковь», по предложению Красницкого приняли написанный им Устав, в котором нашли наиболее ясное и четкое выражение все основные принципы. Этот документ столь характерен, что мы должны привести его полностью, хотя он и длинен.

#### У С Т А В

группы православного белого духовенства  
«Живая Церковь»

1. Группа православного белого духовенства «Живая Церковь» имеет целью обеспечение православному приходскому

духовенству свободы в исполнении пастырского долга и освобождение от зависимости от экономически господствующих классов общества.

2. Для достижения этой цели группа «Живая Церковь» путем организованного выступления на предстоящем Соборе имеет добиться следующих прав духовенства: а) право на занятие епископских кафедр; б) право участвовать в решении дел Высшего Церковного Управления и епархиальных управлений вместе с епископами; в) право распоряжения церковными суммами объединенными в единую церковную епархиальную кассу; г) право организации в Союз белого приходского духовенства для дальнейшего осуществления своих прав;

3. Членами группы «Живая Церковь» могут быть православные епископы, пресвитеры, дьяконы и псаломщики, признающие справедливость Российской социальной революции и мирового объединения трудящихся для защиты прав трудящегося эксплуатируемого человека.

4. Группа «Живая Церковь» состоит из лиц подписавших настоящий Устав и вновь вступающих по рекомендации двух членов.

5. В губернских и уездных городах должны быть организованы отделения группы, на тех же основаниях, как и в Москве.

6. Как центральная группа, а равно и отделение, начинает свою деятельность при наличии трех членов православного духовенства, признающих вышеуказанные задачи, и прекращают ее, когда их количество станет меньше указанного числа.

7. Местные отделения группы немедленно по своем образовании входят в связь с Центральным Комитетом.

8. Во всех случаях нарушения прав своих членов группа берет на себя их защиту.

9. Каждый член группы обязан безусловно подчиняться требованиям групповой братской дисциплины.

10. Средства группы составляются: из дохода от продажи журнала «Живая Церковь» и других повременных и неповременных печатных изданий, от общественных устраиваемых группой и ее отделениями публичных диспутов, дискуссий, лекций, духовных концертов и т. д., из церковных сборов, специальных пожертвований, из процентных отчислений в центральную кассу местных отделений.

11. Как центральная группа, а равно и ее отделения, руководятся в своих действиях общими правилами об обществах и собраниях.

12. Устав этот может быть изменяем и дополняем по желанию 2/3 членов, живущих в данном городе, с утверждения Епархиального или Центрального Комитета.

13. Группа имеет свою печать с изображением голубя с сиянием и со своим наименованием.

14. Все собрания группы «Живая Церковь» начинаются пением Стихиры «Днесь благодать Святого Духа нас собра...»

и оканчиваются пением кондака Успения Богородицы: «В молитвах неусыпающую Богородицу...» («Живая Церковь» № 4-5, стр. 18-19).

Собрание выбрало временный ЦК из десяти человек во главе с Красницким и Белковым.

«Организуйте немедленно местные группы «Живая Церковь», обращался к своим адептам новый ЦК, — на основе признания справедливости социальной революции и международного объединения трудящихся. Лозунги: белый епископат, пресвитерское управление и единая церковная касса. Первый организационный Всероссийский Съезд группы «Живая Церковь» переносится на 3-е августа. Выбирать на съезд по три представителя от прогрессивного духовенства каждой епархии. Центральный Комитет» (Там же, стр. 19).

К тому времени, когда были опубликованы эти документы, был уже полностью проведен в жизнь второй лозунг «Живой Церкви» — о пресвитерском управлении. Всюду и везде на местах, под руководством комиссаров Красницкого, были организованы епархиальные управления из священников, признавших «Живую Церковь». В некоторых епархиях это управление возглавлял архиерей; в тех епархиях, где архиерей оказывался несговорчивым, он обычно сразу же «исчезал» за тяжелыми воротами местной тюрьмы. Это, конечно, как объясняли живоцерковники, было всегда совершенно случайным совпадением. Затем ВЦУ увольняло его на покой. (Чего уж покойнее! А. Л.) Епархиальное Управление явочным порядком брало власть в свои руки.

Столь же успешно проводился Красницким в жизнь лозунг о белом епископате. Правда, Красницкому до Октября 1922 года не удалось (из-за упорного противодействия епископа Ан-

тонина) ввести женатый епископат; однако сразу же после раскола было рукоположено несколько епископов из числа вдовых протоиереев без принятия ими монашества. С октября начали рукополагать также и женатых. Первое рукоположение обновленческого епископата состоялось 4 июня 1922 года, в Духов день, в церкви Троицкого подворья. Епископы Леонид и Антонин рукоположили во епископа Бронницкого священника Ивана Ивановича Ченсова из церкви Воскресения Христова в Барашах. Накануне о. Иоанн был пострижен епископом Антонином в монашеский рясофор с именем Иоанникия. Новый епископ был, так сказать, «беспартийным социалистом»: никогда раньше ни к каким обновленческим группировкам он не примыкал и в дальнейшем никакой активной роли не играл. 11 июня появился первый «партийный» епископ. Это был петроградец протоиерей о. Иоанн Альбигойцев. Впоследствии он оказался наиболее преданным Красницкому человеком: он не покинул его даже тогда, когда Владимир Димитриевич, отовсюду изгнанный, всеми покинутый и забытый, находясь в полной изоляции, заканчивал свой жизненный путь в качестве священника захолустного Серафимовского кладбища на Ленинградской окраине, в Новой Деревне. В небольшой деревянной церкви этого кладбища, по праздничным дням служил старичек-архиепископ, придавая каноническую видимость группе «Живая Церковь», не находившейся в каноническом общении ни с патриаршим, ни с обновленческим Синодом. Только в 1934 году Иоанн Альбигойцев присоединился к обновленческому Синоду и вскоре умер, считаясь обновленческим архиереем на покое. С Красницким его, видимо, связывала крепкая личная дружба. Начало ее восходит к тем временам, когда о. Иоанн был священником Матвеевской церкви на Петроградской стороне в непосредственной близости от Княж-Владимирского Собора. Вместе с Красницким о. Иоанн Альбигойцев вступил в апреле 1922 года в Петроградскую обновленческую группу. В июне 1922 года Красницкий решил сделать его епископом; это было тем легче, что о. Иоанн Альбигойцев был вдовцом и, следовательно, его рукоположение не противоречило канонам, которые говорят лишь о неженатости, а не о монашестве епископа. Епископы Антонин, Леонид и Иоанникий рукоположили его во епископа Подольского. Фигура Иоанна Альбигойцева интересна тем, что он был образцовым в глазах Красницкого епис-

копом. Благочестивый, кроткий старичек, о. Иоанн ни разу не проявил ни малейшего признака самостоятельности — и даже его речи в Храме обычно начинались словами: «Достопочтенный о. протопресвитер Владимир Димитриевич!», а затем следовал льстивый панегирик Красницкому. Владимир Димитриевич отвечал обычно в снисходительно-почтительном тоне. «Я с удовольствием приветствую в Вашем лице первого белого епископа», — подчеркивал он неоднократно. За этими двумя хиротониями последовала целая серия новых хиротоний. За 11 месяцев от 3 июня 1922 года до открытия обновленческого поместного Собора в мае 1923 года было рукоположено 53 епископа.

Сами главари раскола в первое время архиерейства не принимали, компенсируя себя тем, что в 2 месяца получили все награды, какие только возможны. Вот примерный «дневник наград». 15-18 июня. 1. Награжден митрой: протоиерей гор. Петрограда Александр Введенский и города Саратова — Николай Русанов. 2. Управляющий делами ВЦУ свящ. гор. Петрограда Евгений Белков возведен в сан протоиерея с возложением палицы. 18 июля — 1 августа. Удовлетворено ходатайство Московского Епархиального Управления о возведении в сан архиепископа епископов Леонида и Антонина. 25 июля — Награждены митрой Вл. Красницкий, Евг. Белков, Николай Поликарпов, Михаил Постников и друг.

Параллельно произошел ряд изменений в составе ВЦУ. В №№ 3-4 журнала «Живая Церковь» напечатан циркуляр, в котором состав ВЦУ определяется так: председатель епископ Антонин, заместитель председателя протоиерей Красницкий и члены — управляющий Московской митрополией епископ Леонид, епископ Иоанн Альбигойцев, гор. Петрограда; прот. А. Введенский и свящ. Евг. Белков, гор. Орла — протоиерей Н. Поликарпов и гор. Москвы — протоиереи С. Калиновский и К. Мещерский (стр. 23). Если прочесть внимательно этот циркуляр, то легко убедиться, что состав ВЦУ за полтора месяца претерпел ряд изменений: во-первых, епископ Леонид из председателя превратился в рядового члена ВЦУ; во-вторых, А. И. Введенский из заместителя председателя стал также рядовым членом ВЦУ. Наконец, в состав ВЦУ были введены два новых члена: Иоанн Альбигойцев и Константин Мещерский. Проходит еще неделя и вот новое изменение.

23 июля/6 августа: 1. Управляющий Московской епархией епископ Крутицкий Леонид назначен архиепископом Пензенским и Саратовским и с этого времени исчезает с исторической авансцены навсегда, 2. Архиепископ Антонин назначен на Московскую кафедру в звании архиепископа Крутицкого. 24 августа он принимает титул митрополита Московского и всея Руси.

Что можно сказать про людей, заседавших в ВЦУ? Так как больной А. И. Введенский в это время никакого участия в делах не принимал, то в составе этого высшего органа православной церкви было только два человека, которые не были марионетками в руках Красницкого: Антонин Грановский и Евгений Белков.

Впрочем от последнего Красницкий вскоре отделался. Стоило ему выступить против всемогущего диктатора, как он был немедленно снят с поста управляющего делами и выведен из состава высшего управления; на его место был назначен никому дотоле неизвестный мирянин из Ярославля А. И. Новиков.

В августе 1922 года звезда Владимира Красницкого горела ослепительно ярко; готовясь к первому Съезду «Живой Церкви», он держал уже в своих руках все нити управления; никому еще несколько месяцев назад неизвестный священник стал властителем Русской Церкви.

\*

И все же, торжество Красницкого было преждевременным. С самого начала на его пути возникло препятствие, справиться с которым оказалось не так легко. Этим препятствием оказался Антонин Грановский. Про Антонина Грановского говорили, что он самый высокий человек в Москве; сам он рассказывал про себя, что по своему росту он превосходит Петра Первого на два вершка. Несмотря на преклонный возраст он обладал огромной энергией и по своей смелости, широте, простоте в быту, резкости, по силе воли, действительно несколько напоминал великого преобразователя.

С необыкновенной настойчивостью епископ Антонин проводил свою линию, резко враждебную как старой иерархии, так и Живой Церкви. Но прежде чем говорить о его роли в 1922 году, постараемся взглянуть на него глазами его современников.

Вот как рисует Антонина московский корреспондент Пензенской газеты «Трудовая Правда» — одной из лучших тогда провинциальных газет.

«Не только церковная, религиозная, но почти вся Москва бунтуется вокруг имени Антонина. Его величают по-русски, без стеснения — прохвостом (своими ушами слышал), самозванцем, сумасшедшим, диким барином; одна благочестивая монашенка серьезно уверяет, что это вовсе не епископ, а лукавый антихрист, (слышал из уст самого Антонина). Немногие пока приверженцы считают его как-бы русским Лютером, главой русской реформации. Вообще, в связи с личностью Антонина развязались языки и разгорелись страсти. А ведь сыр-бор разгорелся от того, что после церковного переворота, который произошел как бы вдруг и свалился как снег на голову, Антонин оказался в положении заместителя патриарха.

Теперь дайте мне руку, читатель, как говорил Тургенев, и пойдете со мною на Никольскую, в Заиконоспасский монастырь. В воскресенье, часам к одиннадцати утра. Отныне только здесь служит и проповедует еп. Антонин. Сюда к нему стекаются со всех концов Москвы. Здесь приютилась его община. Мы с вами застали литургию в самом начале. Не слишком поместительный храм на втором этаже, освященный при Елизавете Петровне, стиля рококо, битком набит разнородной толпой. Антонин в полном архиерейском облачении возвышается посредине храма в окружении прочего духовенства. Он возглашает: отвечает и поет весь народ; никаких певчих, никакого особого псаломщика или чтеца. С виду, по осанке, по обличию, по ухваткам Антонин точно — Иван Перстень в черном клобуке (разбойничий добродетельный атаман в «Князе Серебряном» у А. К. Толстого). Судите сами: высоченный старик, лет шестидесяти, сутулый, лохматые брови, суровые глаза, худой, длинная борода, голос зычный, с хохлацким акцентом, ходит переваливаясь, как медведь, с боку на бок. Ну, думаешь, хорош батя! Не твоим ли прадедом был инок Пересвет или Ослябя, которые ходили драться с татарами в рукопашную? У всех ревнителей служебного благочиния и церковного Устава волосы дыбом становятся, когда они побывают в Заиконоспасском монастыре у Антонина. Не слышать «паки и паки», «иже» и «рече». Все от начала до конца по-русски, вместо «живот» говорят «житие». Но и этого мало. Ектении совершенно не

узнаешь. Антонин все прошения модернизировал. Алтарь открыт все время. Но и этого мало. Антонин взял литургию Иоанна Златоустого, кое в чем ее сократил и добавил в ней молитвы из тех древнейших литургий, которые бытовали в восточных пустынях. Но и это еще не все. Он вводит в общее пение стихи современных поэтов. И при мне, в конце службы, он затынул (и просил всех подтягивать) стихотворение Жадовской:

Мира Заступница, Мать воспетая,  
Я пред Тобою с мольбой.  
Бедную грешницу, мраком одетую,  
Ты благодатью покрой!

Для первого раза это было совсем ошеломительно. В буждущем он обещает уничтожить алтарь и водрузить престол посреди храма. По его мнению, самая лучшая реформа та, которая восстанавливает старину. Ну, разумеется, московская благочестивая публика в ужасе. И уже от себя рассказывает нивесть что. Будто Антонин молится уже не Богу, а луне и солнцу.

Кончается богослужение. И начинается проповедь. Если богослужение у него длится два часа, то проповедь продолжается не меньше. Антонин говорит много и обо всем. Иногда остроумно. Всегда умно, иногда художественно. Иногда интимно. Слушают его, насторожив уши». («Трудовая Правда», Пенза, 15 июля 1922 г., № 160, стр. 1).

Церковные реформы, по мысли Антонина, должны были не только морально оздоровить церковь, вернув ей утерянную чистоту первых веков христианства, но и стать источником всеобщего нравственного обновления.

«Коммунизация жизни» — таков лозунг, который выдвигался епископом Антонином. Какое содержание он вкладывал в этот лозунг? Прежде всего, следует отметить, что термин «коммунизация» появился в его богословской системе задолго до Октября и совершенно независимо от коммунистической идеологии.

В основе Божественной жизни, как неоднократно подчеркивал епископ Антонин, лежит принцип множественного единства. «Бог — все — во всем. Бог — синтез всех противоположностей», — любил он повторять слова знаменитого средневекового мистика Николая Кузанского.

Коммунизация жизни — свободное соединение свободных, испуленных кровью Христа индивидуумов, зачатком чего является церковь, это, по мысли Антонина, главная цель христианства. Он приветствовал революцию, видя в ней один из путей коммунизации жизни. Он был попутчиком революции. Однако его принятие революции не имело и не могло иметь ничего общего с вульгарным приспособленчеством живоцерковников, о которых Антонин всегда говорил с величайшим отвращением, как о беспринципных и морально растленных людях, обличая их многократно с церковной кафедры. Он категорически отвергал методы политического (обычно, ложного) доноса, практиковавшиеся живоцерковниками. Сам Антонин никогда такими методами не пользовался. Правда, будучи экспертом во время процесса московских церковников, епископ Антонин вынужден был сказать, что милость выше жертвы и что грешно беречь золотые чаши, когда люди умирают с голоду. Однако, он говорил суровую правду и представителям власти, о чем свидетельствует хотя бы «Докладная записка», поданная им 1 февраля 1923 года во ВЦИК, текст которой мы приводим ниже, прося извинения за грубые выражения, к которым имел особое пристрастие покойный владыка.

«Советская власть не только безрелигиозна, но и антирелигиозна — писал епископ Антонин. — Социалистическое строительство, будучи идейным противником всякой религии — опиума для народа, — по этому самому не может, а значит юридически и административно не должно, пользоваться культом для своих целей. Этой тенденцией был продиктован основной акт, устанавливающий отношение церкви к Государству в революционной России, именно декрет об отделении церкви от государства. Представляя с формальной стороны дарование свободы церкви, он по своему направлению устанавливал для церкви положение изоляции, являлся карантином церкви от государства. Брать для себя из признанного зачумленным района, не только логически противоречиво, но предосудительно. На этой точке зрения и стоял декрет об отделении церкви от государства, когда предоставлял храмы, ставшие собственностью государства, в бесплатное и бессрочное пользование группам верующих. Но в январе месяце нынешнего года наша государственность изменила свое отношение к церковникам: не отступая от принципа изоляции церкви и бесправия ее в государ-

стве, социалистическое государство стало на путь эксплуатации культа. Клеймя культ, как эксплуатацию народного невежества, власть сама встала на путь корыстного использования церкви. Один из известных правительственных работников (Луначарский А. В.) недавно называл на публичном диспуте культ — духовным онанизмом. Новая политика по отношению к церковникам равносильна использованию спермы, извергаемой онанистом; таковы все новые мероприятия по отношению к культу — обложение церковей арендной платой за помещения, выборка промысловых патентов и т. д. И так как для всех этих мероприятий нет ни идеологических, ни юридических оснований, то они применяются приравнительно, а потому и произвольно. Культ приравнен к торгово-промышленному занятию... Ему нет ниоткуда помощи: идейно он отрицается, фактически он разрушается, юридически совершенно беззащитен: служение культу — ремесло, перед которым закрывают двери все профсоюзы; организация культа не может получить легализацию... А потому у власти, борющейся за социальную правду, экономическая эксплуатация культа не может быть допустима. Если это церковный НЭП, то он требует и иной церковной юстиции, а вместе с тем и новой церковной идеологии, что и желает осветить перед ВЦИК — ВЦУ, а до изменения этого просим экономическую эксплуатацию культа, как капиталистическую тенденцию, приостановить».

Докладная записка подписанная председателем ВЦУ митрополитом Антонином, была подана во ВЦИК 1 февраля 1923 года. ВЦИК вынес следующее решение: «Временно, впредь до коллегиального рассмотрения дела по существу доклада, все налоги, имеющие специфическое отношение к культу, отменяются».

Политическую позицию епископа Антонина можно охарактеризовать как «прогрессивное православие»: все ценное, что революция несет людям, приветствуем, всякую связь с контрреволюцией отвергаем, но приспособленцами и подхалимами не были и не будем.

Искренность епископа Антонина привлекала к нему симпатии людей различных лагерей, в частности, он всегда пользовался уважением в среде интеллигенции. И среди коммунистов у него были друзья. Можно назвать, например, Петра Гермоге-

новича Смидовича (1874-1935 гг.), члена РСДРП с 1898 г., а с 1917 до 1935 г. члена Президиума ВЦИК и члена ЦКК. С давних пор его связывала с Антонином большая дружба, возникшая, как говорили, еще в гимназические годы.

И другие представители власти, например, М. И. Калинин, относились к Антонину с уважением, как к искреннему идейному человеку.

Церковное обновление епископ Антонин понимал прежде всего как духовное возрождение людей церкви, которые должны вернуться к апостольской чистоте нравов, поэтому-то он категорически отвергал реформы живой церкви, которые вели к понижению нравственного уровня духовенства. В эти годы, когда монашество подвергалось всеобщим нападкам, Антонин был единственным церковным деятелем, который поднял голос в его защиту. Вместо уничтожения монашества он предлагал его реформу: «В монастыри, — говорил Антонин, в беседе с корреспондентом одной из провинциальных газет, — должны поступать лишь немногие, решившие действительно отказаться от жизни, уйти от мира. В число монахов должны приниматься лишь твердо решившие взять на себя тяжелый обет, а не масса здоровых людей, коим жизнь монастыря дает материальные блага. Вся деятельность монашествующих должна быть общепользна и проникнута христианским милосердием помощи несчастным» («Калужская Коммуна», 31 мая 1922 г., № 119, стр. 1).

В противоположность принципам Живой Церкви епископ Антонин делал установку на народ православный, который должен в духе древних канонов вершить церковные дела; проявить горячий интерес к церковным делам, пробудить в народе религиозную ревность и привлечь его к управлению церковью — вот та линия, которую не на словах, а на деле проводил Антонин. Вокруг него никогда не было ни карьеристов, ни подхалимов — они не шли к Антонину, понимая, что здесь делать им нечего. Антонин охотно рукополагал средних интеллигентов (врачей, учителей, рабочих-самоучек, крестьян-среднячков), начитанных в божественном. Антониновские священники всегда почти бедствовали, продолжали заниматься своим ремеслом, одновременно служа церкви. Наибольшее количество нареканий вызывала богослужебная реформа Антонина. Будучи чело-

веком на редкость экстравагантным, епископ Антонин вводил в богослужение такие элементы, которые были неприемлемы для церковного сознания.

Епископ Антонин не отвергал совершенно византийского богослужения с его пышностью и благолепием. Сам он с большой торжественностью совершал по большим праздникам литургию в Храме Христа Спасителя — в сослужении многочисленного духовенства, при протодиаконе Пирогове, с соблюдением всего архиерейского чина. Наряду с этим в Заиконоспасском монастыре он практиковал свои новшества. К числу несомненных достоинств антониновской литургии принадлежало произнесение вслух евхаристического канона, что вызывало необыкновенное воодушевление молящихся, общенародное пение, чтение Апостола и Часов людьми из народа, которым это поручалось Владыкой, — так что каждый верующий должен был итти в храм, быть готов участвовать в богослужении.

Особенно любил Антонин ночные литургии. В Великом Посту, литургия Преждеосвященных Даров совершалась им вечером, после вечерни. Все священнослужители целый день ничего не должны были есть; сам Антонин за этим очень строго следил и не допускал к вечерней литургии лиц, внушающих ему сомнение. Постились и сотни людей из народа; в 6 часов вечера совершалось повечерие, служба девятого часа и вечерня; затем в 9 часов вечера начиналась литургия Григория Двоеслова, во время которой бывало всегда много причастников; сам епископ громко читал благодарственные молитвы и произносил двухчасовую проповедь, а затем начинал благословлять молящихся; таким образом, в Великом Посту, по средам и пятницам, богослужение оканчивалось в первом часу ночи.

Идеи Антонина были выражены им в сжатой форме в написанной им программе группы «Церковное Возрождение», которая была опубликована 25 августа 1922 года. Приводим здесь эту программу полностью.

#### ПРОГРАММА ГРУППЫ ЦЕРКОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Группа ставит своей задачей возвращение к первохристианскому демократическому укладу церковной жизни и коммунизацию ее по принципам равенства, братства и свободы, чистку всего того, что накопилось в веках под влиянием сословных, клерикальных, политических мотивов, наслоения темноты и неведения.

Следуя основному демократическому уравнительному началу, группа ставит целью достижение интересов широких верующих низов и масс, их религиозное, при помощи науки, просвещение, их нравственное психологической коммунизацией оздоровление, одухотворение культа, упрощение и ослабление внешне-обрядовой церемониально-показной стороны, освобождение от уклана в языческий магизм, устранение религиозной эксплуатации.

Следуя правилу нравственной солидарности (иначе — соборности) группа признает, что церковь живет своим общинным волеизъявлением, которое создается солидарностью верующих и получает жизненный смысл общим признанием (каноны).

Нынешний уклад церковной жизни только там подлежит повороту на древний лад, где в формах жизни произошло затемнение идеи. Там же, где последующая форма жизни представляет идейное усовершенствование, прежние формы и каноны потеряли силу и реставрации не подлежат. Епископство от монашества может быть отделено и епископат может быть пополняем одинаково, как черными, так и белыми неженатыми кандидатами.

Группа признает выборное начало для всего церковного устройства снизу до верху. Система назначения на места, как парализующая желания верующих, отстраняющая их от живого участия в церковном деле, развивающая пресмыкательство, угодничество перед начальством и карьеризм отменяется.

По силе нравственной свободы группа признает институт монашества как добровольное самоустранение от жизненной суетоки, ради сосредоточения на внутренней жизни сердца и усовершенствования духовной мощи, но не считает монашество средством достижения власти или бездеятельного жития. Премущественное значение монаха для мирян: не начальник, а духовник. Группа признает добровольный выход из монашества, но если с монашеством была соединена степень священства, то со сложением монашества последняя отпадает автоматически.

Следуя коммунизации жизни по принципу братства, группа признает взаимную производительность и потребительский коммунизм, добровольную общинную кассу, отрицает принудительные поборы на нужды культа. Культ должен способствовать подъему нравственного сознания масс, воспитывать честных труженников жизни, а не быть только одним церемониальным

упражнением. Культ должен стать одухотвореннее и проще, верующие массы к церковным делам должны стать ближе и активнее. Кропило, кадило и требник должны отойти на второй план, и носитель их должен преобразиться в священника, нравственно возвышающегося над приходом руководителя, наставника и друга. Культ должен стать понятнее и дешевле.

Группа отмежевывается от старой косности и рутинности, равно и от узко профессиональной «Живой Церкви» и полагает свою силу не в сословной замкнутости, а в солидарности пастыря с верующим народом. Она намерена строить свои духовные порядки, разграничивая законодательные (Церковное Управление) функции и компетенцию церковной власти. В политическом отношении группа стоит на платформе подчинения Советской власти. Она признает нравственную правоту социальной революции и ставит своей задачей нравственное освящение среди народных масс завоеваний и плодов революции.

С подлинным верно: Епископ Антонин 25 августа 1922 года».

Достаточно сравнить эту программу с тем, что писали и говорили руководители Живой Церкви и сразу можно убедиться, что епископ Антонин и живоцерковники стояли на совершенно различных позициях. При таком различии точек зрения разрыв между ними был неминуем. Уже в летние месяцы 1922 года назревает раскол в расколе. Главным толчком для него послужил долгожданный съезд группы Живая Церковь, который собрался в Москве в первых числах августа.

\*

«Вся суть, все значение, вся важность современного события заключается в том, что власть в церкви попала в руки белого приходского духовенства, которое никогда ее не имело. Имели власть помещики, всегда держали власть монахи, но никогда не было, чтобы белые священники распоряжались монахами, увольняли митрополитов, назначали архиереев...», — этим радостным воплем встречал делегатов съезда неутомимый Владимир Димитриевич Красницкий (См. «Живая Церковь» № 6-7, 1-15 августа 1922 г., стр. 2-3).

Он носился в эти дни по московским храмам, выглядел победителем, упивался славословиями льстецов, сразу нивесть откуда появившихся, которые толпами ходили за «достопочтен-

ным» о. Владимиром. И как всегда, злопыхательство соединялось в речах Красницкого с отчаянной демагогией. «Впервые в истории русской православной церкви выступает приходское белое духовенство. Живая Церковь это церковь трудящихся масс — это церковь, идущая вместе с жизнью, это пастыри верующих тружеников, это пастыри, любящие свою паству, служащие меньшим братьям своего Великого Архиеерея Иисуса Христа. Добро пожаловать, отцы и братья» («Живая Церковь», № 6-7, стр. 1-2).

Так языком народного трибуна говорил Красницкий; правда, его слушатели могли бы спросить его, чем же объяснить, что сами трудовые массы враждебно относятся к живоцерковным батюшкам, гонят их из церквей и называют не иначе, как «прохвостами».

«Вверху, в архиеереях, даже в самых свободомыслящих, опоры нет и не могло быть. Это были монахи, из рук которых выскальзывала власть, — писал он, явно намекая на Антонина. — В городской буржуазии, так называемых почетных прихожанах, опоры тоже не было, они верно стояли на стороне монахов, своих верных слуг по затемнению народного сознания и отвлечения его мыслей от неправд и безобразий их буржуазно-общественного строя. Протоиерей о. Александр Введенский, возглавлявший надежды на свободомыслящего монаха — митрополита Вениамина и прогрессивных мирян, — ядовито замечал далее Красницкий, — служит примером, как ошибочны были надежды. Монах Вениамин Казанский отлучил его от церкви, а мирянки — верные овцы монашеского стада — камнем прошибли ему голову. То же повторяется и в других местах России. Единственная надежда — только на себя, на свои силы, — в глубине души, в тайнике, на Великого Архиеерея Иисуса Христа. Первая цель белого духовенства — объединение. Великий лозунг социальной революции — «пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — вполне применим, вполне полезен, вполне жизнеспособен и в нашей церковной революции. Как перед монахом-архиеером, так и перед мирянином-кулаком, каждый из нас слаб и будет сметён, но объединение белого духовенства — группа его, даже самая мысль об этом революционна, плодотворна и в полном смысле творит чудеса» («Живая Церковь», № 6, стр. 2-3).

6 августа 1922 года 190 живоцерковников собрались в 3-м

доме Советов — на Садово-Каретной, в бывшем помещении Московской Духовной Семинарии. К этому времени Живая Церковь могла похвалиться рядом успехов: из 97 правящих епископов 37 признало ее платформу; 36 высказались против нее, 24 не высказались ни за, ни против. В зале 3-го Дома Советов были представлены 24 епархии Русской церкви. Кроме того, Живую Церковь признали Константинопольский и Александрийский патриархи. Это признание диктовалось, главным образом, политическими обстоятельствами.

За столом, покрытым красной скатертью, ровно в 12 часов дня появились архиепископы Антонин и Евдоким, епископы Иоанн, Иоанникий, Вассиан, Макарий, Виталий и другие архиереи, признавшие Живую Церковь. Рядом с ними находились два грека: архимандрит Иаков (представитель вселенского патриарха) и архимандрит Павел (представитель патриарха Александрийского). В. Д. Красницкий скромно занимал свое место среди делегатов, ожидая того момента, когда он будет избран председателем Съезда. Съезд открыл Антонин. К всеобщему изумлению, его речь оказалась довольно умеренной: он пожелал Съезду успеха в работе, приветствовал делегатов и лишь в конце влил ложку дегтя. «Мне бы только хотелось думать, — сказал он, — что вас сюда привели не клерикальные, кастовые, корыстные побуждения, а идейные, христианско-социальные идеалы. Я хочу, чтобы люди объединялись не во имя материальных интересов, а во имя идей».

Затем Красницкий был избран председателем. Взойдя на трибуну бодрым шагом, он произнес обычную для него речь, а затем заявил: «Так как Съезд представляет исключительно белое духовенство, прошу всех присутствующих здесь монахов, во главе с Владыкой Антонином, удалиться». Съезд ахнул от такой дерзости, а Красницкий, сделав паузу, картинно поднял руку и молча ждал, пока архиереи и монахи удалятся. Архиереи поднялись со своих мест; по лицу Антонина скользнула усмешка. «Счастливо оставаться — женатые мудрецы», — бросил он на весь зал так, что эхо откликнулось на хорах и медленно вышел; за ним гуськом потянулись к выходу остальные архиереи-монахи. Красницкий объявил порядок дня.

Первый Всероссийский Съезд группы Живая Церковь заседал 11 дней (с 6 по 17 августа 1922 года). За это время Съезд заслушал 6 докладов и вынес большое количество резо-

люций. Настроение живоцерковных батюшек было исключительно боевым. «Не разойдемся, пока не добьемся своего!» — говорили они. Пламенные речи лились с трибуны. Посторонних наблюдателей поражало полное исчезновение всех известных деятелей раскола — всех заменил Красницкий и только Красницкий. Докладчики и руководящие деятели Съезда были только креатурами Красницкого и все они были под стать ему: благолепные батюшки с портфелями, ставшие вдруг «отличными революционерами». Характерно, что из шести докладчиков — трое (прот. Д. А. Адамов, протоиерей Алексей Дяконов и сам В. Д. Красницкий) были в недавнем прошлом членами «Союза русского народа».

Первый доклад был сделан прот. В. И. Кедровым, еще недавно сидевшим на скамье подсудимых по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей. Тема доклада: «О современном монашестве». Протоиерей Кедров вылил весь яд, накопившийся в душе, против монахов-архиереев. Съезд принял резолюцию, предписывавшую немедленно закрыть все монастыри, так как они являются опасным орудием контр-революционных организаций и «отравляют сознание верующих реакционной религией, обещающей счастье только за гробом». «Все монахи вправе, — провозгласил Съезд, — снять с себя монашеские обеты и жениться. Те, кто пожелает остаться в монашестве, могут объединиться в трудовые братства, которые могут существовать под надзором белого священника-живоцерковника».

Затем последовал доклад протоиерея Адамова «Об ученом монашестве». «Засилие ученого монашества, — утверждал докладчик, — величайшее зло, язва, разлагающая церковный организм». По докладу была принята резолюция из шести пунктов:

1. Живая Церковь должна настаивать на снятии сана с патриарха Тихона.
2. Предписывается немедленно прекратить поминовение его имени за богослужением.
3. Предписывается увольнение архиереев-монахов, которые противодействуют обновленческому движению.
4. Всех остальных монахов-архиереев перевести в другие епархии.
5. ВЦУ выразить одобрение.
6. Архиереям, признавшим ВЦУ, выразить благодарность.

Затем дневное заседание было закрыто. Победа Красницкого была полная: ни одна из резолюций не встретила возражений. Теперь он мог не бояться монахов-архиереев. Переда

вечерним заседанием была послана к ним делегация с просьбой вернуться на Съезд. Изгнанные утром владыки любезно приняли приглашение и тут же стали собираться на Садово-Каретную. Впрочем, среди них не доставало одного — Антонина. Он не только не поехал в 3-й Дом Советов, но даже не принял делегацию; келейник вышел к делегатам в переднюю и сказал, что владыка занят и принимать больше не будет. (Как раз перед этим к нему вошли две нищенки в лохмотьях, с паперти Заиконоспасского храма).

На вечернем заседании Съезд заслушал доклады Колоколова и Дьяконова на тему: «О церковно-приходской контрреволюции». Съезд принял по этим докладам бессмертную по своему цинизму резолюцию. Согласно этой резолюции предписывалось:

1. Высылка из пределов епархии всех противников обновленческого движения (особенно архиереев).
2. Роспуск приходских советов, не принимающих пастырей, признавших ВЦУ, и сформирование новых приходских советов, состоящих из мирян, сохраняющих каноническое послушание своему священнику (56 правило).
3. Настоятелями храмов бывших мужских и женских монастырей предписывалось назначить священников из белого духовенства — членов группы «Живая Церковь».

Эта резолюция заслуживает того, чтобы войти в историю: трудно более ясно и определенно выразить внутреннюю сущность Живой Церкви.

В следующие дни Съезда были заслушаны доклады: Воронежского протоиерея Петра Сергеева «О белом брачном епископате», доклады «О внутреннем управлении православной церкви», «О брачном праве» и «О создании единой церковной кассы». По этим докладам были приняты следующие резолюции:

1. Разрешить женатым пресвитерам проходить епископское служение.
2. Разрешить второбрачие священнослужителям.
3. Разрешить монашествующим, по сложении обетов, вступить в брак с оставлением в сущем сане.
4. Не считать брак на честной вдове препятствием к прохождению иерархических степеней.
5. Не считать препятствием для вступления в брак четвертую степень кровного родства и родство духовное.

В резолюциях по докладу о внутреннем управлении пра-

вославленной церкви было признано нужным не только расправиться с архиереями, но и обуздать непокорных мирян. Поэтому в резолюцию был внесен следующий параграф: «Полноправным мирянином следует считать того, кто находится в живом иерархическом общении со своим пастырем, сохраняет каноническое ему послушание и проводит в жизнь принципы группы Живая Церковь».

Наконец, 12 августа Съезд заслушал доклад В. Д. Красницкого «О единой церковной кассе» и принял соответствующую резолюцию. Так как этому вопросу в живоцерковных кругах уделялось особое внимание, необходимо хотя бы вкратце на нем остановиться. Все обновленческое движение в это время переживало жестокий финансовый кризис: народ не только покинул храмы, занятые обновленцами, но и перестал давать деньги. Несмотря на все призывы и угрозы. Блюдо, которое носили по храму для сбора пожертвований, возвращалось в алтарь пустым. Тут-то изобретательный ум В. Д. Красницкого составил проект создания единой церковной кассы. Эта касса должна была составляться в каждой епархии из доходов с кладбищ и со свечных заводов; половина чистого дохода должна была поступать в ВЦУ. Таким образом, Красницкий проектировал создание мощного, как тогда говорили, церковно-неповского треста. Правда, для осуществления этой идеи требовалась «безделица» — передача в руки ВЦУ кладбищ и монополии на свечное производство; Красницкий и рассчитывал этого добиться. Принятие Съездом группы «Живая Церковь» его проекта должно было сыграть роль первого шага в этом направлении. Последние дни Съезд посвятил менее важным вопросам: 18 августа Съезд выслушал просьбу бывшего пензенского архиепископа Владимира Путяты о восстановлении его в сани и о принятии в группу «Живая Церковь». Низложенный епископ утверждал, что он является первым вождем церковной революции в стране и, надо признать, что он имел для этого некоторые основания: ведь в 1919 году, после того, как он был лишен сана за разврат, он откололся от церкви и объявил себя вождем церковной реформы. Фигура Владимира Путяты была, однако, слишком скандальна, чтобы Живая Церковь пожелала признать свое с ним родство. Съезд постановил отклонить заявление Владимира Путяты, т. к. он был лишен сана по мотивам, не имеющим ничего общего с Живой Цер-

ковью. 15 августа Съезд выразил пожелание, чтобы будущий Собор снял отлучение с Л. Н. Толстого, а затем выбрал ЦК из 25 человек. Все члены ЦК являлись совершенно новыми, никому дотоле, кроме Красницкого, неизвестными людьми. В ВЦУ подавляющее большинство имели также живоцерковники.

16 августа, по специальному разрешению властей, состоялся молебен в Успенском соборе в Кремле, после которого В. Д. Красницкому было преподнесено особое звание — первого протопресвитера Живой Церкви. 17 августа Съезд закончил свою работу, а делегация Съезда во главе с В. Д. Красницким, была принята председателем ВЦИК М. И. Калининым.

Съезд Живой Церкви сыграл роль поворотного пункта: всеобщая молва назвала его скандальным. Он и действительно был величайшим скандалом в истории обновленческого раскола. Все пороки раскола были выявлены в таком карикатурном виде, что ужаснулись даже самые рьяные его сторонники.

Раскол в расколе стал неизбежностью. О расколе в расколе и пойдет речь в следующей главе.

## РАСКОЛ В РАСКОЛЕ

Вторая половина 1922 года — интереснейшее время в истории Русской Церкви: в эти несколько месяцев появляются течения, которые и сейчас, почти через полвека, определяют жизнь Русской Православной Церкви. Всякий, кто интересуется историей Русской Церкви и ее современным положением, должен с пристальным вниманием изучить события 1922 года. Это была тяжелая полоса в истории Русской Церкви.

События сменяются с кинематографической быстротой — новые фигуры появляются чуть ли не ежедневно, иногда для того, чтобы тут же отойти в историческое небытие. Большой интерес представляют документы этого времени; никогда общественная физиономия того или другого деятеля не раскрывается так полно и определенно, как в эти дни.

Вот, например, мы раскрываем журнал «Живая Церковь» № 4-5. На первой странице следующее воззвание:

«Мы, Сергий, Митрополит Владимирский и Шуйский, Евдоким, Архиепископ Нижегородский и Арзамасский и Серафим, Архиепископ Костромской и Галичский, рассмотрев платформу

Высшего Церковного Управления и каноническую законность Управления, заявляем, что целиком разделяем мероприятия Высшего Церковного Управления, считаем его единственной, канонической, законной, верховной церковной властью и все распоряжения, исходящие от него считаем вполне законными и обязательными. Мы призываем последовать нашему примеру всех истинных пастырей и верующих сынов Церкви, как вверенных нам, так и других епархий.

Митрополит Сергей, Архиепископ Серафим,  
Архиепископ Евдоким.

16-20 июня, 1922 года».

Ни один историк не может пройти мимо этого документа. Остановимся на нем и мы.

Итак, первая подпись под этим воззванием принадлежит Сергию, Митрополиту Владимирскому и Шуйскому (впоследствии Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси), общепризнанному родоначальнику переживаемого нами сейчас периода Русской Церкви — это одно уже заставляет нас отнестись к его личности с пристальным вниманием. Объективная характеристика покойного Патриарха Сергия тем более необходима, что мы ее не найдем нигде, ни в нашей, ни в зарубежной литературе. Все, что писалось до сих пор о Патриархе Сергии — то либо льстивые панегирики (как, например, изданная Московской Патриархией в 1947 году книга «Патриарх Сергий и его духовное наследство») или злопыхательские памфлеты тех, кто никак не может простить покойному его признания советской власти и его позицию, которую он занял во время Отечественной войны. Историки обычно излагают биографии больших исторических деятелей, уделяя главное внимание основным событиям их жизни, не обращая особого внимания на детали. Между тем, иной раз, детали больше характеризуют человека, чем его официальная биография. С такой малозначительной детали мы начнем и характеристику Патриарха Сергия.

Во время войны Митрополит Сергей (тогда еще Патриарший Местоблюститель) принимал иностранного корреспондента. Интервьюер спросил высокого собеседника: «Какова ваша программа?» — «Моя программа, — ответил Сергей, — программа Духа Святого. Я действую по нужде каждого дня».

(«Духовное наследство Патриарха Сергия». М. 1947 г., стр. 253).

В. И. Лосский, который сообщает об этом факте, умиляется; умиляется редакция; должен умилиться, конечно, и читатель. Ну что ж, мы готовы бы и умилиться, но все же нас гложет червь сомнения. С детства мы привыкли ежедневно повторять следующие слова: «Верую в Духа Святого... глаголевшего пророки». Но кто были пророки? Это были люди огненного темперамента, непоколебимой духовной силы, необыкновенного мужества. Они всегда и везде шли против течения, глядели по орлиному далеко вперед и очень мало думали о том, чтоб «приспосабливаться к понятиям своего времени» и «действовать по нужде каждого дня». Таковы были они все — от Моисея до Ильи и от Ильи до Иоанна Крестителя.

И Церковь, преклоняясь пред ними, верует, что они вдохновлялись Духом Святым — Духом Истины, который мир не может принять потому, что «не видит Его и не знает Его» (Св. Иоанн, 14-17).

Попробуйте поставить рядом с этими могучими фигурами Патриарха Сергия и его преемников, которые действуют «по нужде каждого дня». Нет, уже лучше меньше им говорить о Духе Святом... не похожи они на пророков!

И все же, несмотря на все сказанное, мы преклоняемся перед Патриархом Сергием и с глубоким уважением относимся к его памяти. Он был человеком великого благочестия и человеком глубоко преданным Церкви. Всю свою жизнь он думал о ее благе. И оппортунизм Патриарха Сергия, который проходит красной нитью через всю его жизнь, объясняется не личными причинами, а соображениями церковного блага. Если искать аналогий в истории Церкви, его можно сравнить с Федоторитом Кирским, который, живя в годину жестокой церковной власти, умел находить равнодействие между враждующими партиями.

Мы не будем подробно излагать биографию Патриарха Сергия, т. к. она подробно (с фактической стороны) изложена в уже упомянутой нами книге «Патриарх Сергий и его духовное наследство». Остановимся лишь на основных фактах биографии Патриарха, которые помогут нам уяснить его позицию в 1922 году.

В 1895 году появляется магистерская диссертация иеромонаха Сергия «Православное учение о спасении». Это про-

изведение можно назвать классическим произведением русского богословия. Критика схоластического филаретовского богословия пронизывает всю книгу. Трудно себе представить книгу, столь резко расходящуюся с официальной богословской доктриной, как диссертация иеромонаха Сергия. В 90-ые годы, при Победоносцеве, таких вещей не любили — какова же была судьба автора этой книги? Ответ будет неожиданный — автор сделал блестящую карьеру: через 6 лет (34 лет от роду), он становится ректором Петербургской Духовной Академии и Епископом Ямбургским, викарием Петербургской епархии. Чем это объяснить? Объясняется это тем, что автор «Православного учения о спасении» облек свою идею в столь академическую форму, что внутренний смысл его книги был понятен только посвященным.

Другой пример. В период революции 1905 года и в пред-революционные годы позиция Епископа Сергия, по существу, очень мало чем отличалась от позиции Епископа Антонина. Человек гуманный и либеральный, он сочувствовал освободительному движению, оплакивал жертвы 9 января, искал связей с интеллигенцией, участвовал в религиозно-философском обществе.

Результат: Епископ Антонин попадает после 1905 года на покой, в монастырь, где его единственным занятием является дрессировка медведя, а у Епископа Сергия — новый взлет. В октябре 1905 года он назначен Архиепископом Финляндским и Выборгским. 6 мая 1911 года он получает назначение неперменным членом Синода, в марте 1912 г. — он председатель Предсоборного совещания при Синоде, через несколько лет он награжден бриллиантовым крестом на клобуке.

Почему такая разница в судьбах двух бывших петербургских викариев? Причины следует искать в различии их тактики: человек мягкий, деликатный, умеющий ладить с начальством (но без подхалимства и унижения своего достоинства) Епископ Сергей преуспевает там, где его экстравагантный собрат исчезает в пучине житейских бурь. Примерно такую же позицию занимает он и в 1917 году (в львовские времена) и в 1922 году (во время изъятия ценностей). Тихо, осторожно, без крайностей, без нажимов, сохраняя достоинства, но не обостряя ни с кем отношений — такова линия Митрополита (последствия Патриарха) Сергия. Придя в обновленческое движение Митро-

полит Сергей занял ту же позицию. Признав ВЦУ, он спокойно и тихо сидел у себя во Владимире, пока не наступил «раскол в расколе», а в сентябре выступил в союзе с Антонином Грановским против Живой Церкви.

Не меньшего внимания заслуживает и второй иерарх, поставивший свою подпись под воззванием: Архиепископ Нижегородский Евдоким, которому предстояло сыграть в расколе очень важную роль.

Архиепископ (впоследствии обновленческий Митрополит) Евдоким был незаурядной фигурой среди дореволюционной иерархии; человек импульсивный, честолюбивый, талантливый, он сделал блестящую карьеру.

Василий Иванович Мещеряков родился в 1869 году. После окончания Московской Духовной Академии он быстро становится магистром богословия и решает посвятить свою жизнь научной деятельности. Однако, кропотливая научная работа оказывается слишком мелким плаванием для Василия Ивановича.

Вскоре он принимает монашество с наречением ему имени «Евдоким». Искренний религиозный порыв, видимо, сочетается у него с честолюбивыми желаниями. После принятия монашества звезда Евдокима ярко разгорается: в 1903 году, 34 лет от роду, он становится уже ректором Московской Духовной Академии, а через год — в январе 1904 года, он становится архиепископом. Его речь на наречение очень характерна для нового Епископа:

«Господи, я хотел бороться с Тобой и боролся, как Иаков, — говорил Евдоким. — Я хотел бежать от Твоего лица, как бежали многие. Ты видел и знаешь это. Мне хотелось еще многие годы не возлагать на себя бремени святительства. Но не смел я противиться Тебе. Да будет же воля Твоя! Я давно бесповоротно отдал всего себя Тебе и дал обет быть верным Тебе даже «до крови». Пусть «живу к тому не аз, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20). Исповедую перед всей вселенной, что я горячо любил Тебя всегда и от дней моей юности и по-сильно исповедывал всюду Имя Твое Святое. И пастырство, которое я сейчас приемлю, есть самое наглядное и убедительное доказательство моей любви к Тебе. Верю, что в этот единственный день и час в моей жизни вашими освященными руками Сам Христос подает мне жребий пастырского служения.

Верю, что Ты со мною, Господи. Не археологическими доказательствами, не филологическими изысканиями, не философскими доводами только убедился я в Твоей всеблагости и всемогущей Деснице. Нет, я зрел Тебя не раз в течение своей жизни. Я даже осязал Тебя. Ты не раз стучался в двери моего сердца. Я знаю, что Ты ближе к человеку, чем окружающий его воздух, ближе его одежде, ближе даже его собственного Тела.

Бросая беглый взгляд на прожитую жизнь, теперь только особенно ясно вижу я, как Ты не раз касался таинственных струн моего сердца, как Ты влек меня с раннего детства на путь служения Тебе. Много раз я уклонялся от Тебя, но Ты неожиданно возвращал меня на путь, с которого думал я, ушел раз навсегда. Среди каких бедствий провел Ты меня целым, из какой бездны провел Ты меня невредимым! Много раз над моей головой собирались черные тучи, что не было просвета ни откуда. Иногда казалось, что уже все погибло. И вот в тот самый момент, когда мне казалось, что более не от кого ждать помощи, Ты приходил ко мне и выводил меня снова на свой необъятный Божий простор, наполнял сердце мое радостью, давал мне силы и бодрость нести свою тяжелую ношу в крутую гору жизни. Но довольно об этом. Не буду приподнимать завесу своей внутренней жизни. Об этом узнают люди впоследствии...»

Конец речи делает честь прозорливости Евдокима:

«С Тобой, Господи, не страшны мне и грядущие судьбы Церкви, что бы ее ни ожидало на пути ее исторического существования, а ее многое ожидает...»

Хиротония архимандрита Евдокима во Епископа Волоколамского состоялась 4 января 1904 года в большом Успенском соборе в Кремле. Рукоположение совершали Митрополит Московский и Коломенский Владимир, Архиепископ Ярославский Сергей, состоящие на покое Епископы Григорий, Иоанн и Антоний, а также Епископы Якутский Никанор, Можайский Парфений, Дмитровский Трифон, Ябургский Сергей (Старгородский – будущий Святейший Патриарх), Балахнинский Исидор и Алексинский Иннокентий.

Еще несколько лет — и Епископ Евдоким едет в Америку — в качестве викария Архиепископа Тихона.

Он прожил в Америке 10 лет, чувствовал себя там, как дома и навсегда полюбил эту страну. Под влиянием американских впечатлений у Епископа Евдокима пробуждается крити-

ческое отношение к русской действительности. Русская отсталость больно ранит его сердце — и он возвращается из Америки не таким, каким ехал туда. Надо же было, чтоб возвращение его на родину пришлось на 1917 год, когда наступила эпоха переоценки всех ценностей.

В 1918 году Евдоким получает назначение в Нижний-Новгород, с возведением в сан Архиепископа. Здесь он сумел, со свойственной ему «американской деловитостью» наладить приличные отношения с новой властью и оградить интересы подчиненного ему духовенства. О его позиции во время раскола он сам говорит в ряде документов, опубликованных в 1922 году, ярко и красочно, причем и здесь, как в его речи на наречие, искренние ноты, на наш взгляд, чередуются с некоторой декламацией, за которой чувствуется самовлюбленная натура.

Свою церковную позицию Архиепископ Евдоким излагает в своем обращении ко «Всем православным христианам, пастырям и архипастырям», напечатанном в журнале «Живая Церковь», № 3, стр. 18-19.

«...Всем православным христианам, пастырям и архипастырям (открытое письмо). Меня просят открыто высказаться по вопросу о моем отношении к советской власти и по вопросу о состоянии дел Церковного Управления в настоящее время. Отвечаю. Мое абсолютно честное, лойяльное отношение к советской власти мною было письменно изложено еще 24 ноября 1918 года в докладе, поданном в Нижегородский губернский исполком и напечатанном потом в газете.

Мое отношение к советской власти и ныне, в 1922 г., не изменилось ни в какой мере и степени. Все управление епархией мною строго построено на этом принципе. Никаких сколько нибудь существенных столкновений с гражданской властью не только у меня, но и у всей нижегородской епархии за все протекшие четыре года не было, и ничего, кроме чувств благодарности, не могу высказать местной гражданской власти за ее вполне корректное отношение к церкви нижегородской.

Не подлежит никакому сомнению, что наше Высшее Церковное Управление за короткое время своего, обновленного Собором, существования наделало много крупнейших ошибок, просмотров и недомолвок. Ошибки все эти ярко отмечены прессой и отчасти прогрессивной группой духовенства, бывшего у Патриарха Тихона с известным докладом. Об ошибках Выс-

шего Церковного Управления я писал в Синод и самому Патриарху. В одном из докладов я вынужден был высказаться так: «Вы работаете на разрушение Церкви Божией».

Привести в нормальное состояние крайне расстроенные дела Церковного Управления в настоящее время возможно только поместным Собором. Мы переживаем глубокий мир в нижегородской епархии. Многие говорят, что в прежнее, до-революционное, время так хорошо не жилось в епархии, как живется в настоящее время. Думаю, что этот мир возможен и для всей Русской Церкви. И как я желал бы, чтобы этот мир скорее водворился для блага и спокойствия всех. Всех верующих, от мирянина до пастыря и архипастыря: я очень прошу в настоящее время сосредоточить все свое внимание на крайне остром моменте, переживаемом Церковью и всемерно помочь ей выйти на пути мирного, чисто христианского, абсолютно честного строительства жизни.

Помните: каждый из вас будет отвечать за тот или другой исход совершенных церковных дел.

Прошу верить, что пища эти строки, я ничего ни у кого не ищу и не домогаюсь, кроме одного мира и блага церковного и общественного и от всяких почестей решительно отказываюсь.

Архиепископ Евдоким, 19 мая 1922 года».

В соответствии с такой позицией Преосвященного Евдокима, 19 июля 1922 года собрание духовенства в Нижнем-Новгороде в Дивеевском подвории, приняло резолюцию о признании ВЦУ. Резолюция была подписана Архиепископом Евдокимом и Серафимом Костромским, а также викариями Евдокима Епископами Михаилом, Варнавой и Макарием. Среди других архиереев, принявших обновленческое движение, следует назвать Архиепископа Серафима Костромского, Тихона Воронежского, Иоанна Кубанского, Вениамина Рязанского и других. Все они, разумеется, не могли сочувствовать Живой Церкви, восставшей против ученых монахов и открыто провозгласившей, что она намерена раз и навсегда покончить с архиерейской властью; все они ждали лишь знака, чтоб выступить против живоцерковников. Наряду со старым архиерейством, в оппозиции к Живой Церкви оказался Петроград. А. И. Введенский, А. И. Боярский и Е. Х. Белков — старые признанные вожди обновленчества — обосновались вновь в Петрограде и

ждали лишь знака, чтоб восстать против Красницкого. Обстановка, сложившаяся в это время в Петрограде, заслуживает особого внимания — и мы намерены посвятить ей особую главу. Теперь лишь укажем, что при всех разногласиях, разьедавших тогда петроградскую церковь, можно отметить один пункт, в котором все были согласны: всех объединяла неприязнь к Красницкому, который для всех стал в это время воплощением всего темного, предательского, пошлого, что было в тогдашней церкви. Единственной надеждой Красницкого могла быть поддержка государственной власти, однако и здесь, как выяснилось, Красницкий сильно обманулся в расчетах. «Мостик не переброшен, каждый идет своей дорогой», — вынужден был признать Красницкий в своем заявлении на съезде после приема у М. И. Калинина.

Таким образом, Православная Церковь, после пресловутого живоцерковного съезда представляла собой пороховой погреб; достаточно было поднести спичку, чтоб произошел взрыв.

Эту спичку чиркнул Епископ Антонин.

\*

В августе он получил пышный титул — Митрополита Московского и всея Руси. Сам Антонин, однако, относился к этому титулу весьма скептически — и в течение 8 месяцев, до Собора, так и не удосужился приобрести белый клобук, а через год и официально снял с себя титул Митрополита, поэтому мы будем называть его по-старому — Епископом.

20 августа 1922 года Епископ Антонин, сразу после окончания съезда, провозгласил с амвона программу Союза Церковного Возрождения; одновременно он разразился резкими выпадами против Живой Церкви и лично против Красницкого, которого назвал жандармом в рясе.

24 августа он провозгласил свою программу в Соборе Заиконоспасского монастыря в присутствии 78 духовных лиц и 400 мирян. Собрание одобрило программу Антонина и избрало свой Центральный Комитет в составе 5 человек: Епископа Антонина, протоиереев — Вл. Страхова и Георгия Чижикова и мирян Александра Викторовича Силоваева и Ивана Васильевича Паутлина.

Цифра «5» была избрана не случайно: только что перед

этим ЦК Живой Церкви избрал Президиум из 5 человек, который являлся своеобразной пародией на Политбюро. В «Политбюро» живоцерковников входили: В. Д. Красницкий (председатель), заместитель прот. о. Ал. Каменский, ответственный секретарь священник Д. М. Соловьев и члены прот. о. Братановский и протодиакон Покровский. Кандидатами в Президиум являлись: прот. о. Алексей Дьяконов (Ярославль), о. Петр Сергеев (Воронеж), о. Красотин (Ярославль), о. Поликарпов (Орел), Епископ Богородский Николай Федотов и А. И. Соколов (Москва) и А. И. Новиков (управляющих делами ВЦУ).

Таким образом, две организации «Живая Церковь» и «Возрождение» противостояли в Москве друг другу. «Союз» Антонина рос, как снежный ком. Никогда, за всю свою долгую жизнь Антонин не был так популярен: его встречали в храмах с неопишущим восторгом; люди, которые вчера еще величали его «прохвостом», теперь целовали ему руку. Выступления Антонина производили потрясающее впечатление: трудно представить себе что-нибудь более язвительное, едкое, остроумное, чем речи Антонина этого периода. Подлая выходка Красницкого, изгнавшего Антонина со съезда, надо прямо сказать, дорого обошлась живоцерковникам. «Держиморды», «подхалимы», «холуи», «Иуды», «шкурники», «мерзавцы» — вот эпитеты, которые сыпались на их головы.

Этим, однако, дело не ограничилось. Если учесть, что это говорилось открыто, с кафедры, в такое время, когда всякий выпад против «Живой Церкви» характеризовался как «церковная контрреволюция», со всеми вытекающими отсюда последствиями, и когда большая часть духовенства, терроризованная живоцерковниками, и пикнуть не смела, — то можно судить об эффекте, который производил Антонин.

Если откинуть полемический задор и элементы раздражения, которые имелись у Антонина, то его возражения против Живой Церкви сводились к протестам против ее кастовости. К тому, что они пользуются недостойными методами (какими именно он не расшифровывал, но все и так понимали, в чем дело); он выступал также в защиту монашества и бичевал живоцерковников за их беспринципность, ярким проявлением которой было требование о снятии отлучения от Церкви с графа Л. Н. Толстого. В это же время Епископ Антонин обратился с конфиденциальным письмом к архиереям старого поставления.

призывая их протестовать против Живой Церкви. Это обращение дало положительный результат: Архиепископ Рязанский Вениамин ответил Антонину письмом, в котором выражал одобрение его идеям, а Митрополит Сергей опубликовал следующую декларацию, инспирированную и одобренную Антонином:

«Я решительно протестую, — писал Митрополит Сергей, — против тех постановлений Живой Церкви, которые приняты в отмену основных требований церковной дисциплины и тем более вероучения. Некоторые из этих постановлений являются для меня недопустимыми безусловно, некоторые нарушающие компетенцию нашего Поместного Собора, а некоторые неприемлемы до этого Собора. К первому разряду я отношу снятие отлучения с графа Толстого, другими словами, с толстовцев, (отрицавшего Божество Иисуса Христа, Его рождение от Девы, Воскресение плоти и др., что все содержится в Символе Веры). Ко второму отношу разрешение священнослужителям вступать в брак и оставаться в сущем сане, не исключая и архиереев (44 правило 6 Вселенского Собора и 25 Апостол.). Разрешение священнослужителям вступать в брак после хиротонии (Апост. прав. 26 и 6 Вселенского Собора 14) допущение к священнослужению второбрачных (Апост. Пр. 17, Вас. Вел., Пр. 12) или женатых на вдовах (18 Апост. Пр.).

Так как нарушение указанных Правил влечет за собой безусловное запрещение и даже извержение из сана и сознательно участвующий в священнослужении с запрещенным или изверженным или разрешающий такое священнослужение подпадает тому же. Т. ч. 1) нарушителям я не могу и не буду давать разрешения священнодействовать в моей епархии, 2) женатые Епископы, впредь до разрешения дела на Соборе, не будут мною признаваемы в их сане, а равно и рукоположенные ими, 3) сам я вынужден буду прекратить общение, как с нарушителями этих правил, так и с теми, кто будет разрешать такие нарушения» («Правда», 23 сентября 1922 г. № 214).

Что касается Евдокима, то он опубликовал письмо Антонину для всеобщего сведения (таким образом, о нем узнали живоцерковники), а затем заявил о создании собственной группировки со следующей программой:

1. Полное отделение Церкви от государства по примеру первых трех веков христианства и полное невмешательство Церкви в дела государства. 2. Полное равенство всех членов

Церкви от Епископа до последнего верующего мирянина. 3. Реформа церковно-общественной жизни на основе источников лучшей, золотой поры христианства (Св. Писание, предания и др.). 4. Содержание духовенства путем личного труда, совершенно обязательно для всех и на добровольные пожертвования. 5. Монастыри на службе ближним. 6. Богословское образование для подготовки просвещенных пастырей и мирян в полном соответствии с декретами правительства. 7. Организация церковного управления по взаимному соглашению всех верующих. (См. журнал «Наука и Религия», № 12, 1922 г.).

В это же самое время о своей солидарности с Антонином объявила петроградская организация Живой Церкви (во главе с Введенским, Боярским и Белковым).

Красниக்குму было о чем подумать: положение становилось угрожающим, тем более, что выдвинутый им только что на пост управляющего делами ВЦУ А. И. Новиков, неожиданно стал поддерживать Антонина и объявил о создании им «левого крыла» Живой Церкви.

Красницкий, однако, не собирался сдаваться: свой последний козырь он еще не пустил в ход. Он энергично боролся против Антонина и, пользуясь властью заместителя председателя ВЦУ, продолжал рассылать по стране грозные циркуляры. В Москве его главной опорой был выдвинутый им в Епископы Николай Федотов.

Николай Владимирович Федотов действительно выделялся в среде живоцерковников по своей эрудиции и кругозору. Ему было тогда 56 лет (он родился в 1866 г.). После окончания Духовной Семинарии и Варшавского университета, он принял сан священника и был командирован в Италию — в гор. Палермо, где провел большую часть своей жизни. После революции он служил настоятелем собора в гор. Ейске; 24 июля он был рукоположен во Епископа Ейского (он был вдовцом), однако, через две недели был переведен Епископом Богородским (собственно, после хиротонии он из Москвы не уезжал). В это время он служил в храме Христа Спасителя и выступал здесь в защиту Живой Церкви.

Между тем, «война холодная» стала переходить в «войну горячую»: после словесной дуэли начались инциденты, которые (благодаря несдержанному, раздражительному характеру Антонина) носили исключительно острый характер. Так, Ни-

колай Федотов, злоупотребив своим правом викария, назначил в один из храмов священника без санкции Антонина. Антонин, узнав об этом, пришел в этот храм перед Всенощной, ворвался в алтарь, сорвал с оробевшего священника облачение и буквально вышвырнул его из церкви. «Это буйно помешанный», — говорил, качая головой, узнав об этом, Красницкий. Больше, однако, никого без санкции Антонина никуда не назначали. Инциденты, однако, продолжались. Они были неизбежны при той страстности, с какой велась борьба.

Грандиозный скандал разыгрался в воскресенье 10 сентября в Страстном монастыре. На этот день была назначена хиротония прот. Константина Федоровича Запрудского во Епископа Витебского. Хиротонию должен был совершать Антонин. Сослужить ему должны были Епископ Николай Федотов, а также представители ЦК Живой Церкви: В. Красницкий, А. Пименский и П. Сергеев. Это была первая богослужебная встреча противников — и вряд ли можно было ожидать от нее что-нибудь доброе. Действительность, однако, превзошла все ожидания.

Уже с самого начала богослужения Митрополит вел себя так, как будто он не замечает Красницкого: когда после возгласа Красницкий ему кланяется, Антонин не отвечает благословением. Когда во время малого входа Красницкий хотел (по обычаю) поддержать Антонина, тот резко от него отстранился. Самое страшное случилось, однако, перед Символом Веры; как известно, при словах «Возлюбим друг друга» все священнослужители подходят к архиерею для взаимного лобзания «и глаголет архиерей: Христос посреди нас. И отвечает целовый: И есть, и будет» (Служебник).

«Нет Христа между нами», — проговорил на всю церковь Антонин, когда к нему подошел Красницкий; то же самое сказал он П. Сергееву — одному из самых активных живоцерковников.

Это, однако, еще не было концом; 10 сентября при вручении жезла новому Епископу, Антонин произнес, по обычаю, речь. Это был настоящий обвинительный акт против белого епископата и против Живой Церкви: все тут им припомнилось: и карьеризм, и доносы, и недостойное поведение в быту. Впечатление было настолько сильное, что Николай Федотов тут же решил выступить с опровержением.

В народе поднялся невообразимый шум. Такого еще не видели стены древнего храма.

.....

Все рассказываемое нами до такой степени ни с чем несообразно, что мы считаем нужным подтвердить это подлинным документом:

«Во ВЦУ протоиерея Владимира Красницкого,  
протоиерея Петра Сергеева.

#### З а я в л е н и е.

10 сентября с. г. во время служения Божественной Литургии в Страстном монастыре, Митрополит Антонин в то время, когда по церковному уставу мы подходили к нему, чтобы ответить приветствием мира на подобное же приветствие с его стороны, громко объявил нам: «между нами нет Христа». Равным образом преосвященный Митрополит Антонин, очевидно, по тому же мотиву, уклонился и от преподания священнослужителям Тела и Крови Господних. Мы, подходившие к преосвященному Митрополиту Антонину в этот священный момент с чувством христианского мира и почтения, были глубоко смущены и обижены этим его поступком, а посему просим Высшее Церковное Управление напомнить Митрополиту Антонину слова Спасителя, Мф. 5, 22-24 и разъяснить ему обязанности архиерея при совершении литургии.

Прот. В. Красницкий, прот. П. Сергеев».

Никакого результата это обращение живоцерковников в ВЦУ (то-есть к самим же себе), разумеется, не дало и дело продолжало быстро идти к расколу.

\*

«Ну, посудите сами, можно ли было иметь дело с человеком, который идет на такие штуки», — говорил через 20 лет об Антонине А. И. Введенский, рассказывая мне об инциденте в Страстном монастыре.

Действительно, Епископа Антонина можно упрекнуть в излишней резкости и крайней невоздержанности. Этот инцидент имел, однако, и положительное значение: все больше рассеивался миф о всемогуществе «Живой Церкви», созданной Красици-

ким, который стремился всем внушить, что он и советская власть — одно и то же.

Этот миф был окончательно развеян 22 сентября 1922 года, когда Антонин официально объявил о своем выходе из ВЦУ и о прекращении евхаристического общения с живоцерковниками.

Непосредственным поводом к расколу послужило одно незначительное обстоятельство, очень характерное для той смутной эпохи. Под непосредственным влиянием решений съезда «Живой Церкви» один из викарных Епископов заявил о снятии им с себя монашеских обетов. Это отречение было сделано им под давлением живоцерковников: в действительности он сохранил верность своим обетам и в настоящее время является одним из старейших архипастырей Русской Православной Церкви. Мы, конечно, ни на минуту не собираемся ставить Владыке в вину его минутную слабость, и вынуждены об этом упомянуть только в силу необходимости, т. к. этот незначительный сам по себе инцидент сыграл в начинающемся расколе роль «убийства в Сараеве».

Владыка Антонин, узнав об отречении Епископа Сумского, заявил, что отныне он его Епископом не признает и считает его простым мирянином. Между тем, В. Д. Красницкий задался целью во что бы то ни стало ввести отрекшегося от монашества архиерея в ВЦУ — в результате последовала целая буря и 22 сентября в Заиконоспасском монастыре Антонин официально объявил о расколе.

Стремясь к наибольшей точности, передаем здесь слово самому Владыке. Рассказав о том, что в результате идейных разногласий между ним и Красницким возникли трения, Епископ Антонин переходит к фактической стороне дела: «Эти трения между нами усилились, — говорит он, — во-первых, потому что я потребовал от протоиерея Красницкого передать мне печать ВЦУ для того, чтобы он не имел возможности рассылать без моего ведома таких бумаг, с которыми я не согласен, а он отказался исполнить мое требование; во-вторых, потому что группа «Живая Церковь» ввела в состав ВЦУ Сумского Епископа Корнилия, отказавшегося от монашеских обетов и тем лишившего себя епископского сана и, в-третьих, потому, что уполномоченные группы «Живая Церковь» на местах совершают целый ряд насилий над невинными людьми только за то, что они не принимают программы группы «Живая Цер-

ковь»... Конечно, эта распря внесет большое смущение в среду православных людей и, быть может, произведет даже целый раскол, но пусть лучше будет это, чем ложь, фальшь и насилие в церковных делах». (См. журнал «Соборный разум». Петроград, 1922 г., № 1, стр. 7).

«Епископ Николай Федотов состоит викарием Митрополита Московского, и как член ВЦУ — в канонической солидарности с ее председателем. Между тем, Епископ Николай занял совершенно вызывающее, фрондирующее положение к своему епархиальному архиерею, а как подписавший антиканонические резолюции съезда, разорвал каноническое и нравственное общение со мной, как с председателем ВЦУ.

«Сим заявляю, что он не имеет нравственного права совершать Богослужение нигде в московской епархии, как не состоящий в каноническом общении со своим епархиальным архиереем, и все те действия, которые он будет совершать без нравственного согласия со мной, будут для меня антиканоничными. И те хиротонии, которые ВЦУ назначит и совершит без моего ведения и согласия, в обход и игнорирование меня, я не признаю и откажусь войти с новыми ставленниками в общение». (Там же, стр. 9).

Это уже был открытый раскол поскольку Епископ Антонин заявил, что он не будет признавать действий ВЦУ, в которых участвует Епископ Корнилий, а Епископ Корнилий, как член ВЦУ, принимал участие во всех действиях ВЦУ. Тем самым Антонин игнорировал все действия ВЦУ. Поскольку Антонин заявил, что он порывает общение с Николаем Федотовым только потому, что тот участник съезда (с Красницким Антонин еще раньше порвал каноническое общение), а большинство ВЦУ — участники съезда — он, тем самым, порывал общение с ВЦУ.

«Живая Церковь» подняла брошенную ей перчатку: в своем заседании от 23 сентября 1922 года ВЦУ постановило снять Антонина со всех занимаемых им должностей и предложить ему в 24 часа покинуть пределы московской епархии. И тут Красницкий решил, что настал момент пустить в дело главную козырную карту, в силу которой он верил так же, как пушкинский Герман в силу своих трех карт. 28 сентября Красницкий от имени ВЦУ обратился в ОГПУ с настойчивой просьбой выслать Антонина из Москвы, т. к. вокруг него группи-

руется вся контрреволюция в приходах и он становится знаменем контрреволюции.

Ответ был получен в тот же день: Красницкому было указано, что согласно декрету об отделении Церкви от государства, органы власти не имеют никаких оснований вмешиваться в церковные дела, не имеют ничего против Антонина Грановского и нисколько не возражают против организации нового, второго ВЦУ.

Это было ошеломляюще; оказалось, что Красницкий переоценил свои возможности. Его могущество исчезло в один день.

В то же время раскол в расколе стал фактом: отныне в Москве было уже два церковных центра: один — в Троицком подвории, другой — в Заиконоспасском монастыре.

\*

«Нет Христа между нами!» — во всеуслышание заявил Епископ Антонин Красницкому. Был ли Христос в Русской Церкви в это время? — такой вопрос, может быть, задаст себе верующий читатель, прочтя эту главу. А что скажет читатель не верующий? «Вот ваша церковь!» — с злорадной усмешкой заметит он. Нет, это не наша церковь, — ответим ему мы, — это только одна часть нашего духовенства («обновленческая»). И тут мне вспоминается одна старая женщина, которой я тогда как-то стал рассказывать о церковных делах.

«Это все меня не интересует, — с кроткой улыбкой перебила она меня. — Я люблю ходить в церковь, всегда становлюсь перед Распятием и чувствую, что Христос смотрит мне в душу, а до всего остального мне дела нет», — сказала она.

Именно так и рассуждало подавляющее большинство верующих — они исповедывались, причащались, возносились душой к Богу под пенье чудесных песнопений православной литургии и в эти моменты совершенно забывали (а многие даже и не знали) о шумных спорах между различными церковными направлениями. Они чувствовали около себя Того, Кто сказал: «Аз с вами до скончания века». Поэтому и мы отвечаем: «Нет, Христос в Русской Церкви был, есть и всегда будет!»

*(Окончание следует.)*

*А. Левитин и В. Шавров*

# ЧТО СДЕЛАЛ ПАСКАЛЬ?\*

К 25-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ Д. С. МЕРЕЖКОВСКОГО\*

## 1

Чудо Св. Терна внушило Паскалю замысел того великого дела, которому решил он посвятить весь уже недолгий, как он предчувствовал, остаток жизни. Дело это он сам называет «Защитой христианства», «Апологией», а люди назовут его «Мыслями».

После чуда, он придумал изображение для своей печати: два человеческих глаза, окруженных терновым венцом, с надписью: «Scio cui credidi. Знаю в кого верю». Смысл изображения тот, что мучившая его всю жизнь борьба Веры и Знания кончилась: эти два противоположных начала соединились в третьем, высшем, — в Любви. Главным источником «Мыслей» и будет это соединение.

В 1659 году, за три года до смерти, Паскаль в обществе друзей своих, вероятно, «господ Пор-Рояля», изложил замысел Апологии. Речь его длилась два-три часа. «Все присутствовавшие на этом собрании говорили, что никогда не слышали ничего, более прекрасного, сильного, трогательного и убедительного», — вспоминает один из слушателей, племянник Паскаля, Этьен Перьэ.

Вскоре после этой речи, Паскаль заболел и, хотя, в первое время болезни, не лежал в постели и даже выходил из дому, — чувствовал себя так плохо, что врачи запретили ему всякий умственный труд. Близкие отнимали у него и прятали книги, и не давали ему писать, ни даже говорить ни о чем, что требовало умственного напряжения. Но вынужденное внешнее бездействие только усиливало внутреннюю работу ума. Мысли приходили к нему сами собой, и он «записывал их на первых

---

\* Одной из последних работ Д. С. Мережковского была «Жизнь Паскаля». Она была опубликована после смерти Д. С. Но его статья «Что сделал Паскаль?» печатается впервые. РЕД.

попадавшихся ему под руку клочках бумаги, в немногих словах или даже полусловах». — «Часто возвращался он с прогулки домой, с буквами, написанными на ногтях иглой: буквы эти напоминали ему различные мысли, которые он мог бы забыть, так что этот великий человек возвращался домой, как отягченная медом пчела», — вспоминает Пьер Николь.

«Память у Паскаля была удивительная», по свидетельству того же Николя. «Я никогда ничего не забываю», — говорит сам Паскаль. Все, что он видел и слышал врезывалось в память его неизгладимо, как стальным резцом в камень. Но во время болезни память у него ослабела. «Часто, когда я хочу записать какую-нибудь мысль, она ускользает от меня, и это напоминает мне мою слабость, которую я все забываю, так что это напоминание для меня поучительнее, чем ускользнувшая мысль, потому что главная цель моя — познать свое ничтожество».

Когда, излагая друзьям замысел «Апологии», Паскаль настаивал на «порядке и последовательности» того, что хотел написать, он ошибался и потом понял свою ошибку: «я буду записывать мысли без порядка, но, может быть, не в бесцельном смещении, потому что это будет истинный порядок, выражающий то, что я хочу сказать в самом беспорядке». — «Свой порядок у сердца, и у разума — свой, состоящий в первых началах и в их доказательствах, а у сердца порядок иной. Никто не доказывает, что должен быть любим, излагая причины любви: это было бы смешно».

Сделаны были и, вероятно, еще много раз будут делаться попытки восстановить в «Мыслях» Паскаля «порядок разума». Но все эти попытки тщетны: каждый читатель должен находить в «Мыслях» свой собственный порядок, не внешний — разума, а внутренний — сердца, потому что нет, может быть, другой книги, которая бы шла больше, чем эта, от сердца к сердцу.

— «Мне бы нужно было десять лет здоровья, чтобы кончить Апологию», — часто говорил Паскаль. Но и в десять лет не кончил бы, судя по всем другим делам его: счетная машина, опыт конических сечений, опыт равновесия жидкостей, «Опыт о духе геометрии», — все осталось неоконченным, а «Начала геометрии», книгу тоже не конченную, он сжег. «Письма» прерываются внезапно, именно в то время, когда достигают наибольшего успеха и могли бы оказать наибольшее действие.

Очень вероятно, что та же участь постигла бы и Апологию.

Все, что сделал Паскаль подобно развалинам недостроенного мира.

О, умираю я, как Бог,  
Средь начатого мироздания!

Но эта неконченность — признак не слабости, а силы, потому что здесь, на земле, невозможно ничто действительно великое; здесь оно только начинается, а кончено будет не здесь.

## 2

Чтобы понять, что сделал Паскаль для защиты христианства, надо помнить, что его «Апология» идет не от Церкви к миру, как почти все остальные, от первых веков христианства до наших дней, а от мира к Церкви. Кто защищает себя, слабее того, кто защищает других: вот почему защищающие христианство, люди Церкви слабее, чем делающие то же люди мира. Здесь, в «Апологии» Паскаля, впервые раздался голос в защиту христианства не из Церкви, а из мира.

Дело Паскаля так же велико, как дело Сократа: этот «свел мудрость с неба на землю», а тот — веру. Может быть, со времени ап. Павла, не было такой защиты христианства, как эта.

«Честный человек и геометр, Паскаль делает такие признания, каких не посмели бы сделать многие христиане», — верно замечает Тэн. «Религия недостоверна». — «Непонятно, что Бог есть, непонятно, и что Бога нет; что душа в теле, и что тело без души; что мир создан, и что не создан; что первоначальный грех есть, и что его нет». Все непонятно. «Я смотрю во все стороны и вижу только мрак. Если бы я ничего не видел в природе, что возвещает мне Бог, я выбрал бы отрицанье; если бы я видел в ней везде знаки Творца, я успокоился бы на вере. Но видя слишком много, чтобы отрицать, и слишком мало, чтобы верить, я нахожусь в таком жалком состоянии, что тысячи раз желал бы, чтобы, если есть Бог в природе, то она обнаружила бы Его недвусмысленно, а если признаки Бога обманчивы в ней, — чтобы она их совсем уничтожила». Вот, в самом деле, удивительное признание в устах христианина; ни один человек в Церкви такого признания не сделал бы.

Огромное большинство неверующих вовсе не последовательные безбожники, а только сомневающиеся в Боге; к ним-

то и обращается Паскаль в Апологии. «На неверующих история жизни его действует больше, чем тысячи проповедей», — хорошо скажет неверующий Бэйль. Так же действуют и «Мысли», где отразилась, как в верхней зеркале, жизнь Паскаля. Здесь, в Апологии, как почти во всем, он между двух или вернее, между четырех огней: две Церкви, янсенистская и католическая, — два огня; и еще два, — Церковь и мир.

Что сделал Паскаль, янсенисты не поняли. Кто он такой для ближайшего к нему из них, Пьера Николя? Только «собираатель ракушек». — «Мало будет он известен потомству, — предсказывает тот же Николь в надгробной речи над Паскалем. — Он был царем в области духа... но что от него осталось, кроме двух-трех довольно бесполезных, маленьких книжек?»

«Мысли» Паскаля св. Инквизиция сожгла бы, а его друзья, янсенисты, хуже сделают: выжгут цензурой из книги его все, чем она жива и действенна; обезоружат его и выдадут головой врагу.

Слабо любят его друзья-янсенисты, а враги-католики сильно ненавидят. Парижский архиепископ, Гардуэн де Перефикс, хочет «вырыть из могилы тело его, чтобы бросить в общую яму», как падаль нечистого пса.

Но хуже для Паскаля, чем мнимые христиане и действительные безбожники, — люди, верующие в иного Бога, дети Матери Земли, но не Отца Небесного, — такие, в христианство не обратимые, потому что для него непроницаемые, люди, как Монтэнь, Мольер, Шекспир, Спиноза и Гёте. Вот вечные враги его, а ведь они-то и сотворят то человечество грядущих веков, для которого только и делал он то, что делал. Мог бы он, впрочем, утешиться и, вероятно, утешался тем, что у него и у Христа одни и те же враги. «Се лежит Сей на падение и восстание многих в Израиле и в пререкаемое знамение» (Лк., 2, 34), — это можно бы сказать и о Паскале.

«Какой великий ум и какой странный человек!» — таков приговор Мольера над Паскалем, после воображаемой беседы их у Сент-Бёва. «Станный человек» значит «почти или совсем безумный». Но это кажущееся людям мира сего безумие Паскаля есть ни что иное, как «безумие Креста». — «Для такого сердца, как у него, возможно было только одно из двух — или Бездна, или Голгофа». — «Плачущий у подножия креста Ар-

химед», — вот кто такой Паскаль. «Я стираю руки мои к Освободителю, который сошел на землю, чтобы пострадать и умереть за меня».

Может быть, после первых людей, увидевших в Сыне человеческого Сына Божия, никто не называл Христа **Спасителем**, с таким бесконечным страхом гибели и с такой бесконечной надеждой спасения, как Паскаль.

О, вещая душа моя,  
О, сердце, полное тревоги,  
О, как ты бьешься на пороге  
Как бы двойного бытия!

Так, ты жилище двух миров;  
Твой день — болезненный и страстный,  
Твой сон — пророчески-неясный,  
Как откровение духов...

Пускай страдальческую грудь  
Волнуют страсти роковые, —  
Душа готова, как Мария,  
К ногам Христа навек прильнуть.

Лучше нельзя выразить того душевного состояния, в котором написаны «Мысли».

3

Те, кто слышал Паскаля и хотя бы немного понял (совсем не понимал никто), уже никогда не могли слышанного забыть. Люди вспоминают и записывают речи его, сказанные лет десять назад, как будто слышали их вчера. Эта незабвенность слова его зависит от нескольких совершенств в его языке.

Первое совершенство можно бы определить, как общий закон языка, математически; сила речи обратно-пропорциональна количеству слов; или эстетически, как определяет сам Паскаль: «красота умолчания». Кажется, двое только равны Паскалю по силе и сжатости речи — Данте и Гераклит, а превосходит его только один Единственный. Краткость и сила речи в «Мыслях» такая, как у человека в смертельной опасности — в пожаре или потопе. «Истина без любви — ложь». «Человек — мыслящий тростник». «Умрешь один». Бóльшего в меньшем никто не заключал. Надо быть очень пустым человеком, чтобы не чувствовать от этих кратких слов Паскаля почти такого же

действия, какое чувствует любящий от одного, впервые услышанного от любимой слова: «люблю», или умирающий — даже не от услышанного, а только угаданного в лицах близких: «умрешь».

Второе совершенство в языке его — простота. «Надо быть насколько возможно простым и естественным, ничего не преуменьшать и не преувеличивать». «Надо писать, как говоришь». Очень высоко ценит он «мысли, рожденные в обыкновенных, житейских разговорах». «Когда язык совершенно естественен, то читатель удивлен и восхищен, потому что думал найти писателя, а нашел человека».

Третье совершенство — точность. «Мысли» свои Паскаль перedelывал от восьми до десяти раз, хотя в первый раз они выражены так, что всякому другому могли бы казаться совершенством. Надо видеть фототипии с рукописи «Мыслей», чтобы понять, как бесконечны усилия Паскаля в поисках точности.

Четвертое совершенство — порядок слов. «Тот же мяч в игре, но один его кидает лучше другого; те же в речи слова, но действие их различно, смотря по тому, в каком порядке расположены слова».

Пятое совершенство — вкрадчивость. Надо не доказывать, а внушать: «надо делать на своем собственном сердце опыт того, что хочешь сказать так, чтобы слушатель вынужден был сдаться».

Шестое совершенство — соединение страсти с мыслью. Лучше всего знающая Паскаля Жакелина ждет всегда «великих крайностей от его кипящего сердца». «Спорит он всегда так горячо, как будто сердится на всех и ругается». Страстно чувствовать умеют все, но только очень немногие умеют **страстно мыслить**, как Паскаль. Исступление отвлеченнейшей и, как будто, холодной мысли у него подобно испугу страсти; чем отвлеченнее, тем страстнее, огненнее. Как руку на морозе обжигает схваченное железо, так иногда отвлеченнейшие мысли Паскаля обжигают сердце.

И, наконец, седьмое и главное совершенство в языке его — постоянное присутствие «антиномического», «противоположно-согласного». В каждой капле морской воды чувствуется соль; в каждом слове Паскаля слышится «противоположно-согласное» [не вскрытая Троичность]. Может быть, он только «собирает ракушек», но на таких берегах, где никто не бы-

вал до него кроме еще двух людей — Иоакима Флорского и Данте, и где чувствуется постоянный запах Божественной Соли — неземное дыхание Трех. Этим язык Паскаля напоминает больше всего Евангелие, насколько язык человеческий может напоминать Божественный.

«Он писал только для себя одного», — говорит Этьен Перрьэ в «Предисловии к Мыслям». Так оно и есть: в самых глубоких мыслях Паскаль забывает, что пишет Апологию, и что кто-то будет его читать, — забывает все и остается наедине с самим собой и с Богом. В этом необычайность и единственность «Мыслей»: кажется, в таком уединении с самим собой и с Богом не был никто из людей

Плачущий и утешающий, пророческий хор Океанид и Скванный Прометей — Мысли Паскаля и Человечество. Это больше, чем книга; это — вечно кровью сочающаяся рана в сердце человечества.

## 4

«Паскаль проходит всего человека, чтобы дойти до Бога». Вот почему Апология, Защита христианства, начинается у него с Антропологии, Человековедения. В несомненной для всех людей очевидности — в их бесконечном несчастье — Паскаль находит первую незыблемую точку всей своей Апологии.

«Кто увидит себя между двумя безднами — небытием и бесконечностью — ужаснется». «Я знаю только одно, — что скоро умру; но что такое эта неизбежная смерть, я не знаю». «Как бы ни была хороша комедия, ее последнее действие всегда кровавое. Кинут шепотку земли на голову, и это уже навсегда». «Между нами и адом или небом — только жизнь — самое хрупкое из всего, что есть в мире». «В пропасть люди беспечно бегут, что-нибудь держа перед глазами, чтобы не видеть пропасти». Это мешающее видеть Паскаль отнимает от глаз человека, чтобы остановить его на краю пропасти.

«Есть что-то непонятное и чудовишное в чувствительности людей к ничтожнейшим делам и в их совершенной бесчувственности к делам величайшим. Точно заколдованные какой-то всемогущей силою, погружены они в сверхъестественный сон». «Множество людей, осужденных на смерть, закованы в цепи и каждый день одних убивают на глазах у других, а те, кто остается в живых, смотрят друг на друга с отчаянием и

ждут своей очереди». «Этот человек в тюрьме не знает, постановлен ли над ним смертный приговор, но знает, что ему остается только один час, чтобы это узнать, и что этого часа довольно, чтобы отменить приговор; но вместо того, чтобы воспользоваться этим часом, он играет в карты. Таков сверхъестественный сон людей: это отяготение руки Божией на них». «Видя немоту всего мира, видя человека, лишённого света, покинутого на самого себя, в самом глухом углу мира, не знающего, кто и зачем бросил его туда, — я ужасаюсь, как перенесенный, во время сна, на пустынный и страшный остров, человек, который, проснувшись, не знает, где он, и не имеет возможности спастись с этого острова».

Паскалю в Апологии нужен человек последнего отчаяния, накануне самоубийства. «Вместо того, чтобы выбрать какую-нибудь веру, он (безбожник) решает себя убить». Мелькала ли мысль о самоубийстве у самого Паскаля; сделал ли он и этот страшный «опыт на своем собственном сердце»?

## 5

Люди, соединенные в общества, народы, государства, так же безумны и несчастны, так же заколдованы, погружены в «сверхъестественный сон», как всякий человек в отдельности.

«Люди естественно ненавидят друг друга». «Каждое человеческое я хотело бы поработить все остальные». «Каждый человек — все для самого себя, потому что, когда он умирает, то для него умирает все; вот почему каждый хочет быть всем для всех». «Люди заставляют служить похоть общему благу, но это — только лицемерие и ложный образ любви, а на самом деле, ненависть... Зло в человеке начало этим не истреблено, а только прикрыто». «Все в мире есть похоть чувственности, похоть знания и похоть власти. Горе проклятой земле, которая этими тремя огненными реками не орошается, а воспламеняется!.. Эти реки текут и падают, и увлекают все».

Паскаль обличает ложь и бессмыслицу человеческих законов. «Нет ничего справедливого и несправедливого, что не изменялось бы с изменением климата. Только три градуса широты опрокидывают законодательство; меридиан решает истину... Жалкая справедливость, ограниченная рекою! Истина — по сю сторону Пиринеев, а по ту — ложь». «Что может быть нелепее того, чтобы человек имел право меня убить только

потому, что живет на том берегу реки, и что его государь поссорился с моим?». «За что вы меня убиваете?». — «Как за что? Разве вы не живете на том берегу? Если бы вы жили на этом, я был бы убийца, а теперь я — доблестный воин».

Сила закона зависит не только от пространства, но и от времени. «Кража, кровосмешение, детоубийство, отцеубийство, — все некогда считалось добродетелью». «Кто пристальнее взглянет в основание законов, тот найдет его таким слабым, что, если не привык к чудесам человеческого воображения, то удивится, что и одного века достаточно, чтобы сделать закон достойным уважения. Все искусство основывать и разрушать государства заключается в том, чтобы нарушать установленные обычаи, исследуя их в источнике и показывая в них недостаток власти и справедливости».

Так же обличает Паскаль ложь и бессмыслицу собственности. «Эта собака моя», говорят глупые дети. «Это место мое под солнцем», говорят умные взрослые. — «Что такое собственность? Забытый грабеж». «Равенство собственности, конечно, справедливо. Но, так как люди не могут заставить людей подчиняться справедливости, как силе, то заставляют их подчиняться силе, как справедливости».

В 1660 году, Паскаль давал уроки какому-то мальчику, вероятно, четырнадцатилетнему сыну Герцога де Льюнь, одного из «господ Пор-Рояля». Кое-что из этих уроков записал, лет через десять, Пьер Николь, со слов присутствовавшего на них, под заглавием: «Три речи о сильных мира сего». Речи эти однозвучны с тем, что говорит Паскаль в Апологии о лжи государства — одного из самых чудовищных и мучительных видений в «заколдованном сне» человечества.

«Вы должны иметь две мысли, — одну явную для общества, которая возвышала бы вас над всеми людьми, а другую [тайную для себя], которая унижала бы вас и равняла со всеми людьми, потому что таково ваше естественное состояние, — учит Паскаль маленького герцога. — Царство ваше невелико... Но и величайшие цари земли, подобно вам, суть цари похоти... потому что только Бог есть Царь любви... Зная ваше естественное состояние, не думайте, что ваша собственная сила подчиняет вам людей... Не будьте же к ним жестоки... удовлетворяйте их законные желания... будьте милосердны, делайте добро, какое можете, и вы будете истинным царем похоти».

То, что я вам сейчас говорю, стоит немногого, и если вы на этом остановитесь, то погибнете, как честный человек. Есть множество людей, погибающих подло и глупо, в алчности, в зверстве, в насилии, в разврате, в злобе, богохульстве. Путь, который я вам указываю, благороднее, но все же великое безумие обрекает себя на гибель. Вот почему не должно на этом останавливаться, но должно, презирая похоть и царство ее, стремиться к тому Царству Любви, где все подданные дышат одною любовью и желают только благ любви. Этот путь укажут вам другие, а с меня довольно и того, что я вас остерегаю от того жестокого пути, которым идут многие сильные мира сего, потому что истинного состояния своего не знают».

Кажется, благороднее, проще и убедительнее никто не говорил о том, как «царство мира сего» относится к Царству Божию.

## 6

Так же, как ложное соединение людей — государство, когда оно делается единственной, последней и высшей целью, когда «Град человеческий», *Civitas hominum* [по св. Августи-ну], становится на место «Града Божия», *Civitas Dei*, Церкви, — Паскаль обличает и ложное знание, когда оно, делаясь тоже последней и высшей целью, становится на место религии.

Те немногие, кто пробудился от «заколдованного сна», напрасно ищут спасения во внешнем знании природы. «Внешнее знание не утешит меня от духовного невежества, во дни печали, но духовное знание утешит всегда от внешнего невежества». «Что такое человек в природе? Перед бесконечностью — ничтожество, перед ничтожеством — все; середина между ничем и всем. Человек бесконечно-далек от познания — (обеих противоположных) — крайностей; все концы и начала скрыты от него непроницаемой тайной; он одинаково неспособен видеть ни того небытия, из которого вышел, ни той бесконечности, которой будет поглощен». «Наша истина и наша справедливость — две такие неуловимые точки, что орудия нашего ума слишком тупы, чтоб их найти с точностью, и, если даже находят, то острия этих орудий, расщепляясь, упираются где-то около тех двух точек, скорее в ложь, чем в истину».

Царь внешнего, пробуждающего людей от «сверхъестественного сна», чтоб они могли увидеть гибель, но от нее не

спасающего знания, — Декарт. «Я не могу простить Декарту: он хотел обойтись без Бога во всей своей философии, но вынужден был позволить Ему дать миру пощечину, чтобы привести его в движение, а потом ему уже нечего было делать с Богом. Декарт бесполезен и сомнителен». Слишком ясно предчувствует Паскаль, что Декарт будет отцом всего внешнего, механического, людей от Бога уводящего знания, чтобы его простить и даже быть к нему справедливым. Слишком хорошо знает Паскаль, что нет ничего бесстрастнее, беспощаднее механики; нет ничего противоположнее живому, любящему и страдающему сердцу человека. Декарт для Паскаля — воплощенный демон Геометрии, самый холодный из всех демонов, вечно искушающий Бездною: «бросься отсюда вниз, ибо написано: Ангелам своим заповедает о Тебе сохранить Тебя; и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею».

## 7

Истинное знание, «утешающее во дни печали», есть не внешнее знание мира, а внутреннее знание человека. Проникая в последние, никем до него не исследованные, глубины души человеческой, Паскаль находит в них как бы развалины царственного величия, или запустевший и разрушенный храм какого-то неведомого Бога, и в полустертых, на стенах его, надписях читает имя этого бога: «Человек».

«Все несчастья человека доказывают его величие: это несчастья развенчанного царя». «Царственное величие человека видимо даже в его ничтожестве, ибо кто, кроме развенчанного царя, чувствует себя несчастным, потому что он не царь?.. Кто несчастен, потому что у него только один рот... и кто не несчастен, потому что у него только один глаз?» «Чем больше мы узнаем, тем больше открываем величия и низости в человеке». «Жалок человек, и велик, потому что знает, что жалок». «Дух человеческий, этот верховный судия мира, не так свободен, чтобы не быть смущенным первым, около него происходящим шумом. Пушечного грома не нужно, чтобы помешать ему думать; для этого достаточно визжащего флюгера или скрипящего блока. Не удивляйтесь, что этот человек нехорошо мыслит: комар жужжит около уха его... Если вы хотите, чтоб он нашел истину, отгоните комара, который смущает и побуж-

дает этот могущественный ум, правящий царствами. Смешной бог — человек».

А все-таки «царственное величие» человека — мысль. Человек — только тростник, самый слабый в мире, но тростник мыслящий. Чтобы раздавить его не нужно миру вооружаться на него: для этого достаточно веяния ветра, капли воды. Но если бы мир раздавил человека, он был бы все-таки выше мира, потому что знал бы, что умирает, а мир ничего не знает. «Все наше достоинство в мысли. Ею мы должны возвышаться, а не пространством и временем, которых не можем наполнить. Будем же хорошо мыслить... Мир обнимает и поглощает меня пространством, но мыслью я обнимаю мир».

«Слишком показывать человеку, как он подобен животным, не показывая, как он велик, — опасно; так же опасно слишком показывать ему величие его, не показывая низости, но всего опаснее оставлять его в неведении о том и о другом... Не должно человеку думать, что он равен животным, или Ангелам; но должно знать возможность того и другого. Если человек возвышает себя, я его унижаю; если он унижает себя, я его возвышаю... И всегда противоречу ему, пока он не поймет, что человек есть непонятное чудовище». «О, какая химера человек, какое чудовище, какой хаос, какое противоречие, какое чудо! Мудрый судия всего, бессмысленный червь; хранитель истины, помойная яма лжи; слава и отребье вселенной» [вот один из бесчисленных примеров «антиномического», «противоположно-согласного» в языке Паскаля]. — «Смирись же, гордый человек; молчи, бессмысленная природа; познайте, что человек бесконечно превосходит человека... слушайте Бога!»

Бог говорит человеку: «Я — Тот, Кто тебя сотворил, и Кто один только может открыть тебе, кто ты такой. Ты теперь уже не тот, каким Я тебя сотворил: ты был свят, невинен, совершенен, исполнен света и разума; Я открыл тебе славу и чудеса Мои; очи твои созерцали величие Мое... Но ты захотел быть равен Мне и найти в себе самом блаженство. Тогда Я покинул тебя и возмутил против тебя всю некогда тебе послушную тварь».

Здесь подходит Паскаль к тому сокровеннейшему и для «внешнего знания», непостижимейшему, что соединяет Антропологию, Человековедение, с Апологией, Защитой христиан-

ства, — к религиозному опыту первородного греха. Он говорит о нем так же ясно, просто и убедительно, как о своих научных опытах.

## 8

«Самая для нас непостижимая тайна есть наследие первородного греха, потому что нет ничего более противного нашему разуму, чем то, что грех первого человека сделал виновными всех, кто, будучи так далек от него, казалось бы, не мог в нем участвовать. Это кажется нам не только невозможным, но и несправедливым... А между тем, узел всех наших судеб завязан... именно в этой бездне так, что человек еще более непостижим без этой тайны, чем сама она непостижима для человека».

Самый таинственный узел человеческих судеб заключается в неразрешимом для человека противоречии между бесконечною волею к счастью и столь же бесконечной невозможностью счастья. — «Человек, вопреки своим страданиям, хочет быть счастливым и не может не хотеть». «Жажда счастья есть причина всех человеческих действий, даже и тогда, когда человек идет вешаться... О чем же нам говорит эта бессильная жажда, как не о том, что человек был некогда действительно счастлив, и что теперь осталось у него от этого счастья только пустота... ненаполнимая ничем, кроме содержания бесконечного, — то-есть, Бога?» «Если человек создан не для Бога, то почему же он счастлив только в Боге? Если человек создан для Бога, то почему он противится Богу?». «Вся природа такова, что всюду на ней видны знаки потерянного Бога». «В странную, для человеческих взоров непроницаемую тайну прячется Бог... Он таился под покровом природы до своего воплощения, а когда Ему должно было явиться, то скрылся еще более под покровом человечества. Легче было узнать Его, когда Он был невидим, чем когда Он явился... Все явления мира суть покрывала на Боге. Верующие должны узнавать Его во всем».

«Все пророчества и чудеса, все доказательства веры не до конца убедительны, но и не таковы, чтобы не было в них основания для веры. Есть в них очевидность, и есть темнота, чтобы просвещать одних и ослеплять других». «Неверно, что все скрывает Бога, но так же неверно, что все открывает Его; верно лишь то, что Бог скрывается от тех, кто искушает Его, и открывается тем, кто ищет Его, потому что люди одновре-

менно и недостойны Бога, и способны к Нему; недостойны, по своему растрению, а по своей первой природе, способны». «Истинно, Ты — Бог сокровенный, по слову пророка. Если бы не было темноты [в вере], то человек не чувствовал бы своего растрения; если бы не было света, то человек не надеялся бы на исцеление. Итак, не только справедливо, но и полезно, чтобы Бог был отчасти скрыт и отчасти открыт, потому что для человека одинаково опасно знать Бога, не зная своего ничтожества, и знать свое ничтожество, не зная Бога».

## 9

Новый метод религиозного познания у Паскаля заключается в том, что он переносит его из разума в то, что называет «сердцем», а мы назвали бы «волей». В этом религиозный опыт его совпадает с научным. «Все познания первых начал, — пространства, времени, движения, числа, — идут не от разума, а от сердца», — воли. «Истину мы видим не в силлогизмах, а во внутреннем озарении... Внутренним только осознанием познается Бог, *per tactum intrinsecum*», — с этим утверждением Кампанеллы согласился бы Паскаль.

В этом новом методе Богопознания против Паскаля не только вся философия, от Аристотеля до Декарта, Спинозы и Канта, но вся католическая Церковь, от св. Фомы Аквинского до Ватиканского собора 1870 года, объявившего анафему тому, кто отрицает, что «при свете естественного человеческого разума бытие Бога достоверно познаваемо».

«Сердцем, а не разумом узанный Бог, — вот что такое вера, — учит Паскаль. — Есть и у сердца свои разумные доводы, которых разум не знает... Разве мы любим по разуму?» «О, как далеко от познания Бога до любви к Нему!» «Если люди верно говорят о делах человеческих: 'надо знать, чтобы любить', то святые говорят о делах Божиих: 'надо любить, чтобы знать'». — «В истину нельзя войти без любви». «Истина без любви... ложь».

«О, как я люблю видеть этот гордый разум униженным и умоляющим!» «Нет ничего соответственнее разуму, чем отречение от разума». «Последнее действие разума сводится к тому, что есть нечто, бесконечно большее разума». «Если даже естественные явления выше разума, то насколько более — сверхъестественные». «Мудрость возвращает нас к детству».

«Все, что непонятно, все-таки есть: бесконечное число, бесконечное пространство, равное конечному». «Невероятно, чтобы Бог соединился с человеком?.. Но я хотел бы знать, по какому праву такое слабое животное, как человек, измеряет милосердие Божие и ставит ему границы. Человек не знает, что такое он сам; где же ему знать, что такое Бог? Как же он смеет утверждать, что Бог не может сделать его способным к общению с собой?» — «Христианство очень странно: оно велит человеку признавать себя гнусным, и учит его уподобляться Богу... Как мало у христианина гордости, когда он соединяется с Богом, и как мало низости, когда он равняет себя с червем земли!» «Я хвалю только тех, кто ищет, стеною. Надо устать до изнеможения, в поисках истинного блага, чтобы протянуть, наконец, руки к Освободителю».

## 10

Кроме двух книг — «Опытов» Монтеня и «Руководства» Эпиктета, — третья главная книга для Паскаля в Апологии — «Кинжал Веры», испанского доминиканца Раймонда Мартини, где чудом уцелели от огня Инквизиции древнейшие памятники Иудейской письменности. Паскаль ищет в них совпадения христианского предания со свидетельствами великих учителей Талмуда в том, что он называет «непрерывностью», и что мы могли бы назвать «единством религиозного опыта человечества в веках и народах, во всемирной истории».

«Что бы ни говорили [неверующие] о христианстве, надо признать, что в нем есть нечто удивительное. 'Это вам кажется, потому что вы родились в христианстве', могут мне возразить. Нет, вовсе не потому, а наоборот: я противлюсь христианству, потому что в нем есть это удивительное... Люди, от начала мира, ожидали Мессию... и утверждали, что Бог им открыл, что родился Искупитель... Это удивительно».

Исторические ошибки Паскаля слишком явны. «Летописи Иудейского народа на несколько веков древнее, чем летописи остальных народов». «Весь этот великий и многочисленный народ произошел от одного человека» (Авраама). «Греки и римляне заимствовали свои законы от иудеев». «Сим, видевший Адама, видел Ламеха, который видел Иакова, а Иаков видел тех, кто видел Моисея». Такая «история» для нас уже немного стбит. Но все эти ошибки Паскаля несущественны, потому что сделаны в порядке Истории, а не Мистери, — внешнего

знания о мире, а не внутреннего знания о человеке, — того, на чем зиждется вся Апология.

Судя по тому, что Паскаль ставит наравне с ветхозаветными пророчествами чудное сказание Плутарха о кормчем Тамузе, услышавшем таинственный крик: «умер Великий Пан!» [что не пришло бы, конечно, и в голову ни одному из церковных апологетов], — он мог бы понять пророческий смысл и таинств Елевзиса, Египта, Вавилона, Крито-Эгеи, — всего, что мы называем «христианством до Христа», и что, в самом деле, есть одно из удивительнейших чудес всемирной истории.

## 11

Огненное сердце «Мыслей» — та ночная беседа Паскаля с таинственным Гостем, которую он сам называет «**Иисусовой Тайной**». Главное жизненное действие сердца — посылать во все, даже мельчайшие сосуды тела кровь; так же действует и «Тайна» в Мыслях: в каждой из них слышится биение, в каждой льется кровь этого сердца.

Все начинается и кончается в Мыслях тем «сверхъестественным сном» человечества, которым спят ученики Иисуса, в Гефсиманскую ночь. Главная цель Паскаля — разбудить, «расколдовать» людей от этого «заколдованного сна». «В смертном борении будет Иисус до конца мира: в это время **не должно спать**».

В «Иисусовой Тайне» — этом не внешнем, а внутреннем «видении», «явлении» Христа — совершается как бы Его «Второе Пришествие», или вечное «Присутствие» в мире: «вот, Я с вами, во все дни, до скончания века. Аминь! (Мт., 28, 20).

«Иисус — **один** на земле», вспоминает Паскаль, может быть, не только о Гефсиманской ночи, но и о своей.

Если человек — **один**, Я с ним, — по «незаписанному» в Евангелии слову Господню. «Иисус один» — наедине с Паскалем. В этой внутренней близости Человека к человеку чувствуется близость не только Духа к духу, но и Тела к телу. Кажется, ученики Христа узнали бы в этой ночной беседе Паскаля голос Учителя.

Может быть, точно такие же «Явления» — «Присутствия» бывали и у великих святых в Церкви, но грешному человеку в миру это явление, кажется, — первое, еще никогда не бывающее.

Люди, слышавшие сами или помнившие тех, кто слышал сам живой голос Иисуса, хранили в памяти и передавали друг другу, а иногда и записывали, до конца I-го и начала II-го века, подлинные, из уст Его услышанные, но в Евангелии «не записанные» слова Господни, «Аграфы». Сто́ит только вслушаться в иные слова «Иисусовой Тайны», чтобы убедиться по нечеловеческому звуку их, что и эти слова — «Аграфы», и что они могли быть услышаны Паскалем только из уст самого Иисуса.

«Или ты хочешь, чтобы Я за тебя лил Кровь Мою, когда ты за Меня и слез не пролил?»

Не бойся и молись за себя с такою же верою, как за Меня.

Я больше твой друг, чем все твои друзья, потому что Я сделал для тебя больше, чем они, и потому что они за тебя не пострадали бы, как Я страдал, и не умерли бы, как умер Я, еще в дни твоего неверия и ожесточения.

Я тебя горячее люблю, чем ты любил некогда скверную твою».

Кто не услышит и не узнает в этих словах Иисусова голоса, тот не узнает его и в Евангелии.

## 12

«Противоположное — согласное, — учит Гераклит. — Из противоположного возникает прекраснейшая гармония; из противоборства рождается все». Это значит: все рождается из противоборства и согласия Двух Начал в Третьем — из божественной тайны Трех. «Бог есть день — ночь; зима — лето; война — мир; сытость — голод: все противоположности, **«анантиа»**, в Боге». **Анантиизмом**, «философией противоположностей», можно бы назвать всю мудрость Гераклита и мудрость Паскаля также.

Главный религиозный метод его — «согласование противоположностей», *accorder les contraires*. Паскаль, вероятно, ничего не знал о Гераклите; тем удивительнее эти его совпадения с Гераклитом не только в мыслях, но и в словах.

«Два противоположных начала, — с этого должно все начинать.. И даже в конце каждой высказанной истины должно прибавлять, что помнишь противоположную истину» «Наше (человеческое) величие заключается не в том, что мы находимся в одной из двух (противоположных) крайностей, а в

том, что мы находимся в них обеих вместе и наполняем все, что между ними. Но, может быть, душа соединяет эти крайности только в одной точке, как бы в раскаленном угле». «Противоположные крайности соприкасаются и соединяются в Боге, и только в одном Боге». «Только в Иисусе Христе все противоречия согласованы». «Вера объемлет многие, как будто противоречивые, истины... Две природы (Божеская и человеческая) соединяются в Иисусе Христе, а также два мира (создание нового неба и новой земли)».

«Он (Христос) есть мир наш, соделавший из **двух одно** и разрушивший стоявшую между ними преграду», — учит Павел [Еф., 2, 14-16], и тому же учит Паскаль. Весь религиозный опыт его достигает высшей точки в этом учении о двух Божественных Началах — Отце и Сыне — соединяющихся в Третьем Начале — в Духе. Если так, то огненное сердце Мыслей — «Иисусова Тайна», — есть не что иное, как тайна Трех.

«Бесконечным расстоянием между телами и духами прообразуется расстояние, еще бесконечно-большее, между духом и любовью, потому что оно сверхъестественно... Эти **три порядка** (Тело, Дух, Любовь) различны по качеству». «Все тела — небо, звезды, земля и все царства земли, — не стоят ни малейшего из духов, потому что он знает все это и знает себя, а тела ничего не знают. Все тела и все духи, вместе взятые, и все, что от них произошло, не стоят ни малейшего движения любви, потому что это относится к порядку бесконечно-высшему. Все тела, вместе взятые, не могли бы произвести ни малейшей мысли: это невозможно, потому что относится к иному порядку. Все тела и духи не могли бы произвести ни малейшего движения любви: это невозможно, потому что относится к иному, сверхъестественному порядку».

Сам того не зная, Паскаль в этом учении о «трех Порядках» продолжает, через пять веков, дело, начатое Иоакимом Флорским, — учение о «трех состояниях мира» — «трех Царствах» — Отца, Сына и Духа.

«Три порядка» — в созерцании Паскаля, а в действии, в жизни, — три чуда: Огонь, Терн и Кровь [«каплю крови Моей я пролил за тебя», говорит ему Иисус в «Тайне»]. Каждое из этих трех чудес было как бы физическим и метафизическим вместе **осязанием прорыва** между порядками, — таким же убе-

дительным опытом, как понижение ртутного столбика в стеклянной трубке, при восхождении на высоты, и, в то же время, **переходом** из одного порядка в другой, из низшего — в высший. В первом чуде — Огня — совершился для Паскаля переход из первого порядка — вещества, плоти, — во второй порядок — духа; во втором чуде — Терна, переход из второго порядка — Духа, в третий — любви, где совершается третье чудо — Крови.

## 13

«Я еще не все сказал; вы увидите...». Это, вероятно, одна из последних, не конченных «Мыслей» Паскаля, одно из его последних не договоренных слов. «Страх Земли», — так можно бы определить то, почему он не сказал и не сделал всего, что мог бы сказать и сделать.

Господня земля и что наполняет ее [Пс. 23, 1], — этого Паскаль не говорит и не чувствует. Небо для него Господне, но не земля.

Слава Тебе, Господи, за Мать нашу, Землю,  
которая носит нас всех и питает, —

этого Паскаль тоже не чувствует и не говорит, как св. Франциск Ассизский в «Песне тварей». «Сердцем узнанный Бог» для Паскаля не в человеке и в природе, а только в человеке. Он изучает, испытывает природу, но не любит ее, а боится: «вечное молчание этих беспредельных пространств меня ужасает». Ужас природы и есть для него тот ужас Бездны, который преследует его всю жизнь:

Была с Паскалем бездна неразлучна.

Кажется иногда, что одержимый «страхом земли» он не знает и земных путей человечества, — того, как движется оно во времени, в истории, от Первого Пришествия ко Второму, и что у него нет эсхатологии, потому что нет истории. Верит ли он в «третий Порядок Любви» — Царство Божие — не только на небе, но и на земле? Если и верит, то вера эта не доходит до его сознания.

Страх Земли у Паскаля — в порядке космическом, а в человеческом — страх Плоты. Догмат Воскресения он утверждает. «Почему они (безбожники) говорят, что Воскресение невозможно? Что труднее — родиться, или воскреснуть; быть впервые тому, чего никогда еще не было, или быть снова тому,

что уже было однажды; труднее ли в бытии возникнуть, или вернуться в бытие? Легким нам кажется первое только по привычке, а по недостатку привычки второе кажется нам невозможным: простонародный способ суждения». Проще, яснее и убедительнее никто об этом не говорил. Но кажется иногда, что самому Паскалю это ненужно, а если и нужно, то этого он не сознает, а только предчувствует; кажется, что для него то, что Иисус умер, или даже всегда умирает [«в смертном боре-нии будет Иисус до конца мира»], нужнее и действительнее, чем то, что Он воскрес.

Страх Земли, страх Плоти, — может быть, главная причина того, что Паскаль не соединяет двух вопросов, которые больше всего мучат его, и для которых он больше всего сделал, — вопроса о Трех Порядках и вопроса о Церкви; главная причина того, что он умом ясно не понимает, а только сердцем смутно чувствует, что ответ на эти два вопроса найден будет лишь тогда, когда они соединятся, потому что единая Вселенская Церковь может осуществиться только в «Третьем Порядке Любви» — в «Третьем Царстве Духа».

Три Порядка в созерцании — три чуда в действии: вся жизнь Паскаля под знаком Трех. «Три в Одном, — Отец, Сын и Дух Святой, — есть начало всех чудес», — этим исповеданием Данте в «Новой Жизни» начинает свою жизнь; им же и кончает ее в «Божественной Комедии»:

Там, в глубине Субстанции Предвечной,  
Явились мне три пламеневших круга  
Одной величины и трех цветов...  
О, вечный Свет, Себе единосущный,  
Себя единого в Отце познавший,  
Собой единым познанный лишь в Сыне,  
Возлюбленный Собой единым в Духе!

Тем же исповеданием мог бы кончить жизнь свою и Паскаль, и почти кончил. «Я еще не все сказал»: если бы сказал и сделал все, то понял бы, что разбудить, расколдовать человечество от «заколдованного сна» можно только этим всемогущим, из всех человеческих слов самым божественным — Три.

Вышел ли Паскаль из католической Церкви или остался в ней? Спор об этом ведется вот уже триста лет и, вероятно,

будет вестись всегда, потому что он неразрешим в той плоскости, где происходит, — в «двух низших порядках — плоти и духа»; он мог бы решиться только в «третьем, высшем порядке любви».

В 1665 году, два с половиной года по смерти Паскаля, архиепископ Парижский, Гардуен дё Перефикс, тот самый, который хотел вырыть из могилы тело его, чтобы бросить в общую яму, призвав о. Павла Бёррэ, спросил его с грозным видом, правда ли, что он причастил такого отъявленного еретика-янсениста, как Паскаль? О. Павел оробел и смутился, но ответил по совести, что Паскаль, еще года за два до смерти отрекся от яansenистской ереси и умер правоверным католиком. Архиепископ велел ему записать это показание и, хотя обещал хранить его в тайне, но слова не сдержал и разгласил.

Лет через шесть, о. Павел писал Жильберте Перьэ: «слышал я, что вы огорчены тем, что люди злоупотребляют показанием о вашем брате, которое вынудил у меня покойный Парижский архиепископ... Я был тогда убежден, что верно понял слова, сказанные мне вашим братом... Но теперь вижу, что они могли иметь и, как я полагаю, действительно имели **не тот смысл, какой я им придал...** Я желал бы от всей души, чтобы это показание никогда не было мною сделано, потому что оно, как мне теперь кажется, не соответствует истине, и потому, что им злоупотребляют вопреки моей воле». И еще года через два, — Этьену Перьэ: «я **никогда не говорил что покойный г. Паскаль от чего-либо отрекся**».

Так падает главное и, в сущности, единственное свидетельство о том, что католики называют «отречением Паскаля от яansenистской ереси и его возвращением в лоно католической Церкви».

Бедному о. Павлу тем труднее было понять, что думал Паскаль о Церкви, что, может быть, тот и сам это не всегда понимал. Ясно только одно: ни в протестантской, ни в католической Церкви Паскаль не вмещается: он между них, как между двух огней; ясно также, что в последние годы он отошел от «господ Пор-Рояля». Как ни далек он от иезуитов — от яansenистов он еще дальше. Чтобы в этом убедиться, стóит только вспомнить тот уцелевший в Мыслях черновой набросок для Писем: «больше всего следует исповедывать **обе противоположные истины**, в то время, когда одна из них отрицается.

Вот почему иезуиты так же неправы, как янсенисты; но все-таки эти еще более неправы, чем те, потому что иезуиты яснее исповедуют обе истины».

«Иисус Христос — Искупитель всех... Когда вы (янсенисты) говорите, что Он умер не за всех... вы доводите людей до отчаяния... вместо того, чтобы приводить их к надежде». Так отрицает Паскаль одну из глубочайших основ всего протестантизма, от Лютера и Кальвина до Янсения, — догмат об искуплении не всех, а только немногих, «предопределенных», «избранных». Но если бы суд его над католической Церковью не был так же суров, как над протестантской, то он не повторил бы за св. Бернардом Клервосским: «к Твоему суду взываю, Господи!»

## 15

«Три в Одном [здесь Паскаль, как будто уже предчувствует, что Вселенская Церковь осуществится только под знаком Трех], Три в Одном — единство и множественность: католики ошибаются, исключая множественность, а гугеноты [протестанты], исключая единство». «Если смотреть на Церковь, как на единство, то глава ее, Папа — все; но если смотреть на нее, как на множественность (соборность), то Папа — только часть Церкви... Множественность, которая не сводится к единству, есть беспорядок, а единство, которое не зависит от множественности, есть произвол».

Вот что говорит Паскаль о том, чему суждено было сделаться столпом Римской Церкви, — о папской непогрешимости: «Бог не творит чудес в обыкновенном водительстве Церкви. Странною была бы непогрешимость одного человека (Папы), но естественна негрешимость многих людей (Церкви), потому что водительство Божие скрыто в природе [и в человечестве], — как во всех делах Божиих». Так не мог бы говорить Паскаль, если бы уже не стоял на пороге католической Церкви и не был готов из нее выйти.

«Молчание есть величайшее из всех гонений. Святые никогда не молчали... После того, как Рим произнес приговор, должно тем сильнее кричать, чем приговор несправедливее и чем сильнее хотят заглушить крик, пока не придет, наконец, Папа, который выслушает обе стороны... Добрые Папы найдут вопиющую Церковь». «О, неужели я никогда не увижу христианского Папу на престоле Св. Петра!» — эти слова друга сво-

его, Домá, единственного человека, который кое-что понимал в муке Паскаля о Церкви, мог бы и он сам повторить.

«Кажется, обе Церкви (протестантская и католическая) правы и неправы, потому что в каждой из них — только половина истины» — говорит в книге «Восстановление Христианства», в главе «О любви», Михаил Сервет, «ересиарх», сожженный дважды, — Римскою Церковью, «в изображении», и в действительности, Кальвином. «В каждой из двух Церквей только половина истины», — это и значит на языке Паскаля: «две противоположные истины — та, что в Церкви католической, и та, что в Церкви протестантской, — соединятся в Церкви Вселенской — в **третьем порядке Любви**».

Лучше всего можно понять, что сделал Паскаль для будущей Вселенской Церкви, сравнив его с Лютером и Кальвином. Слабость этих обоих в том, что они вышли из католической Церкви, не пройдя ее всю до конца и исповедуя только одну из «двух противоположных истин», «соборность», «множественность»; сила Паскаля в том, что он вышел из этой Церкви, пройдя ее всю до конца и соединив обе истины — множественность, соборность и единство.

Лютер и Кальвин были только на пороге Вселенской Церкви под знаком Двух, а Паскаль в нее вошел, под знаком Трех.

*Д. С. Мережковский*

# ЧЕЛОВЕК В ТОТАЛИТАРНОМ ГОСУДАРСТВЕ\*

## 1

В этой статье мы хотим попытаться проанализировать поведение человека, живущего под тоталитарным режимом, его реакции, чувства, мышления. Понятно, мы можем дать только схему, выявить только типичные черты. Как ни различны восприятия разными людьми одних и тех же событий, есть нечто, общее, свойственное человеку как таковому. И вот как раз с этим общим тоталитарные режимы не считаются.

В своей книге «Тоталитарная власть»,<sup>1</sup> Ганс Бухгейм дает совершенно правильное различие между авторитарным режимом (даже самой суровой диктатурой) и тоталитарной властью. Тоталитарная власть, конечно, всегда тоже диктатура, но не всякая диктатура и тем более не всякий авторитарный режим — тоталитарны. Тоталитарная власть возникает тогда, когда у этой власти есть идеология, претендующая на объяснение всех разнообразных явлений и на то, что у нее есть рецепт «правильного» построения общества по определенному плану.

Мы совершенно согласны с Г. Бухгейм и с Г. Арентд,<sup>2</sup> которые полагают, что подлинно тоталитарными можно считать только два режима: коммунистический и национал-социалистический. Фашистскую Италию нельзя считать полностью тоталитарной, и еще менее тоталитарна Испания Франко, хотя там и безусловно авторитарный режим.

Отдельные черты и тенденции тоталитаризма можно встретить в различных государственных образованиях, иногда даже

---

\* Эта статья написана автором по-немецки для сборника «Грениц-проблеме дес Глаубенс», который вскоре выходит в изд-ве Бенцингер в Швейцарии, под редакцией Фрица Рау и Шарлотты Хёргль. Перевод с немецкого сделан самим автором. РЕД.

<sup>1</sup> Ганс Бухгейм «Тоталитэре Хершафт», Мюнхен, 1962.

<sup>2</sup> Ганна Арентд «Элементе унд Уршпрюнге Тоталитэре Хершафт», Франкфурт, 1955.

таких, где их не ожидаешь, но мы ограничимся рассмотрением только этих типичных примеров.

Девятнадцатый век и либерализм были склонны рассматривать жизненные явления в их обособленном разделении. Они разрывали единство жизни, и в ответ на это должны были возникнуть обратные движения, стремящиеся к новому единству. Стремление к единству, как таковое, обосновано постольку, поскольку Бог создал целостный мир, но целостность эта дана в разнобразии, это живая целостность. И если люди перестают ощущать ее, если она распадается, тогда возникают судорожные усилия собрать эту ускользающую целостность под каким-нибудь имманентным и односторонним углом зрения. А когда объяснения мира становятся недостаточны, когда появляется желание изменить мир, претворить новое теоретически найденное единство в жизнь (Карл Маркс: философы уже достаточно объясняли мир, его надо изменить), тогда возникают тоталитарные режимы. Часть принимается за целое, и делается попытка втиснуть всю жизнь в рамки этой части, чтобы создать искусственное единство.

Такие попытки могут достигать большего или меньшего результата, но «полное совершенство» для них недостижимо: человек его бы не выдержал. Создается парадоксальное положение: сами создатели этих экспериментов объясняют «недостатки» их системы тем, что совершенство еще не достигнуто, что люди еще недостаточно проникнуты «истиной» их идеологии, что они еще недостаточно «перевоспитаны». И это не достигнуто либо оттого, что прошло еще недостаточно времени, либо оттого, что все еще есть «вредители» и «паразиты», мешающие осуществлению совершенного строя. Но если удастся одних полностью перевоспитать, а других ликвидировать, тогда-то и наступит «совершенство» и человек будет вполне удовлетворен, даже безоблачно счастлив в этой безупречно функционирующей системе.

На самом же деле, чем менее достигнуто совершенное функционирование системы, тем свободнее люди могут дышать. Чем ближе система к совершенству, тем нестерпимее становится существование в ее рамках и тем отчаяннее люди, находящиеся в ее власти, стараются ее расшатать или найти в ней дыры, причем эти старания происходят только отчасти сознательно и активно, большей же частью бессознательно или

полусознательно, это скорее пассивное, чем активное стремление как-то противостоят насилию над человеческой природой. Отчаянно барахтающиеся «вредители» расшатывают уже приближавшуюся было к совершенству систему, но поскольку сами эти «вредители» вовсе не активные и сознательные борцы, а просто вся масса обыкновенных людей, то они ускользают от рук диктатуры, не поддаются точному определению и побуждают власть либо прибегать к слепому массовому террору, либо несколько ослаблять возжи и с неудовольствием наблюдать, как «мелкий мещанин» уничтожает «великие планы» переустройства мира.

Невозможность сделать систему совершенной всегда побуждает власть искать какого-то конкретного противника, на которого можно было бы свалить всю вину. Национал-социалисты нашли его в евреях. Этого «врага» было легко изолировать: но если бы национал-социализм просуществовал дольше, он должен бы был увидеть, что уничтожение евреев не уничтожило трудностей режима.

Коммунизм сначала тоже мог ясно определить своего «врага», это был «классовый враг». Однако, позже, когда видимый «классовый враг» был уничтожен, определение «врага» расплылось в формуле «остатков буржуазного сознания» во всем народе. Так возникает непрерывная борьба режима против его неуловимого противника: самой природы человека.

В ходе этой борьбы, проводимой различными средствами, с переменным успехом, прежние утопические цели превращаются неизбежно в свою противоположность: «Чтобы навсегда исчезли тюрьмы, мы построили новые тюрьмы. Чтобы пали границы между государствами, мы окружили себя китайской стеной. Чтоб труд в будущем стал отдыхом и удовольствием, мы ввели каторжные работы. Чтоб не пролилось больше ни одной капли крови, мы убивали, убивали и убивали».<sup>3</sup>

## 2

«Особое и своеобразное свойство тоталитарной власти поняли только те, кто попал непосредственно под ее владычество, но даже и они поняли это не сразу, потому что это был совершенно новый опыт. Тоталитарное господство перерастает

---

<sup>3</sup> Абрам Терц «Что такое социалистический реализм?» («Фантастический мир Абрама Терца». Париж, 1966).

все обычные политические нормы и принимает непредусмотримые и жуткие размеры; жизнь, попавшая в круг его влияния, становится спутанной и неуверенной. Люди видят себя не только стесненными в их свободе, но и полностью выданными режиму, претендующему на всего человека, затягивающему его постепенно в свой механизм и вовлекающего его в свою вину», — пишет Ганс Бухгейм в упомянутой книге.

При этих новых необычных обстоятельствах жизнь принимает неожиданные формы. Многие гражданские добродетели, ранее признававшиеся незыблемыми превращаются теперь в свою противоположность, чем и обнаруживают свою относительность. Честное исполнение служебных обязанностей в нормальном правовом государстве дает обычно положительные результаты, но при тоталитарной власти результаты бываю зачастую отрицательные. Даже такое бесспорно отрицательное явление как взяточничество при тоталитарном режиме может иногда помочь человеку, находящемуся без вины в безвыходном положении.

У одинокого постового, например, на границе гитлеровской Германии или на демаркационной линии, разделяющей в наше время две Германии, есть выбор между тремя видами поведения по отношению к замеченному им беглецу. Он может поступить, согласно с своими служебными обязанностями, арестовать беглеца и выдать его властям. Если дело шло, скажем, об еврее, пытавшемся выбраться из гитлеровской Германии, то такой постовой, выполняя свои обязанности, становился соучастником убийства невинного человека. В лучшем случае он становился соучастником лишения его свободы. Постовой мог с опасностью для себя и вполне бескорыстно помочь беглецу или по меньшей мере пропустить его. Но этот образ действия стоял бы в противоречии с его долгом службы, хотя в моральном отношении был бы безупречным, даже героическим. Он мог бы взять с беглеца взятку и спасти ему жизнь за какую-то материальную ценность. Это, конечно, поступок аморальный и много ниже бескорыстной помощи, но благодаря его результату — спасение жизни беглеца — он представляется предпочтительнее, нежели исполнение служебных обязанностей.

Мы рассмотрели гипотетический случай постового на границе, но в жизни такие случаи часто происходили и происходят. Начиная от «честного убийцы за письменным столом» Эйх-

мана до последнего маленького бюрократа, все, кто в тоталитарном государстве «честно» и бездумно выполняют свою обязанность по отношению к государству, помогают тем затягивать петлю тоталитаризма. Учителя, отказывавшиеся делать планы уроков и давать их на контроль, создавали хоть небольшую отдушину для самостоятельного творчества, хотя многие и делали это не из сознательного сопротивления, а просто по небрежности. Служащие милиции, затягивавшие по халатности месяцами регистрацию новоприбывших, давали часто возможность выжить людям, единственная «вина» которых была в том, что они происходили «не от тех» родителей. Без небрежности по отношению к служебным обязанностям, порой и без взяточничества, без бесчисленных человеческих слабостей и упущений, жизнь в тоталитарных государствах была бы совершенно невыносимой. «У нас многие идиотские распоряжения власти остаются невыполненными просто из-за нашей халатности, не говоря уже об общей пассивной оппозиции населения».<sup>4</sup>

Послушный, честный, идеологически более или менее нейтральный исполнитель является опорой тоталитарного режима; без него, только при помощи своих немногих убежденных сторонников, ни один такой режим долго не продержался бы. Так, обычные гражданские добродетели превращаются в свою противоположность и служат инструментом убийства и угнетения. Так, в такой необычной обстановке выясняется относительность общепринятых добродетелей. Незыблемым остается только истинное добро, не связанное ни с какой формальной регламентацией, когда люди думают, действуют и стараются помочь человеку, как таковому, это то, что Владимир Соловьев называл «вдохновением добра».

Но и при тоталитарном режиме жизнь состоит из пестрой мозаики труда и поступков, таких, которые режим может использовать непосредственно для собственного укрепления, и таких, которые необходимы для поддержания жизни и должны быть выполнены, несмотря на всё отвращение к режиму, чтобы избавить, например, народ от голода.

Возьмем крестьянина. Может ли он, сея хлеб, быть уверен, что он служит народу, а не режиму? Тоталитарная диктатура накладывает свою руку на все самые невинные и самые необ-

---

<sup>4</sup> А. Волгин. «Хир шпрехен Руссен». Майнц, 1965.

ходимые действия людей и старается использовать их для себя. Бухгейм приводит пример «зимней помощи» при национал-социализме. Люди жертвовали тогда, чтобы помочь многим нуждающимся (в Германии перед тем была большая безработица), но режим использовал это социальное начинание в целях собственной пропаганды.

Если б можно было с помощью пассивного сопротивления парализовать всю жизнь в стране, промышленность и сельское хозяйство, то режим был бы свергнут; но не говоря уже о практической невозможности такой всеобщей акции, была ли бы она морально оправдана, если бы из-за нее сначала должны были погибнуть многие невинные? Во время военного коммунизма и в начале коллективизации крестьяне пробовали оказывать пассивное сопротивление. Оно было безнадежно, власть сломила его силой, а кроме того еще волна голода прокатилась по стране. Но власть не только не отступила, а, наоборот, во многих областях, например, на Украине, сама, сознательно вызвала голод, чтобы тем вернее сломить сопротивление.

Сократили ли бы немецкие крестьяне время войны, если бы стали оказывать пассивное сопротивление и не обрабатывать свои поля? Может быть, но сначала по стране прокатилась бы волна террора и голода. Принесла бы она больше или меньше жертв, чем война? Кто может на это ответить?

В коммунизме рациональное планирование всей жизни является частью его идеологии. Коммунисты надеялись построить жизнь по образцу точного механизма машины. Как раз в области экономики, являющейся согласно этой идеологии базисом общества и его духовной жизни, всё должно было быть спланировано до мельчайших подробностей, но это планирование до сих пор создает положения гротеска. К тому же внутри спланированного хозяйства все время возникает нелегальная частная инициатива, пробивающая себе совершенно неожиданные тропы. В советской экономике процветает коррупция. Но без коррупции эта тотально распланированная экономика, вероятно, вообще бы не могла существовать. Клаус Менерт в своей книге «Советский человек» рассказывает, что каждое предприятие содержит нелегального «связного», который подпольно организует операции обмена, т. к. без этого предприятие не получило бы необходимого сырья. И здесь коррупция

всех обычных гражданских добродетелей представляется неизбежной.

Отсутствие конкуренции, незаинтересованность директоров и администраторов в продукции ведет к хроническому недостатку предметов потребления и к большому количеству брака. Об этом в коммунистических государствах рассказывается бесконечное количество анекдотов. И знаменательно, что мотивы таких анекдотов повторяются в разных тоталитарных государствах почти буквально. Например, о Сталине и Гитлере в Сов. Союзе и в нац.-соц. Германии рассказывались независимо друг от друга почти дословно одни и те же анекдоты.

От тоталитарного планирования особенно страдает сельское хозяйство. Оно так и не смогло по-настоящему оправиться после насильственной коллективизации 30-х годов. У крестьянина больше внутренней связи с собственностью и с личным трудом, чем у рабочего. Крестьянин так и не примирился с колхозами. И тотальная планировка и коллективизация мстят здесь сами за себя, уничтожая казенный коммунистический «идеал». Я хочу еще раз подчеркнуть, что говорю совсем не о сознательном саботаже. Здесь «саботирует» сама природа человека, потому что человек не машина. «Тому, кто берет для себя образцом формы» существования неодушевленного мира, поведение живых существ начинает представляться неразумным. По сравнению с машиной оно кажется ему ненадежным и расточительным. Ему хочется внести порядок: сэкономить время, силы, материал. Он пробует организовать жизнь рационально, но обычно в результате, все лучшее в жизни калечится, если жизнь не гибнет совсем».<sup>5</sup>

Не будем закрывать глаза на то, что не только в коммунизме есть тенденция построить жизнь по образу и подобию машины; в коммунизме эти тенденции только особенно сильны.

Тоталитарный режим развращает не только своих собственных граждан, но и тех, кто не находится под его властью, но с ним соприкасается. Следует ли, например, поставлять пшеницу в тоталитарные страны? Нельзя ли, наоборот, заставить диктатуру ослабить нажим на собственных граждан, оставив ее самое справляться со своими продовольственными трудно-

---

<sup>5</sup> Р. Гуардини «Познание веры. Терпение Божие. Владычество Христа. Провидение», Брюссель, 1955.

стями? Не удалось ли бы заставить режим распустить колхозы, если бы «капиталистические» страны не поставляли ему зерна? Но сколько бы людей и как долго голодали бы, прежде чем режим решился бы пойти на уступки в таком кардинальном для него вопросе?

Перед трудными решениями поставлены не только люди, живущие под властью тоталитарного режима. Как провести границу между людьми, которым хочешь помочь, и режимом, помогать которому значит еще больше закабалить этих же самых людей? Дает ли культурный обмен отдушину для интеллигенции Сов. Союза или же он больше служит целям советской пропаганды? Когда иностранцы приехали в 1936 г. в Берлин на спортивную олимпиаду, приехали ли они в гости к немецкому народу, или же они только подняли престиж режима, которому удалось блестящее пропагандное представление? Поскольку режим накладывает свою руку на все, на спорт и на культуру, иностранцы остаются в недоумении, как им различать политическую акцию и неполитические действия?

### 3

Человек, активный по натуре, но одновременно настроенный против режима, не может избрать себе какую-нибудь неполитическую область, чтобы удовлетворить свое стремление к активной деятельности. Красный Крест, благотворительная деятельность, всё политизировано. Ганс Бухгейм пишет, что тоталитарная власть и истинная политическая деятельность несовместимы потому, что настоящая политика связана со свободой решения. А политизация всей жизни в тоталитарном государстве означает в действительности ее деполитизацию. Этому же мнения придерживается и Ганна Арендт. Бухгейм указывает на то, что в правовом государстве человек должен иметь право совершенно отойти от политики, чтобы свободно посвятить себя полностью другим задачам. Но тоталитарные государства как раз и не дают своим гражданам свободы отойти от политики, равно как и свободы иметь другое политическое мнение. Тоталитарный режим берет человека полностью.

Любая свободная инициатива какой-либо группы, хотя бы она и была совсем неполитического характера, сразу вызывает подозрение тоталитарной диктатуры. Каждая тоталитарная власть старается создать ту или иную форму коллектива. Национал-социалисты говорили о «национальной общине», в ком-

мунизме коллектив играет очень большую роль. Но все эти коллективы должны быть организованы и контролируемы партией. Каждое спонтанное движение, каждая самостоятельная инициатива удушаются как только они переходят поставленные им очень узкие рамки. Человеку с активной натурой остается только или насильно убить в себе всякую инициативу, что очень тяжело, или приспособиться к системе, надеть на глаза шоры и пытаться верить в то, что требует от него партия.

Так создается тип активиста, который потом переходит в функционера. Честолюбие и карьеризм не обязательно должны при этом играть первенствующую роль. Но если они с самого начала преобладают то мы сразу же имеем дело с функционером. В периоды особо сильного давления диктатуры, для активных натур есть только два пути: внутренней эмиграции, героического и безуспешного сопротивления или службы режиму. Многие ценные люди идут последним путем, чтобы удовлетворить свою потребность в деятельности. При этом они пытаются обмануть самих себя или тем, что, мол, цели режима хороши, даже если средства и дурны, или же, что нельзя стоять в стороне, иначе всё дело попадет в еще худшие руки; надо, напротив, принять участие и направить движение в лучшую сторону.<sup>6</sup>

Последнее соображение побудило многих в начале национал-социализма к сотрудничеству с ним в известных границах. Но эти люди не поняли сущности тоталитарной власти, ее решимости и беспощадности. Все усилия исполненного благих желаний среднего честного гражданина заранее были обречены на неудачу; они не могли устоять против методов режима. Эти методы были для них неожиданны, человек не был к ним подготовлен и очень быстро и легко он попадал под колеса режима. В результате, среди приспособленцев оказывалось не меньше, а иногда и больше жертв, чем среди тех, кто с самого начала решил остаться в стороне. Тоталитарный режим, как мельничное колесо, затягивает всякого, кто ступил на него хотя бы одной ногой. Такой человек или должен полностью приспособиться к его ходу, или он будет втянут и измолот. С тотали-

---

<sup>6</sup> И. И. Манухин указывает в своих воспоминаниях о Горьком, что у последнего был план «окружения большевиков» путем сотрудничества с ними. «Новый Журнал», № 86.

тарным режимом нельзя сотрудничать только отчасти, одновременно сохраняя свое личное Я и внутреннюю независимость.

Бухгейм пишет: «Многие люди, поддерживавшие сначала режим, потому что они соглашались с некоторыми его национальными или социальными целями, должны были рано или поздно с горечью увидеть, что они на самом деле выбрали и поддерживали бесчеловечность. К тому времени, когда они, наконец, поняли, что они, собственно говоря, должны бы были быть бескомпромиссными противниками режима, они потеряли уже столько своего Я, что не могли уже оторваться от режима... Мы можем наблюдать это явление на биографиях многих сторонников коммунизма и национал-социализма, которые нередко ищут утешения в утверждении, что большевики исказили истинный марксизм, а Гитлер предал идею национал-социализма».

Это верное наблюдение объясняет факт, что иные бывшие коммунисты или национал-социалисты остаются все еще сторонниками этих идеологий, хотя они и прошли сами через концлагеря соответствующего режима, и в своих воспоминаниях бессознательно прикрашивают режим: они не могут признаться самим себе, что долгое время служили такому чудовищу.

Как это ни парадоксально, но те, кто с самого начала стояли в стороне, скорее могут уцелеть. Хотя при тоталитарных режимах бегство в личную жизнь уже само по себе означает враждебный акт и «аполитичные» не могут сделать большой карьеры, если они не являются выдающимися специалистами, но все же каждый тоталитарный режим должен терпеть какое-то количество «аполитичных» спецов. Ему без них не обойтись. В начале представители режима думают, что им придется только недолго терпеть таких специалистов, пока режим не воспитает свои собственные кадры. Однако, позже они к своему удивлению замечают, что все большее число молодых, ими воспитанных специалистов попадают в «аполитичные». Т. к. в Сов. Союзе тоталитарный режим существует уже почти 50 лет, то на его примере мы можем особенно ясно это наблюдать.

С одной стороны последние коммунисты-идеалисты, как тип, вымерли приблизительно к середине 30-х годов, уступив свое место коммунистам-чиновникам, с другой же стороны выросшая в Сов. Союзе молодежь начала заполнять ряды «аполитичных» — явление, которого вожди режима не предвидели.

Лучшее прибежище для «аполитичных» это — естествен-

ные науки, особенно анорганика и техника. Многие молодые люди, изучавшие бы при других условиях философию или гуманитарные науки, изучают математику, физику или технику. Сама коммунистическая идеология поощряет изучение этих наук, с другой же стороны точные науки, неподдающиеся партийному искажению, представляют собой защитный вал, под прикрытием которого можно как-то устраивать свою личную жизнь. За этой стеной можно даже спрятать совершенно отрицательное отношение к режиму. В рассказе Тендрякова «Необычайное происшествие» говорится о верующем учителе математики. Этот факт был очень поздно открыт, когда учитель вступился за верующую ученицу. Учитель был немедленно уволен. Но когда любопытный корреспондент спросил его, как он мог вести такую двойную жизнь, оставаться советским учителем будучи верующим человеком, он ответил, что никогда не отрекался от Бога, но на уроках математики ему не приходилось затрагивать вопросы веры.

#### 4

Известно, что навязанный, организованный режимом коллектив всегда скучен. Скучна вся регламентированная жизнь. Многие люди, даже резко отрицающие режим, готовы примириться с тем, что он ужасен, страшен, невыносим, но не скучен. В действительности же скука играет в унифицированной жизни важную роль. В тоталитарных режимах — это скука унифицированной лжи. Вначале даже блестящие таланты могут еще быть полны иллюзий и могут отдавать свой талант на службу режиму, но чем дальше идет время, тем им яснее становится ложь, и тем сильнее разрастается специфическое мешанство и скука. Серы и скучны официальные газеты, где из года в год повторяются все те же сообщения о «социалистических (или иначе этикированных) достижениях», серы и скучны принудительные собрания и стереотипные речи, которым уже никто не верит. Яшин дает наглядную картину таких собраний в рассказе «Рычаги». Официальный коллектив влачит жалкое существование. Он задыхается во лжи.

Наблюдатели, живущие вне тоталитарного режима, судят об этой постоянной лжи, даже если они ее понимают, большей частью слишком поверхностно, слишком теоретически. В Западной Германии говорят о «двух рельсах» и о мимикрии

жизни при коммунистических режимах, но на самом деле мало кто себе представляет, как трудно это проводить на практике, и не столь внешне, сколь внутренне.

Романо Гуардини говорит, что здоровье духа тесно связано с истиной. Человек заболевает духовно, если у него нарушена связь с истиной, если истина для него уже больше ничего не значит. Он еще не болен, когда он лжет, если он знает, что он лжет и если он еще способен вернуться к правдивости. Если же всякая связь с истиной порвана, то человек внутренне болен, хотя внешне он может казаться весьма здоровым и даже материально преуспевать.

Этому заболеванию человек сопротивляется сознательно, полусознательно или бессознательно. Но сознательная «двойная жизнь» может стать столь невыносима, что человек даже выберет смерть. Ю. Марголин рассказывает о польско-еврейском поэте М. Брауне, который предпочел гитлеровский лагерь смерти постоянному принуждению ко лжи, хотя он был хорошо принят в советской зоне оккупации Польши и даже зачислен в союз писателей. «Я не хочу переводить Маяковского, но я должен. Я не хочу, чтобы Львов оставался советским, но сто раз в день я говорю обратное. Всю свою жизнь я оставался верен себе и был честен. А теперь я ломаю комедию! Я стал подлецом! Среди людей, принуждающих меня ко лжи, я становлюсь преступником. Но рано или поздно я себя все равно выдам». Так многие выдают себя, и множество ценных людей так погибли. Большая ошибка думать, что человек может привыкнуть к такой «двойной жизни», если он должен жить ею с юности, и что он ее тогда легче переносит.

Как раз непосредственная детская душа страдает от нес особенно сильно, и эта душа не остается без повреждений. Так же ошибочно думать, что эта проблема в ребенке вообще не возникает, если он с самого начала воспитан в определенной идеологии, «ничего другого не знает» и верит ей. Каждый подросток, каждый молодой человек, живущий под тоталитарным режимом, знает то, чего вне этого режима не знают многие ученые и политики: он знает разницу между теорией и практикой, которой он ежедневно живет. Конечно, подрастающая молодежь обо многом дезинформирована. У нее часто неправильное представление о загранице, — или слишком отрицательное, потому что молодежь кое-в-чем верит пропаганде,

или же слишком восторженное, ибо она рассматривает свободную границу во всем как противоположность тоталитарному режиму и видит ее в лучезарном, не соответствующем действительности, свете. Но по отношению к своему режиму она мало ошибается: молодежь видит эту действительность ежедневно. Конечно, режим старается действовать на эмоции, и отчасти это ему удается. Некоторые символы и позже вызывают в душе эмоциональный отклик, даже если человек давно отказался от режима и его идеологии.

Но может произойти и нечто другое: тайный соблазн власти или же просто желание быть активным помогает молодому человеку нередко надеть на глаза шоры, и стараться не видеть истины. Такие люди впитывают в себя режим и идеологию настолько, что уже не в состоянии от них внутренне уйти.

Другая сторона — это так называемая внутренняя эмиграция. Была она первое время при коммунизме, была она и при национал-социализме. Устоять под последним было легче, поскольку он длился только 12 лет. Но кажется невозможным пребывать во внутренней эмиграции всю жизнь. Кроме того, с течением времени людям удается отвоевать у режима хоть небольшое пространство для личной жизни. И так как с одной стороны человек — существо социальное и не может жить как Робинзон, а с другой — официальный коллектив противен, то люди начинают искать другие связи.

Легче всего возникает, и в глазах власти кажется наименее подозрительным, научный «тим». Так, «физики» (под этим общим именем мы понимаем всех аноргаников и отчасти техников) кажется создали себе в Сов. Союзе нечто вроде крепости, добились относительной независимости и приобрели даже некоторую силу, на которую режим не решается посягнуть, потому что насущно нуждается в этих людях для своей военной мощи. Между «физиками» и режимом существует неписанное соглашение, что последний оставляет их до тех пор в покое, пока они, в свою очередь, не выступают открыто против режима и предоставляют свои знания в его распоряжение.

Однако, здесь опять-таки возникает проблема. Возможные угрызения совести физика, помогшего построить ужасное разрушительное оружие, не разделяются тоталитарным режимом. В свободных странах эти сомнения и угрызения встречаются с уважением и пониманием, в тоталитарных же диктатурах не раз-

решается сомневаться в пользе научного и технического прогресса, даже если его достижения употребляются на изготовление оружия массового истребления. Постулатом каждого тоталитарного режима является утверждение, что всякое увеличение мощи этого режима — факт положительный, идущий на пользу «народу», «пролетариату» или «всему передовому человечеству». И, наоборот, всякое увеличение мощи государства с другой системой является фактом отрицательным, потому что ведет к уменьшению мощи данного тоталитарного государства. Моральные сомнения о том, является ли научно-технический прогресс вообще, или хотя бы только в данном случае, благотворным для человечества, при тоталитарном режиме не разрешаются.

Каждый тоталитарный режим всегда «направлен в будущее», и всегда оптимистичен. Добро, прогресс, отождествляются с собственной системой и ее преуспеваемом.

Но у ученых не могут не возникать сомнения. Эти сомнения требуют иногда немедленного действия, если режим ведет, например, агрессивную и несправедливую войну, как ее вела нац.-соц. Германия, или же они могут быть глубже и распространяться на весь научно-технический прогресс. В советском фильме «9 дней года», на который официальная критика очень нападала, молодой ученый, работающий в области атомной физики, говорит непрерывно о построении коммунизма и о необходимости полностью отдать себя науке, являющейся основой коммунизма. Но когда он, задетый атомным излучением и смертельно больной, приезжает навестить старого отца, не знающего о случившемся несчастье, но чувствующего что-то неладное, он уже не может так спокойно говорить обычные трафаретные фразы.

В литературном сценарии «АБВГДЕ» Виктора Розова юноша, только что кончивший школу, отвечает матери, требующей от него, чтобы он изучал физику: «Зачем? Люди скоро полетят на Луну и откроют загадку белка, но они не становятся от этого ни честнее, ни счастливее». Выше, чем научный прогресс, стоят моральные ценности, по отношению к которым этот прогресс нейтрален.

Но вопрос о смысле жизни и о моральных ценностях ставится тем настойчивее, чем дальше идет время. Это может звучать парадоксально, но каждый тоталитарный режим широко

пользуется моральными понятиями, которые он превозносит и пропагандирует, но которые не имеют корней в его мировоззрении и которых он на практике не придерживается. Сначала эти пропагандируемые моральные ценности ослепляют честных последователей режима; в глазах же противников режима, его сразу разглядевших, они являются сознательным обманом. У этих последних есть свои моральные ценности, на основании которых они его судят и осуждают. Они могут быть очень испуганы победой этого, в их глазах, примитивного варварства, но их внутренний мир остается непоколебимым. Они могут приходить в отчаяние от победы зла над добром, но у них есть за что ухватиться, чтобы внутренне устоять. При этом они, однако, часто не замечают, что честные последователи режима в его первоначальной стадии действительно ищут чего-то ранее недостававшего, но ищут его в извращенной форме.

Чем больше проходит времени и чем больше поколений вырастает при тоталитарном режиме, тем яснее становится внутренняя пустота этой идеологии и системы. Так как эта идеология принимает часть за целое, то в ней остаются «белые места», причем как раз в очень важных вопросах, объяснить которые идеология не в состоянии. В коммунизме это прежде всего вопросы о смысле жизни и смерти. Даже те коммунистические идеологи, которые умеют смотреть несколько глубже, как, например, Тугаринов или Адам Шаф в Польше, признают наличие этих «белых пятен». Но трагедия заключается в том, что они не могут их восполнить, несмотря на все старания. Это не недостаток отдельных идеологов, это недостаток идеологии.

Философия помочь им не может, пока она находится в слишком узких тисках партийной цензуры. Прорыв делает художественная литература. Она может пробить хоть некоторую брешь в «коллективизации духа», как выражается М. Михайлов. Эту роль играет не только современная литература, но и литература прошлого. Не случайность и не сумасшествие то, что Мао-Дзе-дунг объявил Шекспира «контрреволюционером», а Толстого «ревизионистом». В Сов. Союзе тоже сначала запрещали читать, скажем, «Ангела» или «Демона» Лермонтова, потому что эти произведения полны религиозных мотивов, в нац.-соц. Германии запрещали Гейне. Но классики победили. В Сов. Союзе одно за другим классические произведения были сняты с индекса. Новое издание Достоевского оказалось сим-

волом окончательного триумфа классиков. Беспомощные комментарии советских литературоведов не могут нейтрализовать громадной силы Достоевского и его несомненного влияния на молодое поколение.

Новая литература вначале еще может до известной степени служить режиму, оставаясь все же литературой. Она может следовать субъективно искреннему, хоть и направленному на объективно ложную цель, воодушевлению сторонников режима. Посвящая свои произведения таким людям и несущей их волне энтузиазма, писатели могут писать в духе коммунизма и все же их произведения остаются настоящей литературой. Но постепенно тоталитарное униформирование убивает всякое воодушевление, хотя партийное руководство продолжает требовать его от литературы все в большей степени. Лживые сообщения тоталитарной журналистики лишены всего духовного, но художественная литература, если она хочет остаться литературой, не может лгать, она вянет и умирает под этим давлением. Ее место занимает «пропагандная макулатура» по выражению Ф. Степуна.

Но когда жизни удается пробить первые дыры в этом удушающем покрове, сквозь увядшие листья начинают пробиваться ростки новой настоящей литературы. И здесь мы имеем дело только весьма отчасти с сознательным сопротивлением. Просто литература, как и жизнь, пытается снова стать сама собой если ей удастся выскользнуть из железных обручей диктатуры. И другие роды искусства могут стать символом духовного сопротивления, — вспомним споры о современной живописи, — но литература имеет дело со словом, а потому ее значение больше. Временами особое значение может иметь пьеса, убивающая безмолвной иронией все громко звучащие тирады «положительного» героя — без слова, даже без жеста только тем как их слушает, казалось бы, совсем уничтоженный противник. Каждая тоталитарная власть весьма чувствительна к такой молчаливой иронии. Она ее хорошо замечает и не терпит. «На смену иронии явилась патетика — эмоциональная стихия положительного героя».<sup>7</sup> Но внутренне пустая патетика не заглушает больше этой тихой иронии. Провидец Достоевский представил ее в виде того джентльмена, который повергает в

---

<sup>7</sup> Абрам Терц «Что такое социалистический реализм?»

прах «хрустальный дворец» математически рассчитанного счастья только тем, что стоит в стороне и иронически наблюдает.

В новой литературе в Сов. Союзе видно снова уважение к человеку, к каждому человеку — «Восстание личности» назвала свою книгу об этой литературе Елена Сахно<sup>8</sup> — уважение к инакомыслящему, даже к врагу, попытка понять его с его точки зрения. Конечно, эти произведения часто подвергаются резкой критике официальных органов (но есть и критики, судящие иначе). Тем не менее тоталитарность этим уже прорвана, потому что ни один тоталитарный режим не может признать за инакомыслящим — добрую волю и субъективно честное убеждение. Ведь до сих пор современные тоталитарные режимы не смотрят на своих противников как на людей и отказывают им даже в обычном сострадании. «Правда» выступила против присвоения ленинской премии Солженицыну, потому что Солженицын не отказывает в сострадании и тем, кто по мнению «Правды», «сидел за дело». Жалеть полагается только тех, кто не был врагом режима и сидел в лагере «по ошибке», оставаясь и там преданным коммунистом. Но новая литература этого уже не придерживается. То очень робко, то посмелее она ищет человека как такового, без всяких идеологических штампов. «Мы не знаем, куда идти, но поняв, что делать нечего, начинаем думать, строить догадки, предполагать. Может быть, мы придумаем что-нибудь удивительное. Но это уже не будет социалистический реализм».<sup>9</sup>

## 5

Как об особой теме в рамках тоталитарного режима поговорим о концлагерях и об активном сопротивлении.

Хотя концлагерь, этот феномен 20-го столетия, не отделен от тоталитарного режима, и хотя в известные периоды там сидели миллионы, все же концлагерь не является судьбой всего народа, подвластного тоталитарному режиму. И тем не менее концлагерь отражается на всем народе. Его тень покрывает не только непосредственно пострадавших. Все связано с ним чувством страха или сострадания, сознательным или бессознательным равнодушием или же положительным к нему отношением. То или иное отношение к концлагерю формирует и души тех,

<sup>8</sup> Элен фон Сахно «Восстание личности». Берлин, 1965.

<sup>9</sup> Абрам Терц «Что такое социалистический реализм?»

кто там никогда не сидел. «Не может оставаться душевно-здоровым человек или общество, которое является жертвой или хотя бы свидетелем чудовищного преступления, возведенного в норму, преступления, о котором все знают, но никто не говорит, которое не вызывает протеста в мире и просто принимается к сведению и даже оправдывается людьми, претендующими на высокое достоинство».<sup>10</sup>

Преследования в современных тоталитарных режимах носят особый характер. От прежних преследований их отличает не число жертв, а принцип выбора жертв, переносящий зло в самое бытие человека. Как бы люди прежде ни были убеждены, что они и только они обладают истиной, но они одновременно верили, что эта, — большей частью религиозная, — истина доступна и другим. Другие могут познать и принять эту истину, если у них есть добрая воля. Отсюда убеждение, что инакомыслящие исполнены злой воли и несут потому личную вину. Это, конечно, совершенно неправильный взгляд, и такая нетерпимость совершенно недопустима как раз с истинно религиозной точки зрения, но при всех своих искажениях, и на практике вызываемых жестокостях, этот взгляд все же не изменял совсем тому принципу, что наказывать можно только за личную вину. В современных же тоталитарных диктатурах человек осуждается не за свои поступки, даже не за «злую» волю, его «вина» лежит в самом его бытии.

Еврей в глазах национал-социалистов был дурен в самом своем бытии, независимо от его поступков, убеждений или направления воли. Статический биологический принцип национал-социализма не делал исключения и для ребенка, который уже по самому своему рождению считался предопределенным ко злу. Это особенно страшная детерминация в самом бытии, не оставляющая человеку никакого выхода.

В марксистской идеологии человек определяется становлением, развитием. Надо подчеркнуть, что человек в этой идеологии «возникшее» (а не сотворенное) существо, не имеющее никакого постоянного, присущего каждому человеку ядра, и все еще непрерывно изменяющегося. Этот взгляд обесценивает настоящего конкретного человека, который становится ин-

<sup>10</sup> Ю. Б. Марголин «Путешествие в страну зе-ка», Нью Йорк, 1952.

тересен только постольку, поскольку он представляет собой питательную среду для человека будущего. Человек как таковой не ценится. Только будущий носитель коммунистического общества, пролетариат, и часть «прогрессивной интеллигенции» может уже сейчас претендовать на имя «человека». Представители других классов уже испорчены своей классовой принадлежностью и должны быть просто «обезврежены». И здесь не ставится вопрос о *личной* вине или даже злой воле отдельного человека. Но идеология «становления» делает исключение для ребенка. Хотя на практике большевизм уничтожил много детей, в теории каждый маленький ребенок, даже и происходящий «не от тех» родителей, считается принципиально воспитуемым, конечно, если его взять от родителей и из обстановки «дурного» класса.

Для тоталитарного режима не каждый человек является вполне человеком. Вполне человек только член определенной группы, какое бы название она ни носила, нация, раса, класс или же «советский народ». Только по отношению к представителям этой группы, только в сношениях со своими товарищами следует вести себя порядочно и человечно. «Один принцип должен быть для СС-овца абсолютно непререкаем: честным, порядочным, верным и хорошим товарищем мы должны быть по отношению к людям своей крови и больше ни к кому».<sup>11</sup>

Когда советская пресса называла Дзержинского «золотым сердцем» за его чуткое отношение к партийным товарищам, это нисколько не стояло в противоречии с его палаческой деятельностью. Человек определялся и здесь только по его отношению к товарищам, а не к «контр-революционерам».

Однако, с течением времени прежний предлог для преследования «злая воля» снова вступает в силу наряду с выше означенным принципом. «Особенностью тоталитарных режимов, независимо от того, коммунизм это или национал-социализм, является их убеждение в том, что они обладают знанием мировых законов, и они заявляют претензию провести эти законы в жизнь».<sup>12</sup>

Те, кто уже выросли в «социализме», или же люди германской крови, имеют все предпосылки понять и признать «исти-

---

<sup>11</sup> Из речи Гимmlера в Познани 3 октября 1943 г.

<sup>12</sup> Г. Бухгейм «Анатомии дес СС-Штатес».

ну» Маркса и Ленина или же Розенберга и Гитлера и действовать в этом смысле. Если же кто отказывается от этого и поступает иначе, то у него не хватает «доброй воли». Преследование **внутри** соответственного коллектива возвращается к прежнему обвинению в «злой воле».

Самые жестокие преследования национал-социализма постигли одну определенную народность и, кроме того, вершина жестокости совпала с войной. Внимание среднего немца было отвлечено. С одной стороны это обстоятельство является для чуткой совести особенно тяжелым, т. к. жестокости были совершены по отношению к другим как бы от имени всего немецкого народа, и даже совсем лично непричастные чувствуют себя в какой-то мере виновными. С другой же стороны благодаря этому весь народ не почувствовал вполне тяжести тоталитарного режима: в сознании немецкого народа ужас связан больше с войной, в которую его сверг режим, чем с режимом как таковым.

В Сов. Союзе сталинские преследования задели все слои народа и все национальности Сов. Союза более или менее равномерно. Поэтому там не может быть ощущения национальной вины. Ни русские, ни грузины, соотечественники Сталина, не чувствуют себя как таковые виновными в преследованиях. Виновными могут себя чувствовать только активные коммунисты всех национальностей. С другой стороны этот террор перепахал весь народ гораздо глубже, чем обычно думают за границей, потому что буквально каждый так или иначе был им задет. Отсюда возникло глубокое чувство общности судьбы с заключенными, которого при национал-социализме не было.

Тема сталинских преследований в коммунистических странах едва затронута, и уже теперь ее снова стараются полностью замолчать. Режим остался тем же; и лагеря, кажется, не особенно изменились, только там сидит меньше людей, чем при Сталине. Сталинский террор осужден официально только весьма относительно, постольку, поскольку он затронул верных партийцев.

Большая ошибка думать, что этим все и кончится, что настоящий расчет не придет. Но время еще не настало. Целое поколение было разгромлено; ряды 40-50-летних, которые должны были бы теперь руководить, сильно поредели. В концлагерях и на войне погибли миллионы, другие же слишком запу-

ганы, или, вернее, душевно сломлены. В одном из стихов подпольного журнала «Феникс» есть строчка, которая сначала кажется странной, но если в нее вдуматься, она дает сильную и жуткую картину этого душевного уничтожения: «Наши души пошли на портянки». К этому нельзя ничего прибавить.

У этого поколения нет больше внутренней силы. Сначала должна подрасти молодежь, не испытывавшая **такого** террора, но одновременно вырастающая в беспокоящей близости к по-прежнему существующим лагерям и в шизофренической атмосфере пропасти между морализирующей пропагандой и фактическим угнетением. Сопротивление не возникает в периоды наибольшего террора, оно становится понемногу возможным, когда террор ослабевает.

## 6

Теперь мы подошли к другой особой теме в тоталитарном режиме, к активному сопротивлению. В национал-социалистической Германии сопротивление было сначала парализовано внешней легальностью прихода Гитлера к власти; затем ментальностью немецкого народа, существенной частью которой является привычка к послушанию и, наконец, войной, когда казалось, что всякое сопротивление правительству является одновременно и изменой родине. Сопротивление, как известно, было, но оно не приняло большого размера. отождествление национал-социализма с немецким народом со стороны западных союзников и требование безусловной капитуляции делали сопротивление это еще более невозможным. Со стороны иностранцев лучшей помощью тоталитарным режимам является их отождествление с соответствующим народом.

В Сов. Союзе в результате революции возникло, конечно, резкое сопротивление, выразившееся в многолетней гражданской войне. И после того, как режим укрепился, было достаточно восстаний; без организации и руководства они были обречены на неудачу. Руководство восстанием вряд ли может образоваться в рамках тоталитарного режима, у которого есть все средства слежки и террора. Проблема руководства сопротивлением — самая тяжелая проблема при тоталитарном режиме.

К началу второй мировой войны усталость населения и пассивное сопротивление достигло таких размеров, что напавший противник легко мог бы привлечь большинство народа

на свою сторону, сделать его своим союзником и положить конец владычеству коммунизма. Активная революция была и в то время невозможна по выше указанным причинам. Трагедия исторического положения заключалась в том, что наступал другой тоталитарный режим, показавший народу не менее жестокое и к тому же еще и чужое лицо. Национал-социализму удалось примирить народ с коммунистическим режимом на время войны. Но после победы в народе родилось глубокое разочарование: режим не изменился.

И все же преодоление тоталитарного режима растет в его же недрах. Разрезу себе здесь набросать несколько перспектив будущего развития.

Духовное преодоление коммунизма базируется, если мы правильно наблюдаем, на трех, связанных друг с другом явлениях: человеческой личности и ее достоинстве, свободе и восстании против «идеологии будущего». Третий пункт может удивить, и все же он совершенно логично вытекает из двух первых, вернее из одного единственного: человека с его достоинством и свободой. Во имя этого человека, конкретного, живого, ищущего человека подымается духовное восстание в тоталитарных режимах. Парадокс заключается в том, что коммунистическая пропаганда все время провозглашает, что она как раз заботится об этом человеке. Но она заботится о **будущем** человеке; поскольку она утверждает, что ее интересует и современный человек, она лжет. В этом противоречии растет молодое поколение, которое порой принимает официальные лозунги, но в душе обращает их против самой тоталитарной диктатуры.

В то самое время, как в коммунистических странах молодежь все больше внимания обращает на конкретного живого человека, на личность, и подымает духовное восстание против того будущего, которое отрицает этого конкретного человека в настоящем, в некоторой части христианского богословия, как нам кажется, намечается готовность пожертвовать этой личностью во имя абстрактного человека будущего. Не будем себя обманывать: в так называемом «богословии будущего» есть тенденции не обращать внимания на теперь живущего конкретного человека во имя будущего земного прогресса. Особенно сильны эти тенденции у богословов, находящихся под влиянием Тайяра де Шардена. Сам Тайяр не знал состра-

дания, для него ничего не значили миллионные жертвы, если только человечество в будущем будет объединено («Человек в космосе»). Но, может быть, стремление сохранить достоинство и свободу человека, которого никак нельзя вычеркнуть из христианства, можно гармонично объединить с перспективой будущего, с аспектом, которым богословие прежде слишком мало занималось? Такая возможность есть, и мы хотели бы ее осуществления. Но существует и опасность, что слишком погнавшаяся за будущим часть богословов готова слепо заключить союз с марксизмом, не замечая его перверсии будущего. Это очень опасно и среди молодежи в коммунистических странах все усиливается впечатление, что свободный мир не ценит по настоящему ни свободы, ни достоинства человеческой личности, что он готов легкомысленно поставить эти ценности на карту ради своего мешанского спокойствия и что потому **настоящее** восстание личности и настоящая свобода начнутся в странах, живущих под гнетом тоталитарной диктатуры.

Мне хочется привести здесь полученное мною из одной из стран сателлитов письмо, выражающее настроение немалой части молодежи в коммунистических странах.

«Спасибо вам, мои друзья, что вы есть, что вы меня слушаете, со мной говорите... Надо верить в свободу, в свободу в человеке, чтобы быть в состоянии надеяться, и я верю в нее. Я верю, что повсюду, на Западе и на Востоке, есть люди, не потерявшие веры в свободу в человеке, люди, которые не плывут в общем потоке, а хотят действовать согласно своим убеждениям, опираясь на свою внутреннюю силу. И всех этих людей я считаю своими друзьями, своими неизвестными друзьями.

Я веду со своими неизвестными друзьями длинные разговоры, когда вокруг меня все неясно, когда я не нахожу выхода, когда настоящее застилает взгляд в будущее, когда я плачу или смеюсь, сомневаюсь или верю. Действительность вокруг нас так жестка и лишена всяких иллюзий, а человек, свободный человек, кажется побежденным, и часто меня уже почти покидает вера в вас, мои друзья. Иногда я думаю, что мне придется вас потерять. Но затем, совсем неожиданно, я встречаю в местах, где этого нельзя было ожидать, в людях, казалось бы к этому неспособных, проблески свободного мышления. Это замечательные переживания, и тогда я понимаю, что моя вера в свободу в человеке не одно только желание, но и действитель-

ность. Меня охватывает веселье, смех, когда я думаю о колоссальных усилиях государства направить мышление людей в определенную сторону и когда я вижу, как все дело осуждено быть разбитым у ног его создателей. Да, оно осуждено, несмотря на кажущиеся успехи, так как все планы и усилия воспитать человека согласно выдуманному о нем представлению должны разбиться об одну ошибку: они начали действовать, не поняв сущности человека.

Можно ли постоянно говорить о свободе и справедливости, разрешать, чтобы эти понятия врезались в мышление, не подвергая себя опасности, что каждый отдельный человек начнет по своему думать и спрашивать и при том иначе, чем это запланировано «сверху»?

Вбивание этих понятий в головы начинается уже в детском саду. Малыши от трех до шести лет приходят домой и рассказывают с блестящими глазками о великой борьбе за свободу, о любви к родине, и их маленькие сердца полны ненависти к несправедливости. Позднее, в школе, эти понятия вырабатываются еще яснее. Вся школьная система построена так, что детей учат постоянно критике капитализма и империализма, провозглашают вместо жадности наживы другие ценности: любовь к свободе вплоть до самопожертвования, социальную справедливость и мужество желать прогресса, ясно отличая правду от лжи при помощи диалектического мышления.

Снабженный такими идеями молодой человек находится в незавидном положении. Он понимает, что в действительной жизни свобода подавлена, что господствует социальная несправедливость, ложь преобладает над правдой, а любовь к отечеству смешивается с себялюбием и самопревозношением, видит, что диалектическое мышление нежелательно, потому что оно мешает удержать систему.

Что остается делать молодому человеку? Самый простой путь — это путь приспособленчества. Можно выкинуть ненужный идеологический багаж и искать наилучшие возможности сделать себе карьеру. Такой человек уверяет себя и других, что это единственная возможность, что активное сопротивление не поможет никому и повлечет за собой лишь ненужные жертвы. Но есть и такие, которые не идут этим легким путем. Я не буду сейчас говорить об убежденных коммунистах, есть и они. И они видят неприглядную действительность, но их

взгляд устремлен в будущее, и они поддерживают все, что по их мнению ведет к этому будущему, в том числе и все жестокости.

Сейчас я хочу говорить о тех, кто полон горячей любовью к свободе и справедливости и чей взгляд направлен не в далекое будущее, а на человека сегодня и на ближайшее завтра. Принципы свободы и социальной справедливости пустили в душах этих людей глубокие корни, а противоречие между идеалами и неприглядной действительностью порождает силу, всю величину которой сейчас еще нельзя измерить. Эти люди пока еще не знают друг друга, они еще не составляют группы, но все они действуют, и их маленькие огоньки вырастут со временем в мощь, которая определит дальнейшее развитие во всем мире. Конечно, они не во всех вопросах сходятся во мнениях, но они все против жертв, долженствующих быть принесенными в угоду сомнительному будущему. Нет, нет, они не корыстны, но они хотят помочь страждущим **нашего времени**, они не согласны жертвовать собой ради неизвестного будущего. Они спрашивают себя, зачем были упразднены прежние божества, если теперь человек будущего возведен в степень божества, которому надо приносить бесчисленные жертвы! Разве мы все не стали рабами будущего общества? Рабами, которые не смеют желать свободы и лучшей жизни для себя и своих детей, но должны мучиться в ярме иллюзий будущего? Разве это не самое жестокое мировоззрение, какое когда-либо существовало, мировоззрение, отнимающее всякое уважение к человеку, живущему сейчас? Мы перестали быть людьми, мы только инструменты для создания общества будущего! Разве это, как утверждают, райское коммунистическое общество будущего не является величайшим эксплуататором всех времен? А разве нас не учили восставать против эксплуататоров?

Друзья мои, нам нечего терять, кроме цепей, которыми нас сковал человек будущего! Мы, эксплуатируемые чудовищем будущего, можем иметь только одну цель: революцию против молоха будущего, величайшего эксплуататора всех времен. Нам нельзя терять времени, потому что это чудовищное будущее ежедневно требует жертв в настоящем, и оно уничтожит наших детей, если у нас не хватит мужества любить людей и бороться за них».

Каждый тоталитарный режим, как бы могуществен он ни

был, несет в себе зародыши своей смерти, потому что никому не может удасться тотально переделать природу человека.

Коммунизм сейчас очень силен и вполне возможно, что он расширит свою власть еще на многие страны. Но идейно он уже устарел. Его будущие победители растут внутри его самого, и как раз в этом вопросе провозглашенный им диалектический закон обращается против него, чего он, конечно, сам не хочет видеть. Мы можем цитировать самих коммунистов: ни одна умирающая власть не замечает, что время ее ограничено и что ее часы неумолимо отстукивают ей приближение конца.

Странно и грустно видеть, как именно те христианские богословы, которые так хлопочут о будущем, хотят вести диалоги с коммунистами, идеи которых принадлежат уже прошедшему, а не будущему. Богословы должны были бы вести диалоги с коммунистами 100 лет тому назад, когда коммунизм был еще очень слаб, нигде не господствовал, но имел перед собой будущее. В наше время надо стараться вести диалоги с той самой молодежью, которая так восстает против абстрактного будущего, но у которой в руках истинное, конкретное будущее. Она далеко не вся верующая, но она ищет веры. Если же на нее не обращать внимание, то и она может разочарованно пройти мимо христианства.

*В. Пирожкова*

## «КУПЕЦ РЕВОЛЮЦИИ»

### ПАРВУС И ГЕРМАНО-БОЛЬШЕВИЦКИЙ ЗАГОВОР

Имя Парвуса современному русскому и особенно советскому читателю почти неизвестно. А между тем 50-60 лет тому назад о Парвусе много писали и в русской и в западноевропейской и в американской печати. В 90-ых годах и в начале этого века Парвус играл видную роль в германской социал-демократии, будучи одним из лидеров ее крайне-левого крыла. Одновременно он сотрудничал в русской социал-демократической «Искре». В Мюнхене, где Парвус тогда жил, он подружился с Лениным, Потресовым и Мартовым. Потом сблизился с Троцким и имел на него большое влияние.

В 1905 году, во время первой революции, Парвус играл большую роль в Совете рабочих депутатов в Петербурге. Вместе с другими руководителями Совета, он был арестован, сидел в Петропавловской крепости, был сослан в Сибирь, но по дороге бежал и снова очутился в Германии.

В годы первой мировой войны Парвус стал одним из главных агентов императорского германского правительства, он организовал, вел и финансировал пропаганду среди революционеров и социалистов России и других стран за победу центральных держав — Германии и Австро-Венгрии — и за расчленение России.

Недавно, в Англии, в издательстве Оксфордского университета, вышла подробная биография Парвуса. Авторы ее — Земан и Шарлау — известные историки; первый — профессор Оксфордского университета, второй — немецкий ученый.\* Они хорошо знакомы с историей германской социал-демократии и с историей русской революции. В своей работе — кроме других материалов — они пользовались неопубликованны-

\* "The Merchant of Revolution". The Life of Alexander Israel Helfand (Parvus) 1867-1924, by Z. A. B. Zeman and W. B. Scharlau. Oxford University Press, London. 1966.

ми мемуарами лидеров германской социал-демократии и многих выдающихся государственных деятелей Германии и Австро-Венгрии. Мемуары эти хранятся в разных архивах, главным образом в известном архиве Амстердамского института. Они также имели доступ к остаткам архива Парвуса. В результате тщательных исследований авторы издали хорошо документированную ценную книгу большого исторического значения. Но эта прекрасно написанная биография примечательного, хоть и весьма несимпатичного, человека, сыгравшего печальную и большую роль в истории России, — интересна не только для историков, но и для широкого читателя.

В предисловии к книге «Купец революции» авторы указывают, что в мемуарах бывшего германского канцлера Бетман-Гольвега и других выдающихся деятелей Германии Вильгельма II-го, как Гельферих, Надольный, генерал Людендорф, министр иностранных дел фон-Кюльман, имя Парвуса совершенно нигде не упоминается. Но главные нацистские пропагандисты Розенберг и Геббельс, еще задолго до прихода Гитлера к власти, не переставали нападать на Парвуса как на «богатеящего еврея и марксистского революционера». Они включили его в список «ноябрьских преступников», врагов немецкого народа, «ответственных за поражение Германии в войне и за крушение Германской империи». На самом же деле Парвус делал все, чтобы Германия вышла победительницей из войны и чтобы Россия не только была побеждена, но и окончательно расчленена.

Легендарный Парвус, настоящее имя которого было Александр Лазаревич Гельфанд, родился в 1867 году, в семье еврейского ремесленника в местечке Березино, бывшей Минской губернии. Гимназию он окончил в Одессе, где примыкал к народофильским кружкам.

19-летним юношей Парвус уехал в Цюрих, который был тогда центром русской революционной эмиграции. В Цюрихе Парвус познакомился с членами марксистской «Группы Освобождения Труда», во главе которой стояли Плеханов, Аксельрод и Вера Засулич. Под их влиянием Гельфанд-Парвус стал марксистом. В 1887-ом году Парвус поступил в Базельский университет, где изучал главным образом, политическую экономию. В 1891-ом он окончил университет и получил звание доктора философии. Ему было тогда 23 года. Через некоторое

время Парвус перебрался в Германию и вступил в социал-демократическую партию. Русскую революционную интеллигенцию Парвус никогда особенно не любил. Но, однако, он не порвал окончательно и с русским социал-демократическим движением.

По прибытии в Германию Парвус поселился в Штутгарте, где тогда жили Карл Каутский и Клара Цеткин. Каутский был редактором теоретического журнала социал-демократической партии «Ди нойе цайт», а Клара Цеткин редактировала газету для женщин «Ди глейхайт». Каутский и Цеткин были лидерами штутгартской социал-демократической организации. Парвус часто бывал в доме Каутского и стал постоянным сотрудником его журнала. Он также писал и в журнале Клары Цеткин. Но в Штутгарте Парвусу было тесно, там он не мог развернуться, его тянуло в Берлин. Получив от Каутского надлежащие рекомендации и приехав в Берлин, Парвус сразу же стал сотрудником центрального органа социал-демократической партии, газеты «Форвертс». Но гонорары, которые Парвус получал за свои статьи в социал-демократических изданиях были недостаточны, чтобы жить более-менее сносно, хотя Парвус и показал себя первоклассным журналистом. Вскоре Парвус должен был покинуть Берлин. Прусская полиция заинтересовалась Гельфандом еще до того, как он стал известен среди немецких социал-демократов, и вынудила его оставить столицу. В течение двух лет Парвус переезжал из одного города в другой. Он жил то в Дрездене, то в Мюнхене, то в Лейпциге, то в Штутгарте. Разъезжал он как бедняк, в третьем классе. Каутский был очень высокого мнения о своем молодом друге и рекомендовал австрийским социал-демократам сделать его корреспондентом своего центрального органа, венской «Арбейтер цейтунг». Каутский также запросил лидера австрийской социал-демократии Виктора Адлера, не может ли он помочь Гельфанду стать австрийским гражданином. «Он буквально жаждет стать гражданином какой-нибудь немецкой страны», — писал Каутский. Еще до того, как Парвус перебрался в Штутгарт, он писал Вильгельму Либкнехту в Берлин: «Я ишу государство, где человек может дешево получить отечество».

Живя в Германии, Парвус не порывал связей и с русской революционной эмиграцией. Он даже был членом российской социал-демократической делегации на Международном социалистическом конгрессе в Лондоне в 1896-ом году.

## КУПЕЦ РЕВОЛЮЦИИ

В 1897 году Парвус стал главным редактором саксонской «Арбайтер цайтунг», выходящей в Дрездене, и, как только он стал редактором, из Швейцарии в Дрезден приехал его польский друг Юлиан Мархлевский, став его помощником. Парвус пригласил сотрудничать и Розу Люксембург. Ее первые статьи появились именно в дрезденской «Арбайтер цайтунг». Дрезденские социал-демократы, однако, не были согласны с направлением «Арбайтер цайтунг» под редакцией Парвуса. Между Парвусом и лидерами партии происходили серьезные столкновения. Так, Парвус называл Бернштейна анти-социалистом, предателем, который «саботирует социальную революцию». На конгрессе германской социал-демократической партии в 1898 году в Штутгарте «Тезисы» Бернштейна были отвергнуты, но ему лично конгресс выразил величайшее уважение и полное доверие. Конгресс просил Бернштейна, чтобы он сам пересмотрел свои идеи и потом опубликовал их в форме книги. Парвуса же все лидеры партии резко осудили за его методы полемики и указали, что его аргументы не верны. Но если Парвус не пользовался большим успехом у немецких социалистов, то его статьи против Бернштейна и других «ревизионистов» чрезвычайно понравились лидерам русских социал-демократов. Г. В. Плеханов, как и более молодые социал-демократические лидеры — Мартов, Потресов и Ленин — с большим интересом следили за выступлениями Парвуса против Бернштейна и были от них в восторге. Плеханов, который лично Парвуса недолюбливал, публично благодарил его за статьи в дрезденской «Арбайтер цайтунг», а Ленин в письме из Сибири к своей матери просил ее присылать ему статьи Парвуса из дрезденской «Арбайтер цайтунг».

В 1893 году Парвуса выслали из Пруссии, а в 1898 его, вместе с его другом Мархлевским, выслали и из Дрездена. Но они заблаговременно позаботились, чтобы Роза Люксембург заняла их место редактора. Парвус переехал тогда в Мюнхен и оттуда продолжал писать статьи для дрезденской «Арбайтер цайтунг». В Мюнхене Парвус материально уже не нуждался. Его дом был открыт для всех видных русских и немецких социал-демократов. Есть основания полагать, что именно Парвус уговорил Ленина устроить редакцию «Искры» в Мюнхене. Ленин и его жена Крупская часто гостили у Парвуса. Там, между прочим, Роза Люксембург впервые встретилась с Лениным.

Парвус был сотрудником «Искры», когда она выходила в Мюнхене, и когда, после раскола партии, она выходила в Женеве, как орган меньшевиков.

Вскоре после вспыхнувшей русско-японской войны в начале 1904-го года Парвус поместил в «Искре» ряд статей под общим заглавием «Война и революция». Статьи эти привлекли к себе внимание не только русских социалистов, но и либералов. В этих статьях Парвус предсказывал неминуемое поражение России в Японской войне и в результате поражения — революцию. В этих статьях он выступил за единый фронт всех революционных и оппозиционных элементов в борьбе против царизма. Одновременно Парвус писал, что грядущая русская революция будет иметь большое влияние на другие страны. «Русская революция, писал Парвус, расшатает основы всего капиталистического мира, и русскому рабочему классу суждено сыграть роль авангарда в мировой социальной революции». Приблизительно тогда же Парвус впервые встретился с Троцким, и то короткое время, которое Троцкий и его жена провели в доме Парвуса в Мюнхене, было одним из важнейших событий в бурной жизни Троцкого. Об этом сам Троцкий потом писал в своей автобиографии. Троцкий был на 12 лет моложе Парвуса, и Парвус несомненно имел на него большое влияние.

Когда за границу пришли известия о событиях 9-го января в Петербурге, Троцкий был в Женеве. Он решил немедленно вернуться нелегально в Россию. По дороге он остановился в Мюнхене, чтобы посоветоваться с Парвусом о революционной работе в России. Троцкий пробыл в доме Парвуса несколько дней. Обсуждая события в России, Троцкий оставил у Парвуса рукопись своей брошюры, озаглавленной «До 9-го января», с тем, чтобы Парвус написал к ней предисловие. Парвусу брошюра Троцкого понравилась и он написал предисловие и отправил брошюру меньшевистским лидерам в Женеву, чтобы они ее скорее издали. В своем предисловии Парвус старался доказать, что так как буржуазия в России еще крайне слаба, крестьяне невежественны и неорганизованы, а рабочие — единственный класс, который политически сравнительно сознателен и отчасти организован, то победа народа над царизмом закончится тем, что власть перейдет в руки рабочего класса под водительством социал-демократов. В брошюре Парвуса и Троцкого говорилось, что после падения царского самодержавия

пролетариат использует свою власть не только для того, чтобы установить в России демократический строй, но и для того, чтобы политическую революцию в России превратить в пролог к социалистической революции в Европе. И эта революция не остановится до тех пор, пока не будет и в Европе осуществлена диктатура пролетариата. Эта теория, получившая позднее название «теории перманентной революции», — была в полном противоречии с тем, что до тех пор проповедывали не только меньшевики, но и большевики во главе с Лениным.

Когда в октябре 1905-го года вспыхнула первая русская революция, Парвус вскоре приехал из Германии в Петербург и прямо с вокзала отправился к своему другу и ученику Троцкому. Оба сразу договорились насчет дальнейшей политики и тактики. Парвус сразу же вошел в Исполнительный комитет организовавшегося тогда Совета Рабочих Депутатов. Троцкий и Парвус первым делом откупили маленькую газетку «Русская газета», которую читали, главным образом, рабочие. Они превратили ее в живую революционную газету. Оба, Парвус и Троцкий, почти в каждом номере давали короткие статьи, проповедуя свои идеи. Еще недавно тираж «Русской газеты» доходил до 30-ти тысяч, а через 2-3 недели после перехода газеты в руки Парвуса и Троцкого тираж ее перевалил за 100 тысяч.

Все выдающиеся лидеры РСДРП — меньшевики и большевики, — которые тогда жили за границей, приехали в Петербург, когда Парвус и Троцкий уже не только задавали тон в Совете Рабочих Депутатов, но имели также большое влияние на революционно настроенных петербургских рабочих. И когда меньшевистские лидеры — Мартов, Потресов, Мартынов, Дан и другие — основали большую ежедневную социал-демократическую газету «Начало», они привлекли в редакцию Парвуса и Троцкого. И в этой газете Парвус и Троцкий стали главными идеологами, проповедуя и там свою «теорию перманентной революции». Троцкий и Парвус не довольствовались тем, что писали революционные статьи, они старались провести свою теорию и в жизнь. Они сделали все, чтобы изолировать рабочий класс от остальных классов. Они не переставали нападать не только на умеренных либералов, но и на левых либералов и демократов. Они провозгласили введение явочным порядком 8-часового рабочего дня, объявили вторую всеобщую

забастовку. В результате их слишком поспешной деятельности царское правительство почувствовало себя достаточно сильным, чтобы арестовать сначала председателя Совета Хрусталева-Носаря, а потом и весь Исполнительный комитет Совета во главе с Троцким.

После этих арестов случайно оставшиеся на свободе члены Исполнительного комитета Совета Рабочих Депутатов основали нелегальный Совет с Парвусом в качестве председателя. Под руководством Парвуса новый Совет объявил третью всеобщую забастовку, требуя немедленного освобождения всех арестованных членов Совета. Но на этот раз забастовка была уже полным провалом и вскоре все члены нелегального Совета с Парвусом во главе были арестованы и заключены в Петропавловскую крепость. Там Парвус просидел несколько месяцев. Затем правительство административным порядком сослало его на несколько лет в Сибирь, но по дороге Парвус бежал и вернулся в Петербург, а оттуда — дальше в Германию.

За время пребывания Парвуса в России, благодаря той роли, которую он играл в революционных событиях, престиж его среди немецких социал-демократов сильно поднялся. Каутский заказал ему серию статей о России для журнала «Нойе цайт». В Дрездене вскоре вышла книга Парвуса под заглавием «В русской Бастилии во время революции» и даже берлинский «Форвертс», центральный орган германской социал-демократии, который еще недавно не хотел Парвуса знать, теперь открыл ему свои страницы. Однако Парвус вскоре был вынужден покинуть Германию из-за весьма неприятных для него обстоятельств. Дело в том, что после возвращения Парвуса в Германию русские большевики привлекли его к немецкому партийному суду. Они обвиняли Парвуса в том, что он, будучи литературным представителем Максима Горького в Германии, присвоил себе больше ста тысяч марок. Эти деньги он получал от германских театров, в которых с большим успехом шла пьеса Горького «На дне». Через два с лишним десятка лет Горький рассказал об этом поступке Парвуса в своей статье о Ленине. Горький писал: — «Парвус имел от «Знания» доверенность на сбор гонораров с театров за пьесу «На дне». Он получил эту доверенность в 1902-ом году в Севастополе, на вокзале, приехав туда нелегально. Собранные им деньги распределялись так: 20 процентов со всей суммы получал он, остальные дели-

лись так: четверть мне, три четверти в кассу социал-демократической партии. Парвус это условие, конечно, знал, и оно даже восхищало его. За четыре года пьеса обошла все театры в Германии. В одном только Берлине она была поставлена свыше пятисот раз. У Парвуса собралось, кажется, 100 тысяч марок. Но вместо денег он прислал в «Знание» Пятницкому письмо, в котором добродушно сообщил, что все эти деньги он потратил на путешествие с одной барышней по Италии. Так как это, наверно очень приятное, путешествие лично меня касалось только на четверть, то я счел себя вправе указать ЦК немецкой партии на остальные три четверти его. ЦК отнесся к путешествию Парвуса равнодушно. Позднее я слышал, что Парвуса лишили за это каких-то партийных чинов. Говоря по совести, я предпочел бы, чтобы ему надрали уши».

Из книги «Купец революции», мы узнаем, что членами партийного суда, который в 1907-ом году судил Парвуса, были Каутский, Бебель и Клара Цеткин и что после суда Парвус уже не мог оставаться в Германии. В 1910-ом году он уехал в Вену, но и там не мог устроиться. Тогда Парвус решил предпринять путешествие по Ближнему Востоку и прежде всего поехал в Турцию. Троцкий устроил, чтобы он оттуда писал корреспонденции для радикальной газеты «Киевская мысль», сотрудником которой Троцкий состоял. Розе Люксембург Парвус писал, что он едет в Константинополь на 4-5 месяцев. Прожил же он там почти пять лет, и именно там началась самая сенсационная глава в жизни этого человека.

В Константинополе Парвус скоро стал политическим и финансовым советником младотурок и писал передовые статьи для их газеты. А как только летом 1914 года вспыхнула война, Парвус начал в Болгарии и Румынии усиленную агитацию за победу Германии. Эти две страны тогда еще были нейтральны, и оба воюющих лагеря старались привлечь их на свою сторону. В статье, озаглавленной «За демократию, против царизма» Парвус тогда писал, что Германия имеет самую могущественную социал-демократическую партию. Поэтому Германия является олицетворением прогресса, и так как Англия и Франция в этой войне — союзники русского абсолютизма, то ясно, где находятся враги социализма.

Позже, уже в декабре 1918 года сам Парвус писал: — «Я желал победы центральным державам потому, что я хотел пре-

дотворить реакцию победоносного царизма и союзнического империализма, и потому, что я считал, что в победоносной Германии социал-демократия будет достаточно сильна, чтобы изменить режим».

В начале войны Парвус действовал в согласии с программой большинства германской социал-демократии. Но так как он всегда любил деньги и не был слишком разборчив в средствах, то вскоре Парвус стал платным агентом германского правительства.

Из опубликованных документов германского министерства иностранных дел мы знаем, что уже 8-го августа 1914 г. Вильгельм II приказал ассигновать большую сумму на революционную пропаганду в России. Вскоре после этого в Вене и в Львове группа украинских социалистов на деньги австрийского правительства создала «Союз вызволения Украины». Целью его было оторвать Украину от России и создать самостоятельное украинское государство. От австро-венгерского правительства Союз получил большие деньги для ведения пропаганды среди русских военнопленных в Австрии и в Германии, а также в самой Украине.

Как это точно установлено из тайных документов германского министерства иностранных дел, которые после второй мировой войны попали в руки американцев и англичан, а также из документов австро-венгерского министерства иностранных дел, Ленин в самом начале войны получил от «Союза вызволения Украины» 5 тысяч долларов на возобновление своей газеты «Социал-демократ», которую он издавал в Швейцарии. Газета печаталась в незначительном количестве экземпляров и на дешевой бумаге. Отдельные экземпляры ее потом пересылались в Германию. Там фотографическим способом перепечатывались на папиросной бумаге в типографии германского морского министерства уже в большом количестве экземпляров. Потом отпечатанные экземпляры через германского агента и бывшего большевика — эстонца Александра Кёскула — отправлялись в Копенгаген и в Стокгольм и пересылались в Россию.

Лидер «Союза вызволения Украины» Меленевский-Басок еще в самом начале войны в Константинополе встретился с Парвусом. Парвус выразил свою готовность всячески помогать Союзу. Меленевский познакомил Парвуса с неким доктором

Циммером, ставленником германской и австро-венгерской дипломатических миссий, руководившим всей деятельностью украинского Союза, и Парвус с тех пор работал рука об руку с доктором Циммером. В первых числах января 1915 года Парвус просил Циммера устроить ему встречу с германским послом в Константинополе. 7-го января 1915-го года германский посол фон Вангенхайм принял Парвуса, и Парвус изложил ему свой план. В чем состоял план Парвуса? Об этом в книге «Купец революции» рассказано следующее:

«Интересы германского правительства, — говорил Парвус германскому послу, — вполне совпадают с интересами русских революционеров. Русские социал-демократы могут достигнуть своей цели только в результате полного уничтожения царизма. С другой стороны, Германия не сможет выйти победительницей из этой войны, если до этого не вызовет революцию в России. Но и после революции Россия будет представлять большую опасность для Германии, если она не будет расчленена на ряд самостоятельных государств. Отдельные группы русских революционеров уже работают в этом направлении. Но между ними нет пока тесной связи и единства. Меншевики, например, еще не объединились с большевиками. Для успеха дела, говорил Парвус, необходимо в первую очередь созвать, если возможно в Женеве, съезд всех революционных лидеров, как первый шаг к установлению единства между ними. Но для этого потребуются значительные деньги. Таков был план Парвуса. 8-го января фон Вангенхайм, в подробной телеграмме министерству иностранных дел в Берлине, сообщил о своей беседе с Парвусом. Фон Вангенхайм при этом подчеркнул, что позиция этого хорошо известного русского социалиста и публициста была с самого начала войны «определенно прогерманской». Фон Вангенхайм также передал просьбу Парвуса изложить весь его план министерству иностранных дел в Берлине. После беседы с фон Вангенхаймом, Парвус был уверен, что ответ министерства иностранных дел будет положительный. И он не ошибся».

Встреча Парвуса с германскими дипломатами произошла в конце февраля 1915 года. Ввиду того, что переговоры носили строго секретный характер, никаких документов о них не сохранилось, но в архивах германского министерства иностранных дел сохранился меморандум, который Парвус представил гер-

манскому министерству иностранных дел через несколько дней, 9-го марта 1915-го года. В меморандуме Парвус доказывал германским дипломатам, что только русские социал-демократы в состоянии подготовить новую всеобщую забастовку в России, под лозунгом «Свобода и мир», и при этом подчеркивал, что большевики под руководством Ленина являются самой влиятельной организацией. Парвус считал, что все социалистические группы, которые будут поддерживать Германию, создадут единый фронт. Меншевики и большевики должны сговориться. Еврейский Бунд, украинская «Спилка», обе социалистические партии Польши, латышская и финляндская социалистические партии также должны быть включены в этот единый фронт. Созыв объединительного съезда лидеров всех российских социал-демократических партий Парвус считал лучшим путем для достижения этой цели. Но вместе с этим в самой России и за границей должна быть развернута широкая пропаганда мира. Для этого нужна усиленная финансовая поддержка эмигрантской русской печати антивоенного и пораженческого направления. Парвус упомянул в своем меморандуме парижскую русскую газету «Голос», которую редактировали Мартов и Троцкий, и которая позже была заменена газетой «Наше слово», главным редактором которой был Троцкий.

В специальном приложении к своему первоначальному меморандуму Парвус так сформулировал свою программу, состоявшую из одиннадцати пунктов. Первый пункт программы гласил: — «Финансовая поддержка большевистской фракции Российской Социал-демократической Рабочей Партии, которая борется против царского правительства всеми доступными ей средствами. Ее вожди находятся в Швейцарии. Ленинская группа опытных профессиональных революционеров является лучшей гарантией успеха будущей «Всероссийской массовой забастовки».

Власти Германии в то время мечтали о сепаратном мире либо с Францией, либо с Россией, который дал бы им возможность свести счеты с Великобританией. Авторы книги «Купец революции», основываясь на документах архива германского министерства иностранных дел, пишут: — «Сепаратный мир с Россией в 1915 году был единственным выходом из германского военного тупика. Правительство Вильгельма II-го решило предпринять шаги к примирению с Россией. До конца

## КУПЕЦ РЕВОЛЮЦИИ

июля 1915-го года сепаратный мир с Россией казался Берлину вполне достижимым. Мартовский меморандум Парвуса, поэтому, приходился как раз кстати в их общем плане. Германские дипломаты, конечно, не верили в свержение династии в России, что должно было проложить путь к социализму. Но они были заинтересованы в усилении внутренних неурядиц в России, которые могли бы вынудить царя заключить мир. Германское министерство иностранных дел считало поддержку русских революционеров только средством для оказания давления на царя, чтобы ускорить дипломатические переговоры».

Но Парвус думал совсем иначе. Для Парвуса сепаратный мир Германии с Россией означал бы полнейший крах всего его плана. Заключение мира дало бы царскому правительству возможность подавить революцию, как это было в 1906-ом году. По этой же причине и Ленин был тогда решительным противником заключения какого бы то ни было мира.

Начиная с середины марта 1915 года, Парвус стал главным советником германского правительства по революционным делам в России. Ему была поручена организация единого фронта европейского социализма против царского режима в России. Он должен был помочь социалистическим организациям в России при помощи пораженческой пропаганды, забастовок и саботажа привести к крушению существующий режим.

В конце марта 1915-го года Парвус получил от министерства иностранных дел первый миллион марок для этих целей. По его просьбе деньги в иностранной валюте были переведены в Бухарест, Цюрих и Копенгаген. Авторы книги «Купец революции» пишут: «Первые встречи Парвуса с немецкими товарищами в Берлине были не особенно дружественны. Даже те социал-демократы, которые вполне поддерживали военную политику германского правительства, о Парвусе не могли сказать хорошего слова, хотя его политическая позиция почти совпала с позицией германского правительства. Гуго Гаазе, председатель партии, дошел до того, что предостерег своих товарищей от какого-либо контакта с Парвусом. Гаазе высказал подозрение, что Парвус — агент русского правительства. А когда Парвус пришел к редактору газеты «Форвертс» Штребелю, тот принял его с нескрываемым недоверием. Не лучше отнеслись к нему и его бывшие близкие друзья из левого крыла партии. Когда Парвус явился к Розе Люксембург, она не дала

ему даже говорить, а сразу указала на дверь. Карл Либкнехт, Клара Цеткин и Лев Ибгихес-Тышко тоже приняли его очень холодно. Клара Цеткин назвала его — «сутенер империализма, который продан германскому правительству», — и все они окончательно порвали сношения с Парвусом.

Но в мае 1915 года Парвус прибыл в Швейцарию, где произвел большое впечатление на русских политических эмигрантов. Он остановился в одной из самых роскошных гостиниц Цюриха, жил там, как азиатский монарх, всегда окруженный красивыми блондинками, с которыми пил «самое дорогое шампанское». Екатерина Громан, с которой Парвус был близок, когда она еще работала в петербургской социал-демократической организации, взяла на себя миссию оповестить русскую колонию о прибытии Парвуса. Парвус дал ей значительную сумму для распределения среди нуждающихся эмигрантов. Этот жест еще более усилил слухи о фантастическом богатстве Парвуса. Но самой неотложной задачей Парвуса была встреча с Лениным. Об этой встрече авторы книги «Купец революции» пишут: «Встреча с Лениным была главной задачей Парвуса. Парвус знал, что из всех фракций социал-демократической партии у большевиков самая лучшая организация. Ленин уже высказался против победы царского правительства в войне. Ленин хотел немедленной революции, — международной революции во всех воюющих странах, путем превращения империалистической войны в ряд гражданских войн, но прежде всего он хотел — революции в России. Поэтому, если Парвусу удалось бы сговориться с Лениным, то ему было бы нетрудно перетянуть на свою сторону и представителей всех остальных фракций. В плане Парвуса Ленин был ключом к успеху. К концу мая Парвус в сопровождении Екатерины Громан появился в ресторане, где обычно обедали русские политические эмигранты. Один из русских подвел Парвуса к столику, за которым сидел Ленин с Крупской, с ближайшей приятельницей Ленина Инессой Арманд и другом Ленина Каспаровым. После краткой беседы Ленин и Крупская ушли из ресторана с Парвусом и пригласили его к себе в их скромную квартиру. Сам Парвус в своей немецкой брошюре 'В борьбе за правду' так описал их беседу на квартире Ленина: — 'Я изложил Ленину свои взгляды на социально-революционные последствия войны и в то же время обратил его внимание на то, что пока война продол-

жается, никакой революции в Германии не будет, революция возможна только в России, которая вспыхнет в результате германских побед. Он, Ленин, однако мечтал об издании международного социалистического журнала, при помощи которого он надеялся толкнуть весь европейский пролетариат на путь немедленной революции'».

Ленин и Парвус тогда не пришли ни к какому определенному соглашению. Ленин недолюбливал Парвуса, и не исключена возможность, что он видел в Парвусе некоего опасного конкурента. Ленин знал, что если план Парвуса удастся, то он со временем приобретет большое влияние в русских социалистических организациях и, благодаря своим финансовым ресурсам и интеллектуальным способностям, может обойти остальных партийных лидеров.

Авторы книги «Купец революции» пишут: — «Мы знаем, что эта мысль мелькнула и у самого Парвуса. Ленин, однако, к этим переговорам отнесся чрезвычайно осторожно. В своих публичных заявлениях Ленин никогда не упоминал о своей встрече с Парвусом в 1915 году. Он также не поносил Парвуса, как это делали тогда многие социалисты. Возможно, что Ленин хотел держать открытой запасную дверь, которой он позже, как мы это дальше увидим, и воспользовался. Но тогда, в мае 1915 года, Парвусу не удалось добиться сотрудничества Ленина, и в использовании им нелегальной большевистской организации ему было отказано. Без Ленина Парвус не был в состоянии ни создать 'единый социалистический фронт', ни работать в этом направлении с какой-либо надеждой на успех внутри России».

Однако Парвус в конце концов нашел выход. Перед своим отъездом из Цюриха, он поручил Екатерине Громан оповестить русских эмигрантов, что он хочет собрать группу исследователей для научно-исследовательского Института: изучать причины и последствия мировой войны. Институт этот он собирался открыть в Копенгагене. Обещание Парвуса, что работники Института смогут поехать в Копенгаген через Германию по легальным паспортам вызвало подозрение у многих русских эмигрантов — не является ли «парвусовский институт» учреждением, созданным на деньги германского правительства для пропаганды в пользу победы Германии? Парвусу удалось тогда завербовать только четырех русских эмигрантов: — Екате-

рина Громан, Владимир Перазич, Георгий Чудновский и бывший социал-демократический депутат Второй Государственной Думы Аршак Зурабов. Журнал социалистов-оборонцев «Свобода и Россия», выходивший тогда в Париже под редакцией бывшего большевика Григория Алексинского, утверждал, что парвусовский институт основан на деньги германского правительства, и его задачей является распространение пораженческой пропаганды в союзных странах, главным образом, в России. Это изобличение деятельности парвусовского Института вызвало печатный отпор со стороны участников Института — Зурабова, Перазича и других, протестовавших против «клеветнических выпадов» Алексинского. Но по документам германского министерства иностранных дел, сейчас опубликованным в Америке и в Англии, точно установлено, что парвусовский Институт был основан на деньги германского правительства и именно с той целью, о которой писал Алексинский.

Позже в Институт вступил Моисей Урицкий, игравший видную роль в большевистской революции, а также — Яков Ганецкий. В 1916 году Н. Бухарин очутился в Копенгагене и хотел вступить в парвусовский Институт. Но Ленин посоветовал ему держаться подальше от Парвуса. Ленин также запретил и своему представителю в Скандинавии Александру Шляпникову вступать в какой-либо контакт с Ганецким. Но Ганецкий, именно, **по поручению Ленина** вступил в парвусовский Институт. Авторы книги «Купец революции» объясняют, как это произошло: — «Ганецкий был скрытный, вполне надежный конспиратор, способный действовать одновременно в двух и более ролях. Он часто брал на себя, по поручению Ленина, разные деликатные миссии, и так как Ленин хотел иметь своего человека в парвусовской организации, то Ганецкий был самый подходящий для этого человек. Мы имеем все основания утверждать, что Ганецкий примкнул к Парвусу с одобрения Ленина. Когда Ленин в 1915 году одобрил работу Ганецкого в парвусовской организации, то обе стороны от этого выиграли. Ленин был хорошо осведомлен о работе Института, а Парвус через Ганецкого имел прекрасную связь с большевистским главным штабом».

Доктор Циммер, представитель германского правительства, бывший в постоянном контакте с Парвусом, сообщал в Берлин: — «В организации, созданной Парвусом, работает восемь чело-

век и около десяти разъезжают по России, так как это необходимо для поддержания постоянного контакта между различными организациями. Центр в Копенгагене ведет непрерывную переписку с лицами, с которыми агенты установили контакт. Работа так хорошо поставлена, что часто даже люди, работающие в организации, не знают, что за всем этим стоит германское правительство».

В сентябре 1915 года Парвус начал издавать в Германии свой журнал «Ди Глоке». В одном из первых номеров Парвус выступил с защитой тех германских социалистов, которые поддерживали правительство, когда война была объявлена. Он считал германский генеральный штаб защитником интересов пролетариата против царизма. Появление журнала Парвуса и его статьи заставили Ленина выступить открыто в своей газете «Социал-демократ» с заявлением о Парвусе и его журнале «Ди Глоке». Авторы книги «Купец революции» пишут: — «Статья Ленина против «Ди Глоке» была использована большевистскими публицистами как доказательство, что между их партией и Парвусом не было никакой связи. Но Ленин в своей статье воздержался от того, чтобы назвать Парвуса агентом германского правительства. Ленин ни одним словом не обмолвился об их встрече в мае 1915 года. Ленин считал политически целесообразным открыто отмежеваться от Парвуса, не порвав, однако, с ним окончательно. Молчаливое соглашение насчет роли Ганецкого, как помощника Парвуса и одновременно конфиденциального агента Ленина, ни в коем случае не могло быть расторгнуто из-за критики Лениным журнала «Ди Глоке».

30 ноября 1915 года Парвус представил германскому послу в Копенгагене Брокдорф-Ранцау меморандум, в котором обсуждал проблему мира и делал ряд новых предложений насчет того, каким образом можно усилить революционное брожение в России. Парвус предостерегал германское правительство от сепаратного мира с царским правительством. Если царь заключит мир с Германией, утверждал Парвус, можно ожидать, что к власти придет реакционное ультра-националистическое правительство, которое не будет чувствовать себя связанным обещаниями царя. Германия, таким образом, будет лишена политических результатов своих побед на фронте. Мир с царем может закончить войну, но не может привести к миру. Россия, писал Парвус, уже достигла такой степени политиче-

ского развития, когда мир с этой страной невозможен до тех пор, пока там у власти не будет правительство, пользующееся доверием народа. Если же, наоборот, Германия не заключит мира с царем, мир снова станет всеобщим лозунгом революционного движения. Жажда мира и крайнее расстройство в стране немедленно приведут к революции. Революционное правительство, которое придет на смену царскому, вынуждено будет в первую очередь закончить войну и предложить немедленный мир.

Брокдорф-Ранцау послал меморандум Парвуса канцлеру Бетман-Гольвегу вместе со своим письмом, в котором подчеркивал, что меморандум Парвуса написан им на основании тайных сообщений его конфиденциального агента, прибывшего на днях из Петербурга в Копенгаген. Германское министерство иностранных дел немедленно вызвало Парвуса в Берлин. Между 10 и 20 декабря Парвус провел несколько дней в Берлине, где обсуждал свои планы в министерстве иностранных дел и в министерстве финансов. Парвус получил обещание, что германское правительство ассигнует еще один миллион марок специально на пропаганду в русской армии. Германский канцлер не принял тогда Парвуса, но Брокдорф-Ранцау сделал для Парвуса больше чем мог бы сделать сам Парвус. В своем докладе министерству иностранных дел Брокдорф-Ранцау писал, что царь Николай II сам возложил на себя страшную историческую вину, вызвав войну, и не заслуживает никакого снисхождения со стороны Германии. Традиционной дружбе с Романовыми должен быть положен конец. Брокдорф-Ранцау писал:

«Победа и ее вознаграждение — занятие первого места в мире — будут обеспечены за Германией, если нам удастся своевременно вызвать революцию в России, разрушив этим Антанту. После заключения мира внутренний развал в России для нас не будет иметь никакой цены, возможно, что даже будет нежелательным. Несомненно верно, что доктор Гельфанд (Парвус) не святоша и не желанный гость. Он, однако, верит в свою миссию и его компетентность выдержала испытание в революции 1905 г. после русско-японской войны. Я думаю поэтому, что мы должны использовать его, пока еще не поздно».

29-го декабря 1915 года Парвус получил новый миллион марок на поддержку революционного движения в России.

3 января 1916 года Парвус телеграфировал Брокдорфу-Ранцау из Стокгольма: «Все идет, как надо. Жду ответов из Петербурга». В Петрограде и в некоторых других городах в январе 1916 года произошли рабочие забастовки. Забастовки эти были стихийные и не привели к революции, вопреки ожиданиям и предсказанию Парвуса. Недоверие германского министра иностранных дел к Парвусу после этого усилилось. Он выразил подозрение, что фонды, предназначенные германским правительством на революцию в России, текут в карманы самого Парвуса.

В марте 1917 года революция в России вспыхнула, царский строй пал и у власти стало Временное Правительство. 22 марта 1917 года Парвус писал своему приятелю, что хотел бы видеть в России проведение следующих мер: вооружение пролетариата, публичный суд над царем, раздел помещичьей земли между крестьянами, введение восьмичасового рабочего дня на всех фабриках и заводах, созыв Учредительного Собрания и заключение мира. Эта программа в общем соответствовала большевистским идеям. 1-го апреля произошел длительный обмен мнениями между Парвусом и Брокдорф-Ранцау. Парвус выразил глубокое убеждение в том, что Россия устала от войны и жажда мира вскоре охватит всю страну. Поэтому германская армия должна во что бы то ни стало пока воздержаться от наступления на Россию. Парвус боялся, что такое наступление может вызвать среди русских масс настроение в пользу защиты завоеванных свобод. Российская революция должна быть предоставлена самой себе, говорил Парвус, чтобы логически развить последствия столкновения классовых интересов, вызванных ею. В результате, все основы русского государства будут сильно расшатаны. Крестьяне силой захватят землю помещиков, солдаты бросят окопы, перебьют своих командиров. Украинцы, кавказцы и другие национальные меньшинства освободятся от Петрограда и разрушат централизованную организацию российского государства. Голод будет продолжаться, и в результате терпению масс наступит конец. В течение двух-трех месяцев, предсказывал Парвус, самая худшая анархия наступит в России. Германская политика по отношению к революционной России, говорил Парвус, может следовать по одному из двух путей. Германия может начать широкую оккупацию российских территорий с целью сломить централизован-

ную империю или же может заключить сепаратный мир с Временным Правительством. Для реализации первого варианта Парвус рекомендовал сильное военное наступление **на русском фронте**, которое должно быть предпринято месяца через три. Такое наступление, при анархии в стране, приведет к покорению германской армией Южной России и сделает беззащитной остальную Россию. В этом случае германское правительство должно быть готово безжалостно использовать свою победу до конца: разоружение русской армии, разрушение ее крепостей, уничтожение ее флота, запрещение производства военных орудий и амуниции и расширенная оккупация России. Если это не произойдет, то нет никакого сомнения, что русская империя быстро вновь станет могучей и опасной для Германии. Для того, чтобы подготовить почву для такого радикального разрешения русского вопроса, необходимо «поддержать крайнее революционное движение в России, с целью усиления там анархии». Если же Германия не готова для такого решения русского вопроса, или же считает такое предприятие непрочным, говорил Парвус графу Брокдорфу-Ранцау, то оно должно сделать усилие, чтобы заключить сепаратный мир с Россией, но такой мир, который был бы более или менее приемлем для обеих сторон. В противном случае Парвус боялся «повторения того, что случилось с нашими отношениями с Францией» в 1870-ом году, с той лишь разницей, что Франция не переросла нас ни экономически, ни политически, в то время как Россия несомненно со временем вырастет в могучую экономическую и политическую силу, которая превзойдет территориально-ограниченную Германию. Но Парвус считал, что шансы на заключение немедленного мира с Временным Правительством очень невелики. Поэтому он склонялся к тому, чтобы Германия оказала полную поддержку «крайне-левому революционному движению» в России, то-есть Ленину и большевистской партии. Брокдорф-Ранцау протокол своей беседы с Парвусом немедленно послал германскому канцлеру Бетман-Гольвегу и уже в начале апреля канцлер уполномочил германского посла в Берне фон Ромберга войти в контакт с русскими политическими эмигрантами и предложить им проезд в Россию через Германию.

Авторы книги «Купец-революции» пишут: — «Пока технические и легальные средства проезда русских революцион-

ных эмигрантов в Россию через Германию обсуждались в германском министерстве иностранных дел, Парвус уже предпринял первые практические шаги. Так как отправка большого числа русских революционеров была довольно сложным делом, то он считал, что в первую очередь надо немедленно переправить в Россию через Германию Ленина и Зиновьева — двух главных большевистских лидеров. Тут связь между Парвусом и Лениным через Ганецкого оказалась очень ценной. Парвус получил сначала согласие на это германского Генерального штаба, а не Министерства иностранных дел, и тогда попросил Ганецкого известить Ленина, что поездка его и Зиновьева через Германию организована, но не говорить ему ясно из какого источника оказана помощь. Германский агент Георг Скларц немедленно отправился в Цюрих сопровождать Ленина и Зиновьева в их поездке через Германию. Но Парвус ошибся, предполагая, что Ленин немедленно примет предложение. 24-го марта по старому стилю, Ленин просил Зиновьева послать Ганецкому следующую телеграмму: «Письмо отправлено. Дядя (то есть Ленин) хочет знать более подробно. Официальный проезд только нескольких лиц — неприемлемо». Телеграмма Зиновьева была потом напечатана в «Ленинском сборнике» № 13.

Но Георг Скларц выехал из Копенгагена до получения Ганецким телеграммы Зиновьева и он еще более осложнил дело в Цюрихе тем, что предложил покрыть все расходы по поездке двух большевистских лидеров. Ленин немедленно прервал переговоры. Парвус сделал большую ошибку. Без всякого намерения он как-бы устроил западню двум большевистским лидерам. Если бы Ленин принял предложение, поехать в Россию только вдвоем с Зиновьевым, он бы так скомпрометировал себя, что не мог бы принести никакой пользы ни большевикам, ни немцам. Когда Парвус узнал обо всем, он немедленно отправился в Берлин для обсуждения хода событий в России с немецкими дипломатами и одновременно с социал-демократическими лидерами. Лидер германской социал-демократии Филипп Шейдеман, который во время войны поддерживал политику германского правительства, в первом томе своих воспоминаний вышедших в 1928 году, писал: — «Я впоследствии узнал, что поездка Ленина и его друзей через Германию в Россию была организована доктором Гельфандом-Парвусом, который об этом

информировал только нескольких лиц. Нам (то есть социал-демократическим лидерам) он об этом ни слова не сказал».

Авторы книги «Купец революции» пишут: — «Лидеры германской социал-демократической партии ничего не знали о связях Парвуса с министерством иностранных дел и о его деятельности по поощрению хаоса в России... И они снабдили его письмом, в котором уполномочили вести переговоры с русскими изгнанниками, то-есть, с Лениным и другими, официально от имени Центрального комитета социал-демократической партии».

Ленин, по приезде своем в Стокгольм, как известно, отверг предложение Парвуса встретиться лично с ним, но Ганецкий продолжал быть тайным посредником между ними. Вместе с Лениным в Стокгольм приехал Карл Радек. Авторы книги «Купец революции» пишут: — «Фюрстенберг-Ганецкий еще продолжал играть роль посредника между Лениным и Парвусом, но теперь на сцену появился Карл Радек. Он, как известно, был австрийским подданным. Именно с ним Парвус 13 апреля провел большую часть дня. Это была решающая и совершенно секретная встреча». Мы никогда не узнаем точно, что эти два человека говорили друг другу. Мало вероятно, чтобы они потратили много времени, обсуждая марксистские теории. Парвус в состоянии был обещать большевикам большую финансовую поддержку в будущей борьбе их за завоевание власти в России. А Радек был уполномочен Лениным принять это предложение. События последующих месяцев в России дают достаточно доказательств, что именно эта договоренность произошла в Стокгольме 13 апреля 1917 года.

Авторы книги «Купец революции» далее отмечают то, что Радек, как австрийский подданный, тогда не имел возможности ехать с Лениным и другими товарищами в Петроград. Он остался в Стокгольме. Парвус через три дня вернулся в Копенгаген и немедленно отправился к германскому послу Брокдорфу-Ранцау. Он подробно рассказал ему о своих переговорах с Радеком и о том, что Ленин уполномочил Радека принять предложения Парвуса, сделанные им от имени германского правительства. Брокдорф-Ранцау обо всем этом немедленно телеграфировал министру иностранных дел и сообщил, что сам Парвус 18 апреля прибудет в Берлин и будет ждать приглашения на аудиенцию с Циммерманом, главой германского мини-

стерства иностранных дел. Через несколько дней Парвус получил такое приглашение. Аудиенция эта была весьма секретной, никаких свидетелей не было, и протокол об этой длительной беседе Парвуса с Циммерманом не сохранился. Авторы книги «Купец революции» пишут:

«Нет никакого сомнения, что Парвус доказывал Циммерману необходимость поддержки Германией большевистской партии. Большевикам нужны были деньги для расширения своей пропаганды мира в русском тылу, а также среди солдат на фронте, которая уже велась в течение многих месяцев. Эта пропаганда должна теперь значительно усилиться и быть связанной с политикой большевиков. Опасность, что германское военное наступление на восточном фронте поведет к объединению всех патриотических элементов в России и парализует пропаганду мира — все еще существует. От этого больше всех пострадают большевики. Парвус вновь настаивал, чтобы никакого наступления на русском фронте не было в течение нескольких месяцев. Еще раньше министерство иностранных дел просило государственное казначейство о новой ассигновке пяти миллионов марок для политических целей в России, и 3 апреля просьба эта была удовлетворена».

Закончив все свои дела в Берлине, Парвус отправился в Копенгаген, а затем в Стокгольм. Последующие недели он провел в разъездах между этими двумя скандинавскими столицами. Авторы книги «Купец революции» пишут: — «В Стокгольме Парвус большую часть своего времени проводил с лидерами Заграничной делегации ЦК большевистской партии. Похоже было, что он сам, как будто, один из них. Это было единственное заграничное представительство центрального комитета большевиков, который тогда уже находился в Петрограде. Он также был и пропагандным бюро, которое издавало два большевистских органа на немецком языке 'Вестник русской революции' и 'Корреспонденции Правда'. Заведывали этими изданиями Ганецкий, Радек и Вацлав Воровский, который также был известен под псевдонимом П. Орловский... Из всех членов большевистского Бюро Радек был самый деятельный и доминирующий... Кроме Парвуса Радек общался также с неким Гольдбергом, который был агентом депутата германского рейхстага Эрцбергера, а также и с Карлом Моор, швейцарским социалистом, который тогда одновременно работал для швей-

царского, австрийского и германского правительств. Через этих людей Радек давал знать германскому правительству, что победа большевиков над Временным Правительством — вопрос только времени. И он говорил всем, кто только хотел его слушать, что он не ищет квартиру на зиму в Стокгольме, так как отправится в Петроград немедленно после победы большевиков».

Все три члена Заграничного бюро ЦК большевистской партии — Ганецкий, Радек и Воровский — были опытными подпольщиками, которые продолжали бороться против Временного Правительства теми же средствами, какие они употребляли в борьбе против царского самодержавия. Но теперь они были в более выгодном положении. Немцы предоставили в их распоряжение весь свой аппарат дипломатических сношений. Кроме этого еще существовали хорошо испытанные связи между Россией и Скандинавскими странами, которые были установлены экспортной компанией Парвуса в Копенгагене. Директором этой компании был Ганецкий. Слухи о том, что Парвус, благодаря своим связям с Германией и Турцией заработал миллионы, якобы, на поставках хлеба из Балканских стран для германской армии, распространялись, главным образом, теми российскими революционерами, которые состояли в тайных сношениях с ним и через него получали от германского правительства субсидии для своей пораженческой пропаганды. Авторы книги «Кулец революции» приводят следующий рассказ члена австро-венгерского посольства в Стокгольме Гребинга о тогдашних торговых делах Парвуса: — «Несомненно, что Парвус и Фюрстенберг-Ганецкий могли и действительно вели, с помощью Германии, экспортную торговлю через Скандинавию с Россией. Этот экспорт германских товаров в Россию шел регулярно и в значительных количествах через фирму Парвуса-Ганецкого следующим образом: Парвус получал из Германии некоторые товары, как хирургические инструменты, медикаменты и химические продукты, в которых Россия очень нуждалась, а потом Ганецкий, как русский агент, отправлял их в Россию. Но за эти товары они Германии ничего не платили, все вырученные ими деньги от продажи германских товаров, с первого же дня революции в России, были использованы, главным образом, для финансирования ленинской пропаганды в России».

«Ленин — пишут авторы книги, — всецело доверял свое-

му политическому Бюро в Стокгольме. Между Петроградом и Стокгольмом все время шел обмен многочисленными письмами. В переписке Ленина с Ганецким с самого начала вопрос о деньгах для большевистской партии занимал первое место. В своем первом письме к Ганецкому, написанном Лениным через несколько дней после его прибытия в Петроград, он жаловался, что «до сих пор не получили никаких денег». 12 апреля по старому стилю Ленин писал Ганецкому: «Дорогие друзья, до сих пор ничего, ровно ничего, ни писем, ни пакетов, ни денег от вас не получили. Только две телеграммы от Ганецкого... Пишите чаще. Будьте архиосторожны в сношениях. Ваш В. Ульянов». В письме от 22-23 апреля старого стиля Ленин писал: — «Деньги (две тысячи) от Козловского получены. Пакеты до сих пор не получены... С курьерами дело наладить нелегко, но все же примем все меры. Сейчас едет специальный человек для организации всего дела. Надеемся, ему удастся все наладить... Радеку шлем привет». Эти письма Ленина впервые были опубликованы Ганецким, через пять лет, в московском коммунистическом журнале «Пролетарская революция», № 9, 1922 г.

В июле Парвус был в Берлине. Там он уверял представителей германского министерства иностранных дел в неминувшей победе большевиков. 22-го июля он уехал в Швейцарию. Как раз в эти дни в Петрограде вспыхнуло восстание большевиков. Авторы книги «Купец революции» пишут: — «16 и 17 июля по новому стилю, в то время как Гельфанд-Парвус уверял дипломатов в Берлине о предстоящей победе большевиков, Ленин и его партия организовали восстание против Временного Правительства в Петрограде. Оно было подавлено с некоторыми трудностями, и правительство Керенского решило расправиться с большевиками. 18 июля министерство юстиции Временного Правительства опубликовало ряд документов, которые имели целью доказать, что Ленин и большевистская партия виновны в государственной измене. Документы эти были воспроизведены, как доказательство, что большевики получали деньги от германского правительства. Среди опубликованных документов были деловые телеграммы от Ганецкого и Козловского к г-же Суменсон, петроградской представительнице фирмы Нестл и телеграммы Ленина Ганецкому и Александре Коллонтай. На следующий день, 19 июля, вся патриотическая русская печать большими заголовками оповести-

ла население страны о предательстве Ленина. Руководители этой газетной кампании два журналиста — Григорий Алексинский, бывший лидер большевистской фракции во второй Государственной думе, и Владимир Бурцев, старый революционер и известный историк революционного движения. Оба они обвиняли большевиков в предательской деятельности еще в 1914 году и еще задолго до этого ненавидели Парвуса».

20 июля Бурцев писал в петроградской либеральной газете «Речь»: — «Парвус — не агент-provokator. Он — больше того, он агент Вильгельма II-го». Министерство юстиции Временного Правительства обвинило большевиков в государственной измене. В обвинительном акте говорилось, что Ганецкий и Александра Коллонтай переводили деньги, которые они получали от Парвуса из Стокгольмского Неа-Банк в Сибирский банк в Петрограде на специальный счет госпожи Суменсон, к которому большевики имели доступ. Главное обвинение против обвиняемых было сформулировано в следующих словах: — «Расследование установило, что Яков Ганецкий-Фюрстенберг, проживая в Копенгагене во время войны, имел тесные финансовые связи с Парвусом, агентом германского правительства. Деятельность Парвуса, как агента германского и австрийского правительств, была направлена на поражение России в войне и отделение Украины... Из многочисленных телеграмм, имеющих в руках представителей юстиции, установлено, что между госпожой Суменсон, Ульяновым-Лениным, Александрой Коллонтай и Козловским, проживающим в Петрограде, с одной стороны, и Ганецким и Парвусом, с другой — шла постоянная большая переписка. Хотя в этой переписке говорилось о чисто коммерческих делах, об отправке разного рода товаров и о денежных операциях, но она дает достаточно оснований, чтобы сделать заключение, что это было просто прикрытие для сношений шпионского характера».

На основе имевшихся доказательств прокурор Временного Правительства считал доказанным, что обвиняемые сотрудничали с Германией с целью ослабить боеспособность России. В обвинительном акте далее было сказано: — «Для этой цели и на деньги, полученные ими от Германии, они организовали пропаганду среди гражданского населения и в армии, с призывом к немедленному отказу от продолжения военных действий против врага, а также с той же целью к организации в Петро-

граде с 16-го до 18-го июля 1917 года вооруженного восстания против существующего строя».

Ленину и Зиновьеву, как известно, тогда, во избежание ареста, удалось своевременно бежать из Петрограда и скрыться сначала в деревне, недалеко от Петрограда, а потом Ленин перебрался в Финляндию. Козловский, Суменсон, а позже и Троцкий были арестованы. Вся большевистская партия опять ушла в подполье.

Конечно, Ленин в России, а Радек в Стокгольме, оба решительно отрицали, что большевики получали деньги от германского правительства на пораженческую пропаганду в России. Но известный германский социал-демократ Эдуард Бернштейн в январе 1921 года в своей статье в берлинской газете «Форвертс» писал: — «Ленин и его товарищи получали от правительства кайзера огромные суммы денег на ведение своей разрушительной агитации. Я об этом узнал еще в декабре 1917 года. Через одного моего приятеля я запросил об этом одно лицо, которое благодаря посту, какой оно занимало, должно было быть осведомлено, — верно ли это? И я получил утвердительный ответ. Но я тогда не мог узнать, как велики были эти суммы и кто был, или кто были, посредником или посредниками (между правительством кайзера и Лениным). Теперь я из абсолютно достоверных источников выяснил, что речь шла об очень большой, почти невероятной сумме, несомненно **больше пятидесяти миллионов золотых марок**, о такой громадной сумме, что и у Ленина и у его товарищей не могло быть никакого сомнения насчет того, из каких источников эти деньги шли».

Теперь факт большевистско-германского заговора подтвержден официальными документами германского министерства иностранных дел. Эти документы в конце Второй мировой войны были найдены американской оккупационной армией в Германии в пяти замках, в горах Гарца. Среди них есть тысячи отчетов, писем и телеграмм, касающихся отношений между большевиками и правительством Вильгельма II-го. Некоторые из документов в пятидесятых годах были напечатаны в разных германских и английских газетах и журналах. В 1957 и 1958 годах в Лейдене, в Голландии, вышел на немецком языке под редакцией и с предисловием Вернера Хальвега сборник «Возвращение Ленина в Россию в 1917 году», а в начале 1958 года в

Лондоне, в издательстве Оксфордского университета, на английском языке с предисловием Земана вышел сборник германских документов под названием: «Германия и революция в России». Опубликованные документы германского министерства иностранных дел всецело подтверждают все то, что писали в 1915 году Алексинский, Бурцев и другие о Парвусе, о его Копенгагенском институте, о роли Парвуса, как главного агента германского правительства и германского генерального штаба, а также и все обвинения Временным Правительством Ленина и его соратников в получении немецких денег на разложение русской армии, свержение демократического Временного Правительства и подготовки сепаратного мира с Германией.

29 сентября 1917 года новый германский министр иностранных дел фон Кюльман телеграфировал представителю министерства в главной ставке о подрывной немецкой работе внутри России: «Наш главный интерес — это усилить в России, насколько возможно, националистические и сепаратистские стремления и оказать сильную поддержку революционным элементам. Мы теперь заняты этой работой в полном согласии с политическим отделом генерального штаба в Берлине (капитан фон Гильзен). Наша совместная работа дала осязательные результаты. Без нашей **бесперывной поддержки большевистское движение никогда не достигло бы такого размера, которое оно сейчас имеет.** Все говорит за то, что движение это будет расти».

Авторы книги «Купец революции», на основе документов германского министерства иностранных дел, пишут: — «Деньги, ассигнованные германским правительством на поддержку большевистской пропаганды и агитации в России, передавались заграничному бюро ЦК большевистской партии в Стокгольме германским посольством в Стокгольме... Единственное лицо, которое знало всю эту историю, был фон Берген, заведывавший в политическом отделе министерства иностранных дел подрывной работой в России».

3 декабря, через месяц после большевистского переворота 1917 года, германский министр иностранных дел фон Кюльман сообщал представителю министерства при главной ставке: — «Лишь тогда, когда большевики начали получать от нас постоянный приток фондов через разные каналы и под различными ярлыками, они стали в состоянии поставить на ноги их

главный орган «Правду», вести энергичную пропаганду и значительно расширить первоначально узкий базис своей партии. Большевики теперь пришли к власти. Как долго — они ее удержат — невозможно предвидеть».

Из опубликованных германских документов видно, что и после прихода Ленина к власти Германия потратила десятки, а может быть и сотни миллионов марок на то, чтобы не допустить падения большевистской власти. Авторы книги «Купец революции» пишут: — «9 ноября германское казначейство ассигновало новые пятнадцать миллионов марок для политических надобностей в России. Фон Берген в министерстве иностранных дел знал, что большевистскому правительству придется бороться 'с большими финансовыми затруднениями' и поэтому желательно снабжать их деньгами. По этой же причине немедленно после большевистского переворота в Петрограде, в немецкое посольство в Стокгольме из Берлина были переведены еще два миллиона марок».

Но после того, как большевики уже крепко захватили государственную власть, они, естественно, больше не нуждались в посредничестве Парвуса, как не нуждались уже в этом и немцы. Обе стороны, германское правительство и лидеры большевиков, могли вести переговоры через своих официальных представителей. Но еще 14 ноября 1917 года, то-есть, через неделю после большевистского переворота в Петрограде, когда Парвус был в Вене, он получил телеграмму от членов заграничного бюро ЦК большевистской партии в Стокгольме — Радека и Ганецкого, чтобы он немедленно вернулся в Стокгольм. Парвус вернулся в Стокгольм 17 ноября и в тот же день встретился с Радеком, Ганецким и Воровским. Авторы книги «Купец революции» пишут: —

«Парвус заявил, что он хочет иметь частную беседу с Радеком. К удивлению Радека, Парвус предложил свои услуги советскому правительству и выразил желание просить у Ленина разрешения вернуться в Россию. Ему хорошо известно, сказал Парвус, что в партийных кругах России относятся подозрительно к его военной политике. Поэтому он готов защищать свою политику перед пролетарским судом и готов подчиниться решению такого суда. Парвус просил Радека передать лично Ленину его просьбу и немедленно известить его о решении Ленина».

По словам самого Радека, обращение Парвуса произвело на него глубокое впечатление, и он немедленно отправился в Петроград. По дороге он встретился с Ганецким. Когда они 18 ноября достигли финляндской границы, они оттуда уже послали телеграмму Ленину: «Мы едем экстренным поездом в Петроград. Имеем очень важное поручение. Просим немедленно совещания». К 17 декабря Радек вернулся в Стокгольм. Согласно воспоминаниям Радека, ответ Ленина был не только большим разочарованием для Парвуса, но и глубоко оскорбительным. Радек сообщил Парвусу, что большевистский лидер не может разрешить ему вернуться в Россию и что, по выражению Ленина, «дело революции не должно быть запятнано грязными руками». Политические планы Парвуса окончательно рухнули.

Так Ленин на финише обошел Парвуса, своего партнера по получению десятков миллионов золотых марок от правительства Вильгельма II-го на устройство октябрьского переворота. После захвата власти Лениным, Парвус стал антибольшевиком. Когда вспыхнула германская революция, Парвус уехал в Швейцарию. Позднее он вернулся в Германию.

12-го декабря 1924 года Парвус умер от сердечного приступа, пережив Ленина всего на десять месяцев.

*Д. Шуб*

# БИБЛИОГРАФИЯ

## ЮЛИАН ТУВИМ ПО-РУССКИ

В Москве в 1965 году в русском переводе вышел однотомник стихов знаменитого польского поэта Юлиана Тувима (1894-1953).<sup>1</sup> Этот сборник — попытка уплатить хотя бы часть того долга, который обязывал русскую литературу по отношению к Тувиму, превосходящему, а иногда и непревзойденному переводчику многих лучших образцов русской поэзии и прозы на польский язык.<sup>2</sup> Сборник «Стихи» вызвал восторженную оценку рецензента «Литературной газеты», Константина Ваншенкина: — «Это все-таки чудо. Исчезает, растворяется то первоначальное, единственное — самый стих, самая строка, ее напряжение, ее трепет, оттенки ее интонации, то есть ее жизнь, и возникает вновь, уже на другом языке, в другой жизни, и волнует нас, когда мы вдруг ощущаем реальность ее нового облика, естественность ее дыхания».

Эта оценка избавляет нас от необходимости говорить о тех переводах, которые подходят под название «чуда», но мы не уверены, заметит ли читатель, что наряду с прекрасными переводами в сборнике немало не только неудачных, но даже искажающих облик замечательного польского поэта. Заметит ли он и тенденциозность, с какой составлен сборник?

Эта тенденциозность бросается в глаза не только по сравнению с однотомником стихов Тувима, вышедшим по-польски в 1947 г. в Варшаве, но даже по сравнению с другим сборником переводов из Тувима, опубликованным в Москве в 1946 г. под заглавием «Избранное». О «Стихах», куда вошли стихи Тувима из всех его сборников, начиная с первого «Подстерегаю Бога» (1918) и кончая последними, т. наз. «Новыми стихами» (1953), Ваншенкин пишет, что они имели целью «отразить путь художника в его развитии, изме-

---

<sup>1</sup> Юлиан Тувим. «Стихи», перевод с польского. Москва. Изд-во Художественной литературы. 1965.

<sup>2</sup> Среди мастерских переводов Тувима: «Слово о полку Игореве», «Горе от ума», «Медный всадник», том стихов Пушкина п. з. «Лютя Пушкина», «Кому на Руси жить хорошо», «Облако в штанах» и ряд стихов русских символистов.

нениях, поисках и противоречиях». Но удалось ли это? Не помешала ли этой задаче тенденциозность, которая поражает нас уже во вступительной статье Д. Самойлова. В ней к творчеству Тувима подбирается «социологический» ключ, плохо применимый к поэзии этого «певца всего стихийного, иррационального», к поэзии, «совершенно чуждой всякой социальной тематики».<sup>3</sup> Тувим представлен советскому читателю как «один из ярчайших поэтов мировой антифашистской борьбы», а высшей точкой расцвета поэзии Тувима Самойлов считает вторую мировую войну! Самойлов навязывает поэзии Тувима — не исключая и его довоенные стихи — политическое и социальное звучание, ничем, однако, не доказывая этого своего утверждения. Есть в статье и фактические ошибки, и попытки дезинформировать читателя. Год постановки «Шинели» Гоголя, инсценированной Тувимом, не 1924, как сообщает Самойлов, а 1934. Трудно согласиться с утверждением автора статьи, что «у Тувима никогда не было намерения кого-либо эпатировать» и что «ему чужд шумный футуризм...»<sup>4</sup> Когда Самойлов пишет, что Тувим «привез с собой начатый труд «Цветы Польши» и работая над поэмой ....меньше времени уделяя лирике», — он явно хочет затушевать тот факт, что вся первая часть поэмы была написана Тувимом в бытность его в Бразилии и в США, в 1940-44 г.г. и что она так и осталась незаконченной. Когда же она вышла в Польше отдельной книгой в 1949 г., то была встречена чрезвычайным энтузиазмом читателей, раскупивших в кратчайший срок 10.000 экземпляров и... молчанием или острой нападкой прессы, что, по всей вероятности, и помешало дальнейшей работе Тувима над ней. Лирических же стихов Тувим написал по «возвращении на Родину» в 1946 г. из Нью-Йорка чрезвычайно мало, вероятно потому, что не привык писать по заказу...

Такие фразы статьи, как, например, ...«бури, разрушившие основы довоенной Польши, создали Польшу новую и сделали Тувима ее поэтом» вряд ли смогут ввести в заблуждение даже читателя, мало знакомого с творчеством Тувима в целом. Конечно, есть у Тувима горсть «верноподданических» стихов, в которой — кое-что от прежнего Тувима, включая его старые поэтические приемы, только нет самой поэзии! Но именно этот раздел п. з. «Из новых стихов» наиболее полно представлен в московском однотомнике: из него переведено почти все: 10 стихов из 12-ти, исключая одно стихотворение, посвященное Сталину, которое звучит как пародия. На этих

<sup>3</sup> В. Вайнтрауб, «Литература независимой Польши». «Новый Журнал» кн. 32 1952.

<sup>4</sup> См. об этом чрезвычайно интересную статью проф. В. Вайнтрауба в юбилейном сборнике, посвященном проф. Д. И. Чижевскому.

стихах и переводах не стоило бы и останавливаться, так они несущественны и нехарактерны для творчества поэта, если бы именно в этом не проявилась тенденция переводчика (того же Д. Самойлова!) особенно резко.

Насколько полно представлено в сборнике «Стихи» поклонение Тувима «земным богам», — которое, да простит ему Аполлон! — настолько вовсе отсутствуют в одноименнике замечательные религиозные стихи польского поэта, среди которых есть подлинные шедевры религиозной лирики, не только польской. Сам Тувим придавал им большое значение, неизменно помещая на ключевых местах: в начале и в конце своих довоенных сборников. Лучшие из этих стихов вошли и в послевоенные издания, например, в упомянутую уже антологию 1947 г. Такие стихи как «Костел», «О растения дословные, цветы выразительные...» или «Христос» должны, я думаю, войти во все антологии польского поэта. Жаль, что среди философской лирики Тувима, частично попавшей в сборник, нет таких прекрасных ее образцов как «Закат», «Прохожий», «Агиография», «Елочка», «Лесное дело». И уже никак нельзя примириться с тем, что в сборник не вошла совершенно удивительная «Песенка умершего», уцелевшая от войн и революций, но не попавшая в отдел «Из уцелевших стихов». Однобоким подбором сборник явно обеднен для советского читателя.

В сборник «Стихи» не попали и «анти-социальные» стихи Тувима, в которых ярко проявилось его неприязненное отношение к толпе. Самые удачные из них были включены в одноименник на польском языке, вышедший в 1947 г. в Варшаве. Я имею в виду такие стихи как «Et arceo», «Wiec» (Митинг), чем-то напоминающий главу «Митинг» из первого издания «Петербурга» Белого, изъятую автором из издания 1922 г.<sup>5</sup>

Чем же руководились редакторы и составители сборника в своем выборе? Если отбросить критерий политический, они руководились вероятно еще «переводимостью» или «непереводимостью» данного произведения, что делал, кстати, и сам Тувим-переводчик.<sup>6</sup> Но к сожалению, особого пиетета к оригиналам знаменитого польского поэта, о любви к которому неоднократно говорит Самойлов в своей вступительной статье, в них не видно.

---

<sup>5</sup> У Тувима вообще была с Белым интересная творческая «переключка». См. мою статью «О 'Шинели' Тувима» в упомянутом уже сборнике в честь профессора Дмитрия Чижевского (Мюнхен. В. Финк Ферляг, 1966).

<sup>6</sup> См. интереснейшую статью Тувима о том, как он отказался от перевода «Руслана и Людмилы» из-за того, что не нашел эквивалента для слова «лукоморье»...

С одной стороны мы находим в сборнике — чтобы ограничиться только наиболее яркими и значительными примерами — превосходный перевод такого, казалось, бы, действительно, непереводаемого произведения Тувима, как его «словотворческая фантазия» «Зелень», построенная на игре «самовитым словом», на переходах звука в краску, а краски в звук, на тончайших переливах «звукосмысла». С другой же неприятно поражает перевод тоже чрезвычайно трудной апокалиптически-гротескной поэмы Тувима «Бал в опере», который никак нельзя признать удачным.

Перевод «Зелени», сделанный Леонидом Мартыновым, надо признать превосходным. Мартынов сумел выдержать тональность всей словотворческой поэмы (а в ней 169 строк!), ни разу не задохнувшись, не сфальшивив, хотя и разрешив себе различные «переводческие» и поэтические вольности. Он хорошо сохранил ритмический рисунок оригинала, его силлабическую и тоническую основу.

Разговор про зелень беспределен...  
Звуком возвеличивая зелень,  
Силой вдохновенья умножая,  
Буйного добьемся урожая.

Метафора переводчика «буйного добьемся урожая», которой он наградил автора оригинала и его русского читателя, выдержана в духе образов тувимовской поэзии и поэмы. Это показывает, что поэт-переводчик знает не только несколько стихов Тувима, а все его творчество и глубоко проник в его дух и своеобразие.

Мало видеть слово. Надо точно  
Знать какая есть у слова почва,  
Как росло оно и как крепчало,  
Как его звучало зазвучало,  
Чем должно набухнуть и налиться,  
Прежде чем в названье превратиться,  
В званье, в чмя или в кличку просто:  
Прелесть слова — в летописи роста. (стр. 254)

Мартынов воспроизводит по-русски не только «прозаическое содержание» оригинала, но и его поэтическую сущность. И у него — как в оригинале — «звук заключает союз с отзвуком» [слова Тувима, в моем переводе], звукопись, это, по Брюсову, «дыхание жизни» в стихе, передана, конечно, по-иному, но действительно, воспроизведена и образная ткань стиха, включая неологизмы, с которыми Мартынов блестяще справился на протяжении всей поэмы. Возьмем еще один пример, особенно потому, что это место из поэмы «Зелень» могло бы быть названо художественным кредо Тувима и послужить эпиграфом ко всему его творчеству, словотворчеству и «чудотворству».

Лыко в строку ты не ставь мне с бранью,  
 Что ломлюсь в подсловья мирозданья  
 К семенам, ключам, истокам чистым  
 В исступленьи Слововера истом  
 И в поля родного Словополя  
 С палочкой волшебною пришел я,  
 Чтобы зелени вернуть приволье  
 В польской речи, в нашем Словополье.

Здесь в Мартынове узнаешь поэта, который, вероятно, листает «словарей пленительные листья» с меньшей пылкостью, чем это делал Тувим и который не только владеет обоими языками, необходимыми для перевода, но знает и другие, например, литовский, оказавший Тувиму в поэме «Зелень» не одну услугу. Так, страсть Тувима к иностранным словам из разных языков, к фантастическим этимологиям, его блестящая игра звуковыми и колористическими ассоциациями, широта его поэтического дыхания — все это нашло в Мартынове, действительно, соперника. И у него стих, как писал Тувим в одной из своих статей — «плывет музыкально, поднимается, опадает, звучит, играет красками слов и скрытыми в них звуками, управляется своей мелодической логикой и неуловимыми (казалось бы), а в сущности математически точными (если анализировать уже готовое!) законами». Конечно, Мартынов позволил себе в некоторых местах довольно большие отступления от оригинала. Но главное, что сохранено единство стиля, дух и тон поэмы, сохранена и сущность тувимовской поэзии, порою трудно уловимая.

Тем более обидно, что за перевод другой поэмы Тувима, «Бал в опере»<sup>7</sup> взялся переводчик Самойлов, которому она оказалась явно не по силам. На примере этого перевода можно бы иллюстрировать все те «смертные грехи» переводчика, о которых написано уже немало книг. Мы найдем здесь и недостаточное знание языка оригинала, невнимательное отношение к слову, к его лексической и стилистической окраске, к его звуку и месту в оригинальном стихе. Нас поразит отсутствие слуха и вкуса, неумение передать единство тональности и стиля поэмы, и последовательное разрушение того, что проф. Роман Ингарден в одной из своих статей так хорошо назвал «индивидуальной подлинностью художественного произведения». Так, увлекаясь быстрыми ритмами поэмы, но то и дело выпадая из них, Самойлов перескакивает через все трудности, встречающиеся ему на пути, но перескакивает без малейшей грации, нередко падая в те ямы, которые поджидают слишком самоуверенного и бес-

<sup>7</sup> Эта поэма, написанная в 1936 г., печаталась в довоенной Польше лишь в отрывках и появилась целиком в 1946 г. в Варшаве, но без эпиграфа, взятого Тувимом из Апокалипсиса Иоанна Богослова.

церемонного переводчика. В поэме «Бал в опере», и в других своих переводах, Самойлов то разрушает, то вульгаризирует образы Тувима, последовательно «снижая» всюду и язык оригинала. Слово «смотрит» у Тувима Самойлов заменяет словом «плятится», «остроумие» Тувима оказывается «словоблудием» у Самойлова, вместо «лица» он пишет «морда», вместо «гулять» и «бродить» — «шляться», вместо «лежать» — «валяться» и т. д. и т. п. Все это вносит в лексику поэзии Тувима хаос, которого вовсе нет в оригинале. Получаются такие противостоительные словесные комбинации:

Тени *шлялись*, и в час этот поздний

Плыли средневековые звезды...

Самойлов нередко также «модернизирует» и даже «советизирует» тувимовский текст. В «Бале в опере» мы находим такие слова как «вобла», «затяжка», находим архаическое слово «крамола» вместо польского «недоля» (которое можно было бы сохранить по-русски). Тувимовский «некто», «кто-то», с «острой бородкой» превращается у Самойлова в «мужичину», который

встал в исподнем

Под стеною,

Бородищу расправляет

Пятернею...

Тенденциозность Самойлова, так явно выраженная в его вступительной статье и в некоторых его переводах, бросается в глаза особенно там, где его новыми переводами заменены старые и во всех отношениях лучшие переводы.

К счастью кроме многочисленных и почти всегда неудачных переводов Самойлова (их всего 53, т. е. почти четвертая часть сборника), в однотомнике «Стихи» есть много превосходных переводов настоящих поэтов и поэтов-переводчиков, таких как Анна Ахматова (15 переводов), Николай Асеев (4 перевода), Л. Мартынов (2), И. Сельвинский (3), Б. Слуцкий (7), Михаил Светлов (2), М. Зенкевич (4), Николай Чуковский (2), К. Симонов (2), М. Петровых (12), В. Левик (20), А. Штейнберг (16), М. Живов (14), и др. Некоторых из них, как Сельвинского и Светлова, Тувим переводил на польский. Особенно хочется отметить прекрасный перевод «Цыганской Библии» Тувима, мастерски сделанный Анной Ахматовой.

З. Юрьева

YEVGENY ZAMYATIN. *The Dragon. Fifteen Stories.* Translated and edited by Mirra Ginsburg. Random House, New York, 1967. 291 pp.

Лет пять тому назад по-английски вышла книга рассказов писателя почти неизвестного в Америке, но давно известного читателям

испанского языка: Хорхе Борхес. Сегодня он считается одним из выдающихся писателей нашего времени. Может быть, это случится и с Замятиным? Русским читателям он давно известен, но в хорошем переводе были только «Мы», «Пещера» и «Мамай» и те — в разных антологиях. Теперь, выпустив эту книгу, Мирра Гинсбург знакомит американцев с «новым» для них и оригинальным русским писателем.

В печати уже появились одобрительные рецензии об этой книге. Они прежде всего говорят о биографии и полемических заявлениях Замятина, о которых не надо сообщать читателям «Н. Ж.». Я же в этой рецензии коснусь только двух вопросов: хорош ли выбор произведений и каково качество перевода.

Книга содержит следующие рассказы, расположенные в хронологическом порядке: «Уездное», «Дракон», «Сподручница грешных», «Большим детям сказки» (есть две сказки: «Церковь Божия» и «Иваны»), «Север», «Пещера», «О том, как исцелен был инок Эразм», «Русь», «Рассказ о самом главном», «О чуде, происшедшем в Пепельную Среду», «Икс», «Слово принадлежит т. Чурьгину», «Наводнение» и «Лев». Таким образом, представлены рассказы с 1912 до 1935 г., т.-е. проза Замятина всех «периодов» — дореволюционного, революционного, заграничного. Но все-таки есть пробел: нет образца «английского» рассказа, который занимает важное место в творчестве писателя и который заинтересовал бы американских читателей («Островитяне» или «Ловец человеков»). Отсутствие «Мамая» тоже странно, особенно при включении безделушек вроде «Сказок» и «Льва». Но может быть это не недостаток, а дело предпочтения. В общем, выбор хороший, включены многие из лучших рассказов Замятина, в том числе и те, которые я бы назвал его «шедеврами»: «Дракон», «Пещера», «Рассказ о самом главном», «Икс».

Разумеется, Замятина читать не легко. Все у него проходит косвенно, словно отражено в зеркалах. Встречается в его рассказах не простое повествование, а множество отдельных картин. Показаны не люди, а характерные части человеческого тела. Слышны не разговоры, а отрывки речи, то, что он назвал «мысленным языком» (см. «Н. Ж.» № 77). И господствуют не сюжеты, а мотивы, образы, слова. В результате, рассказы сложны, статичны, даже однозвучны, — но прекрасны.

Как перевести такие рассказы? Переписать их плавными предложениями? Стараться «уловить русский дух», как делают некоторые переводчики? Конечно, нет. Как доказывает книга Гинсбург, есть двойной ответ. Как правило, надо переводить возможно буквально, для того, чтобы язык и образцы оказались такими же необыкновенными по-английски, как по-русски. Но тогда, когда речь идет о какой-нибудь игре слов, надо «создать», придумать эквивалент. В обоих случаях это хорошо удается Гинсбург.

Приведу в пример хотя бы отрывок из «Севера»: «За становищем, где дороги расходятся вправо и влево, на самом заулочьи — развалюшка-часовня; возле часовни — землянка, в землянке — старец Иван Романыч; может сто годов ему, может — двести».

В переводе Гинсбург сохраняются и буквальный смысл и интонация:

“Behind the village, where the road divides to the right and the left, at the very fork, there is a tumbledown chapel. Near the chapel there is an earthen hut, and in the hut — the ancient hermit Ivan Romanych; he may be a hundred years old, or two hundred.”

Перевод второго типа («создание») касается больше всего «Уездного», рассказа битком набитого каламбурами и остроумными поворотами речи. Например: «Семен-то Семеныч, Моргунов? У-у, дока, язва! Этот, брат, дойдет. Без мыла влезет и вылезет. Ты гляди, гляди-ка, подмаргивает-то как, а?» Здесь Гинсбург находит ловкий перевод:

“Semyon Semyonich? Blinkin? O-ho, there’s a fox for you, a slick one — slippery as an eel. Just look at him, just look at him blinking away — eh?”

В связи с этим интересно отметить как переводчик употребляет английские междометия. Вот некоторые примеры: Пре-э! Вот что! (Ah, that’s it!), ам! (gulp!), тук! (bump!), и-эх! (eh-hey!), бр-рзг! (cr-rack!), бульк (ploр), фиинеаоу (whee-a-ow).

Гинсбург переводит превосходно. Американцы, читающие по-русски, конечно, предпочтут Замятина в оригинале, но для несчастливцев, не знающих русского языка, эта книга — приятный подарок.

Принстонский ун-т.

Г. Керн

О DOSTOEVSKOM: STATI P. M. Bitsilli, V. L. Komarovich, Ju. Tynianov, S. I. Gessen. (Slavic Reprint IV). Edited by D. Fanger. Brown University. 1966.

По словам редактора, эта серия должна ознакомить студентов, изучающих русскую литературу с теми ценными материалами, которых они не найдут в широко известных сборниках. Это собрание статей о Достоевском может служить дополнением к таким сборникам, как работа Рене Веллека, опубликованная Иельским университетом. Подобно Веллеку редактор Д. Фангер дает обзор разнообразия подходов к изучению творчества Достоевского — от «метафизического», религиозного подхода С. Гессена до формалистического — Ю. Тынянова. Разница методов и отношения к Достоевскому всех этих авторов сразу ясна, хотя бы на примере определения красоты. Так у Тынянова красота это «игра» приемов, у Бицилли это то, что выразительно, у Гессена, это — образ божественного добра.

К счастью, отсутствует фрейдистский подход, который так популярен в Америке. В одной, например, студенческой книжке, из тех, что служат пособием для подготовки к экзаменам, сказано: «Читатель найдет, что биографы Достоевского обходят самое существенное, а именно, что отец Достоевского был заколот вилами своими крепостными» (!) Автор явно хочет истолковать это событие в жизни Достоевского в свете эдипова комплекса (Достоевский «убил» своего отца, как братья «убили» Ф. П. Карамазова). Сам Фрейд использовал эту *догму* (как ее называет Юнг) в своей статье о Достоевском, перепечатанной Р. Веллеком.

Отчетный сборник Д. Фангера представляется мне очень полезным, ибо в нем многообразие гения Достоевского освещается с разных сторон, при чем, в каждой есть своя правда.

Подход Ю. Тынянова в его статье «Достоевский и Гоголь» «чисто литературный». Во второй части этой статьи о Фоме Опискине и «Переписке с друзьями» тексты говорят сами за себя и только сопровождаются комментариями. Тынянов доказывает, что Фома Опискин — это пародия на Гоголя. «Фому не совсем разглядели. Он не только плут, не только Тартюф... но 'это человек непрактический... поэт' по выражению Мизинчикова». Тынянов умело сопоставляет тексты — оригинал Гоголя и пародию Достоевского. Он утверждает, что «суть пародий — в механизации». Правда, иногда он механически трактует пародию. Так Гоголь говорит: «Не смущайтесь мерзостями... Для меня мерзости не в диковинку: я сам довольно мерзок!» Фома же кричит: «Я на то послан самим Богом, чтоб изобличить весь мир в его пакостях». Тынянов хочет показать, что и тот и другой говорят о «мерзостях и пакостях». Значит, «механически» говоря, Достоевский в Фоме пародирует Гоголя. Счетно-вычислительное устройство решило бы: «у одного мерзости и у другого мерзости, у одного пакости и у другого пакости». Но по правде говоря, я думаю, что «безвкусице» Гоголя здесь совсем иного порядка, чем гнусность Фомы. Совпадение только в словах, но не по существу. Здесь Фома лицемер, а Гоголь исповедник-самоистязатель. Так, Тынянов мог бы прибавить, механизация обедняет пародию, упрощает ее. Но суть его статьи это анализ «сложностей», оттенков, контрастов. Его разбор текста имеет большую ценность и наблюдения Тынянова помогают лучше понять, как характер Фомы так и словесное мастерство Гоголя и Достоевского.

Совершенно иной подход в статье С. Гессена «Трагедия добра в 'Братьях Карамазовых'». Гессен следует религиозно-философской традиции Бердяева, Льва Шестова, отца Василия Зеньковского. В своем предисловии Д. Фангер предостерегает от такого подхода. Не совсем понятно, почему? Остерегаться нужно догматизма, а не то-

чек зрения. Сам Достоевский мыслил в основном в религиозных категориях и Гессену совсем не нужно «крестить» Достоевского.

Религия в «Братьях Карамазовых» понимается Гессеном в первоначальном значении этого слова. *Religio* — это связь. Так переживает религию Алеша. «Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его...» И разрыв этих связей — это не безудержная *страсть* Федора Павловича («Неизвестно даже ‘носит ли Дух Божий вверху этой силы’?»), а *оторванность* Смердякова. В нем «отсутствует все то, что свойственно жизни как таковой: он никого не любит, у него нет ни друзей во вне, ни страстей внутри». Смердяков пародия на Ивана и, как пишет Гессен, — на Ницше. Путь последнего столь уединен, «что ему тесны не только узы всеобщего закона, но вообще какие бы то ни было связи...»

При чтении статьи Гессена поражаешься «богатым содержанием этической системы Достоевского». Этика у него *интересна* (или как принято теперь говорить «проблематична»). Он умел, как говорит Г. П. Федотов «докопаться в каждом нравственном вопросе до метафизического дна». Здесь стоит заметить, что если нет этической проблематики, то нет и никаких проблем. Всякая художественная структура, всякая форма создается нравственным усилием и напряжением. Т. н. критики искусства, при исследовании формы, должны об этой связи формы с породившим ее нравственным чувством помнить. Проблема «освобождения от пуританизма, от викторианства» тогда ставится иначе. Прав Гоголь что «ум стоит без движения... когда не возвышаются нравственные силы».

Сочетание религиозно-этического подхода Гессена и формалистической трактовки Тынянова можно увидеть в глубоко убедительной работе П. М. Бицилли «О внутренней форме в творчестве Достоевского». О Бицилли можно сказать, что он вдохновенный критик, вдохновенный гуманист. Его внимание останавливается сперва на словесной ткани произведений Достоевского, на том, как он употребляет уменьшительные, «лексемы», как «даже» и «впрочем». Бицилли объясняет эту манеру «диалектичностью мировосприятия и мышления Достоевского». Дальше, он продолжает: «Что до *несколько, некоторый, довольно, словно, как будто*, то все эти лексемы служат в качестве средства выражений колебания говорящего... сознания невозможности найти исчерпывающую форму выражения всей сложности и внутренней противоречивости той или иной данности — в особенности же человеческого характера...»

Любопытна стилистика самого Бицилли, который часто пользуется словом «выражение». Для него все детали «выражают» основную тему «полифонического» гения Достоевского, тему «пассакальи» можно было бы сказать... «В каждой его вещи потенциально заложены все остальные». Проблемы его творчества общечеловечны.

Основная идея Достоевского — это содружество, сотрудничество, *связь*. «Его преследовала идея совиновности, ответственности каждого за царящее в мире зло».

Бицилли сравнивает Достоевского с Данте и называет его романы «мистериями». Он (как и Гессен) подчеркивает близость Достоевского к западному средневековью (и даже к Возрождению — к Николаю Кузанскому, который тоже «диалектичен»,) и развивает ипполитовскую (и кузанскую) «крайности сходятся». Мне думается, что из всех критиков сборника, его подход самый всеобъемлющий, гуманистический и более всего соответствует широте гения Достоевского. Чтобы понять Бицилли нужно помнить, что он интересовался общественными пробелами, «общим делом». В «Новом Граде» (1932 г.) он писал: «главная проблема нашего времени именно эта: восстановить органическое строение общества так, чтобы каждый член его чувствовал и сознавал свою *моральную* связь с целым».

Бицилли и другие авторы этого интересного сборника обогащают нас своим опытом. Они учат, а не только профессорствуют. Их произведения — это плод долгого размышления, а не рассудочной суеты. У них есть тот дар сосредоточенного внимания, который, при соблюдении всех правил литературоведческой техники, создает ценности и умеет их находить.

*А. Небольсин*

МИХАИЛ БУЛГАКОВ. ДРАМЫ И КОМЕДИИ. Изд-во «Искусство». Москва. 1965.

Михаил Булгаков был не только талантливым прозаиком, но и талантливым драматургом. Это редкое качество русского писателя. Булгаков хорошо знал сцену, остро чувствовал театр. Большинство его пьес сценичны, артистичны, в них много материала для актера. В отчетной книге семь пьес: «Дни Турбиных», «Бег», «Кабала святош», «Полоумный Журден», «Последние дни», «Иван Васильевич», и «Дон Кихот». Не все они равной художественной высоты. Но прежде чем говорить о них, скажу о том чувстве, которое испытываешь читая эту книгу.

Булгаков был одним из очень немногих писателей в СССР, которые несмотря ни на что (даже в сталинские страшные годы) пытались отстоять свободу своего творчества (таких писателей можно перечесать по пальцам). Это ему редко удавалось, а когда удавалось, то пьесы его не попадали на сцену. Читая эти пьесы чувствуешь, что по тексту многих из них прошелся жирный карандаш цензора, во многих местах чувствуешь, что писатель говорит с зажатым ртом и не то, что хочет. В этом смысле, это — книга трагическая. Тупая

«ленинская» партцензура коверкала произведения Булгакова. Это особенно чувствуется в «Днях Турбиных» и в «Беге», пьесах с политическим содержанием, изображающих белых. Прогрелевшая когда-то в МХТ постановка «Дней Турбиных» — испытания временем, увы, не выдержала. Это как раз наименее сценичная из пьес Булгакова, в ней мало театра, легкости, игры, в ней чувствуешь переделку из романа и искромсанность цензурой. Кстати, роман «Белая Гвардия» опубликован только недавно, в 20-х годах были напечатаны отрывки в журнале «Россия». О пьесе «Бег» даже не хочется говорить, до того в ней нет настоящего Булгакова. Эту пьесу цензура свела до грубой политической агитки о «белобандитах», которая в свое время была нужна власти. Сейчас «Бег» читать трудно, несмотря на то, что и в нем есть кое-какие «искры» драматургического таланта Булгакова.

Остальные пять пьес — в смысле театральном — гораздо выше. Но вероятно именно поэтому они и не удержались на советской сцене, а некоторые так и не увидели света рампы, хоть и готовились к постановке. «Кабалу святош» (название, вероятно, тоже придумано цензурой, у Булгакова пьеса называется «Мольер») в 1932 году принял к постановке МХТ. Спектакль ставил Н. Горчаков, который после войны остался на Западе, и конечно, мог бы многое рассказать о трудности этой постановки, да и о постановках других булгаковских пьес. Во всяком случае в приложении к книге есть письмо Булгакова к Горчакову: «получив сегодня выписку из протокола репетиций «Мольера» от 17 апр. с. г. и ознакомившись с ней, сообщаю Вам, что ввиду полного разрушения моего художественного замысла и попыток вместо принятой театром моей пьесы сочинить другую, я категорически отказываюсь от переделок пьесы «Мольер», о чем и сообщаю одновременно Конст. Серг. (Станиславскому Р. Г.)». Конечно, кромсал пьесу не Горчаков, а «партцензура», ведь по замыслу Булгакова в «Мольере» проводилась явная параллель между («король-солнце») французским и («отец народов») советским «культом личности» и трагедией художника, во время этого «культа» живущего. Хоть и в изуродованном виде, но «Мольер» все-таки был дан, но отзывы печати были жестокие и после 7 представлений «Мольера» сняли. Вторая пьеса Булгакова о Мольере «Полоумный Журден», которую должен был ставить Ю. Завадский, так и не пошла.

«Последние дни» — пьеса о смерти Пушкина, построенная так, что самого Пушкина на сцене нет. Этой пьесе неожиданно повезло. Она была закончена Булгаковым в 1935 году и лежала в его письменном столе. Но вдруг во время войны, в 1943 году, через 3 года после смерти автора, ее поставил МХТ и оказывается потому, что в «великую отечественную войну спектакль, посвященный Пушкину, вызывал глубокие патриотические чувства». Партии всё годится, пар-

## БИБЛИОГРАФИЯ

тия на всем наращивает «капитал». В войну спектакль прошел больше 150 раз.

Две другие пьесы Булгакова — «Иван Васильевич» и «Дон Кихот» — при всей своей разности, на мой взгляд, лучшие из всех. Я бы назвал их просто блестящими. По изумительно точному диалогу, по неожиданности оборота действия, по умной мысли, по прекрасным ролям для многих актеров, по сценичности. Но, увы, остроумная и острая комедия «Иван Васильевич», где два советских москвича улетают на фантастической машине во времена Иоанна Грозного, а Иоанн Грозный на этом же «устройстве» влетает в советскую московскую квартиру — так и не увидела свет ramпы, хоть премьера в Театре Сатиры и предполагалась еще в марте 1936 года. Однако, появление в «Правде» 9 марта 1936 г. редакционной статьи против спектакля «Мольер» повлекло за собой и запрещение «Ивана Васильевича». И до сих пор за 30 (!) лет, несмотря на все «оттепели» и «либерализмы» эта блестящая комедия Булгакова так и остается не поставленной. Времена меняются, но нравы всё те же.

Немногим лучше сложилась судьба прекрасной и тоже очень сценичной пьесы Булгакова «Дон Кихот». В ней — по знаменитому роману Сервантеса — все сделано с большим вкусом, тактом, мерой, умно. Замечательно выписан романтический образ рыцаря Ламанчского и образ Санчо Панса, их диалоги, все окружающие их персонажи. Пьеса была написана в 1938 г. и через три года поставлена в Ленинграде в Гос. Акад. Театре. Но в советском «воздухе» она, конечно, на сцене удержаться не могла, как бы режиссеры ни искажали ее в угоду партии. Чересчур уж «классово чужд» ленинцам и сталинцам бессмертный образ Сервантеса. «Он лишил меня самого драгоценного дара, которым награжден человек — он лишил меня свободы! На свете много зла, Санчо, но хуже плена нет зла...», говорит у Булгакова Дон Кихот. — «Да, день кончается, Санчо, это ясно. Мне страшно оттого, что я встречаю мой закат совсем пустой и эту пустоту заполнить нечем...», шепчет умирающий Дон Кихот. Эти слова перед смертью мог бы произнести рано умерший, талантливый Булгаков (1891-1940), замученный, как художник, партдиктатурой. Всю свою жизнь в СССР Булгаков, как Дон Кихот, сражался с «мельницами», отстаивая свободу своего творчества. Только эти партийные «мельницы» были не дон-кихотские, и они-то его и доканали. Отчетная книга — свидетельство трагедии тонкого художника, затравленного тупостью «партруководства». В эту книгу не вошли известные комедии Булгакова — «Зойкина квартира» (1926) и «Багровый остров» (1928), в свое время подвергшиеся резкой партийной критике и снятые с репертуара — одна в театре им. Вахтангова, другая в Камерном. К книге дано предисловие Вениамина Каверина.

Оно написано как раз «в акурат», как раз «на грани дозволенного», будто даже «либерально», но по существу с большой оглядкой на живого цензора.

*Роман Гуль*

Н. ГУМИЛЕВ. *Собрание сочинений*. Том III, под редакцией професс. Г. Струве и Б. Филиппова. Подготовка текста и комментарии Г. Струве. Вступительная статья проф. В. Сечкарева. Изд-во книжного магазина В. Камкина. Вашингтон, 1966.

Издательство В. Камкина в Вашингтоне выпускает собрание сочинений Н. С. Гумилева в 4-х томах. Это — самое полное и наиболее обстоятельно комментированное из всех существующих изданий произведений Гумилева. Первые два тома вышли уже давно. Недавно вышел третий том, куда вошли: драматические произведения («Дон Жуан в Египте» «Актеон», «Игра», «Гондла», «Дитя Аллаха», «Отравленная туника») и стихи разных лет (дополнение к 2-му тому). Издание иллюстрировано наброском М. Ларионова «Н. С. Гумилев», портретом работы М. В. Фармаковского, на котором изображен Н. С. Гумилев в 1908 году в Париже, иллюстрацией Павла Кузнецова к пьесе Гумилева «Дитя Аллаха» и другими ценными иллюстрациями.

В этом томе драматические произведения Гумилева впервые собраны воедино. Надо отдать должное кропотливой работе, проделанной проф. Г. Струве по подготовке текстов. Им приводится список разночтений, даются обстоятельные комментарии к вошедшим в этот том произведениям. Комментарии эти производят, однако, двойственное впечатление: с одной стороны, они дают много подробностей и о работе Гумилева над этими произведениями и об оценке их критиками, но в то же время Г. Струве часто перегружает комментарии второстепенными подробностями, нередко упуская из виду главное.

До сих пор остается спорным вопрос о сценичности или несценичности таких драматических произведений Н. Гумилева, как «Дитя Аллаха» и «Гондла». Я думаю, что и «Дитя Аллаха» и «Гондла» — это своеобразная разновидность драматизации поэмы. В них Гумилев ближе всего к Лермонтову, стихотворную технику которого он преобразует и обновляет. Ведь и у Лермонтова есть поэмы, в которых описание перерастает в драматизованный диалог, а драматизованный диалог — это стержень и «Дитя Аллаха» и «Гондлы». Казалось бы, комментатор, да еще со специальным интересом к технике стихосложения, должен бы был придать особое значение проблемам переходной формы от поэмы к драматическому произведению. Но Г. Струве отвлекся от своей прямой задачи биографией Гафиза и переводами его произведений на русский язык. Правда, Гафиз — одно из действующих лиц «Дитя Аллаха». Но то, о чем так подробно рассказывает Г. Струве, имеет только косвенное и весьма

отдаленное отношение к данному произведению Н. Гумилева. Есть досадные пробелы и в комментарии к драматической поэме «Гондла». Приступая к своим обширным комментариям, Г. Струве пишет: «Впервые — в журнале Русская мысль» (1917, № 1, стр. 66-97), в том же номере, что и первая публикация «Возмездия» Александра Блока. Отдельное издание намечалось в 1918 г., но тогда не вышло, и появилось уже посмертно в Берлине (изд-во «Петрополис», 1936) — к 15-летию со дня гибели Гумилева».

Но почему Г. Струве не попытался уточнить, когда же Н. Гумилев работал над «Гондлой» и есть ли разрыв между временем написания этой поэмы и временем ее публикации? Дело в том, что в «Гондле» у Гумилева вырывается признание, что крушение наследственной монархии — роковая и неизбежная закономерность истории. Но это признание вырывается с горечью, и в этом крушении Гумилев видит источник тягчайших бедствий. Вот что говорит вождь из драматической поэмы «Гондла»:

Наступили тяжелые годы,  
Как утратили мы короля,  
И за призраком легкой свободы  
Погналась неразумно земля.

Тот же вождь говорит о «бесплодном шуме» народоправства и тщеславном идеализме кандидатов в правители, которые неспособны в тяжелые, грозные времена вести за собой народ. А Гондла, гонимый и теснимый норманнами, говорит:

Нет, я — звездный король и надзвездный.  
Что земле я? И что мне земля?  
Лебедям короли бесполезны,  
И не надо волкам короля.

(Лебеди у Гумилева — это кельты-христиане, а волки — норманны-язычники).

Вопрос о том, написана ли эта поэма до февральской революции или уже во время революции, остается невыясненным. А ведь это, казалось бы, — обязанность комментатора. Если эта поэма написана до февральской революции, то она выявляет в Гумилеве поэта-провидца.

В комментариях к «Гондле» Г. Струве дает пространные выдержки из воспоминаний Ю. Анненкова о том, как «Гондла» была поставлена в 1920 году в Ростове на Дону. Рассказывает и о том, как после смерти Гумилева «Гондлу» показали в Петрограде. Чем же объяснялся успех этой постановки? Напряженной трагедийностью «Гондлы» или тем, что зритель увидел в «Гондле» скрытую драматизацию недавних февральских событий? Я думаю, и тем и другим. Жаль, что Г. Струве обходит этот вопрос.

Интересно, что в свое время искусствовед Исаков, в докладе в Ленинградской аналитической мастерской, проводил параллель между «Гондлой» и «Фамира Кифаред» Иннокентия Анненского. Исаков имел в виду постановку «Фамиры Кифареда» в 1919 году на сцене московского Камерного театра, с объемными декорациями работы Александры Экстер. Исакова тогда интересовало, главным образом, декоративное оформление «Фамиры Кифареда» Александрой Экстер и декоративное оформление «Гондлы» художником Араповым. Исаков полагал, что Экстер и Арапов, так же, как и Павел Филонов, тут выявили некую тенденцию к «апокалиптическому реализму».

В пространственных комментариях к «Гондле» Г. Струве пишет: «Пользовался ли Гумилев какими-нибудь другими источниками, знакомился ли он с исландскими сагами и откуда он заимствовал имя героя, — остается неизвестным». Но почему Струве не попытался это выяснить? Может-быть Гумилев пользовался переводами или переработками этих саг? В частности, у известного английского писателя Райдера Хаггарда есть роман «Эрих Светлоокый». В нем есть некая общность с темой «Гондлы».

Наиболее подробно Г. Струве комментирует трагедию «Отравленная туника». Здесь рассказывает об истории текста (это — самая лучшая и самая деловая часть примечаний). Но вряд ли верно мнение Струве, что в «Отравленной тунике» Гумилев дал большую волю собственному воображению и не везде и не всегда соблюдал верность истории. В частности Струве сам признает, что в предисловии к «Неизданному Гумилеву» (издательство им. Чехова) он ошибся, когда писал о неисторичности Имра одного из персонажей «Отравленной туники». На эту ошибку внимал Струве обратил А. А. Васильев, ныне покойный известный византист, указав, что Имр, арабский полководец и поэт, — лицо историческое.

Согласимся, что в «Отравленной тунике», конечно, есть отступления от исторических источников и подчас существенные расхождения с ними. Но разве это — основание для того, чтобы оставлять открытым вопрос о том, остается ли Гумилев в «Отравленной тунике» верным духу византийской литературы, духу византийского искусства? Гумилев ведь пишет художественное произведение, а не труд по истории Византии. Несмотря на то, что в «Отравленной тунике» Гумилев допускает некоторые, а подчас и значительные, отступления от буквы византийской истории (на установление чего проф. Г. Струве так добросовестно потратил много времени), Гумилев остается верным духу византийской культуры. Так, для того, чтобы оценить образ, высказывания и мысли Трапезондского царя, надо обратить внимание на два важных обстоятельства: византийский император Юстиниан, один из персонажей «Отравленной туники», властвовал с 527 по 565 год, а несколькими десятилетиями ранее, с 491 по 518 год,

в Бейруте был дьяконом прославленный Роман Мелод, известный в православной Руси как «Роман Сладкопевец», вошедший в историю византийской литературы как создатель кондаков. В многосторонней деятельности императора Юстиниана был период, когда он сам (вместе с его придворными псалмопевцами) занимался писанием церковных гимнов. Академик А. С. Орлов, читая курс истории византийской литературы в Ленинградском университете, говорил, что художественное значение гимнов Юстиниана неизмеримо слабее гимнов Романа Мелода. Но дело в том, что Роман Сладкопевец воспевал необходимость отдавать кесарево — кесарю, а Божье — Богу; Юстиниан же хотел дипломатическим путем подчинить Божье — кесарю. В этом — существенное отличие церковных гимнов Юстиниана от гимнов Романа Сладкопевца. И Орлов говорил, что если в столице и в больших городах Византийской Империи с этой установкой Юстиниана одно время считались, то в провинциях, а особенно в провинциях отдаленных, тянулись к гимнам Романа Сладкопевца.

Какое это может иметь отношение к «Отравленной тунике»? Оказывается, прямое: Трапезондский царь в этой поэме является носителем духовных и нравственных идей Романа Сладкопевца. Хоть он и живет мечтой жениться на прелестной дочери Юстиниана — Зое (она Гумилевым вымышленна), он в силу особенностей своего характера ставит власть Бога выше власти кесаря. И в «Отравленной тунике» между Юстинианом и Трапезондским царем происходят как бы духовные поединки.

В конце концов, не так уж важно, удалось ли комментатору Гумилева найти прототип Трапезондского царя в каком-либо из правителей этой провинции или же нет; гораздо важнее, что создавая этот образ Николай Гумилев касался глубин духа византийской культуры.

Перечень просчетов комментатора можно было бы продолжать. Однако надо признать, что многое в своих комментариях проф. Г. Струве описывает с исключительной добросовестностью и знанием материала. К тому же мы имеем дело с тщательно выверенным текстом драматических произведений Гумилева.

Во вступительной статье проф. В. Сечкарева есть ценные и интересные наблюдения. Местами Сечкарев тактично и деликатно исправляет упущения проф. Г. Струве. Так, когда он говорит о легендах об Имре (в «Отравленной тунике» Имр — счастливый соперник Трапезондского царя), проф. В. Сечкарев осторожно намекает на необходимость изучения не только исторических, но и литературных византийских источников этого произведения. Тем не менее, от специалиста такого масштаба, как проф. В. Сечкарев, читатель хотел бы более глубокого анализа драматических произведений Гумилева.

*Вяч. Завалишин*

Wacław Lednicki. Pamiętniki, tom I. B. Swiderski, Londyn, 1963.

Чтение первого тома «Воспоминаний» профессора Вацлава Ледницкого дает читателю богатую духовную пищу. До сих пор мы имели удовольствие читать только его книги и статьи на литературные темы. Глубокая эрудиция, умение развивать главную мысль при довольно частых отступлениях, смелые мысли, возбуждающие иногда резкую реакцию в читателе, являются главными свойствами творчества В. Ледницкого, привлекающими к нему интерес. К таким его книгам принадлежат, особенно «Россия, Польша и Запад» и его интерпретация «Медного Всадника» Пушкина.

Те же качества находим мы и в первом томе «Воспоминаний». Здесь автор воссоздает картины прошлого, т. е. жизни в России конца 19 и начала 20 веков, и на этом фоне перед читателем развивается сага польской дворянской семьи.

В предисловии В. Ледницкий говорит почему он написал «Воспоминания»: «Для многих из нас жизнь является непрерывным течением потерь... Наша память способна обессмертить наши потери и создать мнимый мир, в котором живет во всей своей конкретности давно померкнувшая действительность». Поэтому «В борьбе с превратностями жизни одна лишь память составляет неоспоримую нашу собственность». О своем подходе к прошлому автор говорит: «Любить можно только то, что знаешь. Будущего никто не знает. Его любить нельзя».

Впервые В. Ледницкий начал писать свои воспоминания в конце 1939 года в Кракове во время жуткого периода немецкой оккупации и это было единственным духовным убежищем от действительности. Вторично автор вернулся к воспоминаниям уже в Америке в 1951-1961 годах. Первый том «Воспоминаний» вышел по-польски. Следующие тома (на польском и английском языках) должны выйти из печати в скором времени.

Первый том содержит почти 700 страниц и включает в себя период до 1910 года. «Родился я, — пишет автор, — в конце 19 века, и это дало мне привилегию смотреть на дореволюционную жизнь и радоваться ей... Я был свидетелем больших событий и лично знал многих из самых выдающихся представителей русского и польского общества». В приведенной цитате уже намечаются две главные линии воспоминаний: одна — счастливое детство и юность, жизнь обожаемых ребенком родителей, жизнь польского дворянства в имениях и в Москве, московская жизнь со своими традициями и обычаями; другая — судебная, политическая и общественная деятельность отца автора, Александра Робертовича Ледницкого, одного из известнейших адвокатов России, русско-польского деятеля и члена конституционно-демократической партии, от которой он был выбран в Первую Государственную Думу в 1906 году и впоследствии подписал

вместе с другими 169 депутатами известное Выборгское Воззвание.

В своем подходе к прошлому В. Ледницкий старается передать без всякой тенденции все виденное и пережитое. В своих воспоминаниях о русском обществе он подчеркивает и находит характерным то, что «без сомнения русские обладают чем-то, что притягивает и привязывает к себе людей, каким-то тайным ключом, отпирающим всякие замки». Среда, в которой вращался автор, оставила в нем особое впечатление о русской жизни: «Кому пришлось видеть дореволюционную русскую жизнь, тот мог убедиться что ей, в общем, чужда была прежде всего всякая мелочность...» Уже после революции В. Ледницкому не раз приходилось встречать иностранцев, живших в России, от которых он слышал о России и русских только восхищения. Эту привязанность к России автор объясняет тем, что Россия, благодаря своему историческому развитию, избежала скуки западной буржуазной жизни с ее мелочностью и самодовольством. Кроме того, в русской литературе начиная с Гоголя и кончая Чеховым, писатели всегда боролись с всякими проявлениями человеческой пошлости. Россия была все еще страной, где царила патриархальная жизнь и где было много неиспользованных богатств и возможностей. Поэтому все, кто только хотел и был способен, мог найти себе место в русском обществе. Единственным минусом России, по мнению автора, была ставка русской монархии на национализм (особенно под влиянием политики Победоносцева): «Русская империя не нашла принципиального разрешения национальной проблемы в широком масштабе. Национализм строителей России разлагал империю своей агрессивностью по отношению к нерусским элементам... Империя, по своей сущности, сверхнациональный государственный организм. Был в русском историческом развитии период, примерно времен Александра I-го, когда Россия могла стать сверхнациональной империей, где космополитический и международный С.-Петербург, с европеизированным монархом, играл бы роль исторического символа».

Но несмотря на эту официальную линию правительственных кругов среди русского общества все больше проявлялись либеральные тенденции и веяния. Одним из передовых явлений России было судопроизводство, которое благодаря реформам Александра II-го сумело отстоять свою независимость и выработать высококачественные моральные принципы. Такие имена как князь Урусов, Потехин, Плевако, Андреевский, Муромцев, Спасович, Винавер, Маклаков и А. Ледницкий были широко известны в дореволюционной России и сыграли большую роль в либерально-политическом развитии страны.

Своему отцу Александру Ледницкому автор уделяет самую большую часть воспоминаний первого тома. А. Ледницкий происходил из старинной польской, но уже обедневшей, семьи и поэтому ему приш-

лось завоевывать свое положение в жизни самому. Этому способствовало его чрезвычайное трудолюбие, энергия и, конечно, врожденный талант. Благодаря этим качествам молодой юрист стал вскоре одним из самых известных судебных защитников в России. Будучи замечательным оратором и человеком строгих принципов А. Ледницкий сумел достигнуть высокого положения в судебном мире и пользовался большой популярностью. На это указывает хотя бы тот факт, что в расцвете его карьеры в канцелярии А. Ледницкого работало 32 помощника, из них 7 присяжных поверенных и 25 стажер-юристов.

Создав себе имя и материально обеспечив семью, А. Ледницкий с 1903 года становится известным политическим и общественным деятелем. Будучи руссофилом и польским патриотом А. Ледницкий вел в либеральную Россию и, как его великий учитель Спасович, работал в России с мыслью о Польше, т. е. искал возможности сближения обоих народов и успешного урегулирования в будущем русско-польских отношений. Спасович, а потом Ледницкий, старались завоевывать симпатии русского общества к Польше и объясняли, что справедливое решение польского вопроса лежит в интересах самой России.

Много места в «Воспоминаниях» посвящено подробным описаниям юридической деятельности отца, его красноречию, его особому таланту защищать своих клиентов, и его русским друзьям — видным представителям русского культурного общества. Эта часть воспоминаний является интересным и ценным материалом для понимания механизма судоустройства и жизни представителей этого мира в дореволюционной России.

С воспоминаниями об отце связаны также и многие страницы, в которых говорится о личной жизни самого автора и его многочисленных родственников. Вацлав Ледницкий родился и воспитывался в Москве: сначала особняк в Мертвом Переулке (место рождения автора), потом дом на Собачьей Площадке, а под конец замечательный дом в Кривоникольском Переулке. Летние месяцы: имение отца Борек около Смоленска. Будучи замечательным рассказчиком и стилистом, В. Ледницкий воссоздает свои переживания молодости с большой тонкостью, чуткостью и пластичностью. В воображении читателя ярко встает московская жизнь: еженедельные появления полотеров и их ритмические движения, детские шалости, гувернантки; потом прогулки по московским улицам, занятия, посещение театров, первые встречи с женщинами, первые юношеские эстетические и литературные увлечения, как напр. Оскаром Уайльдом. Летняя жизнь в имении дала автору возможность познакомиться ближе с жизнью родственников, с окружающими русскими и польскими помещиками, с их бытом, нравами, интересами. Замечательное описание деревенской жизни и самих хозяев находим в главах «Вонлярово» и «Ново-

селье». Особенно Вонлярову, имению Вонлярлярских и его очаровательной молодой хозяйке Софье Александровне, автор посвящает много страниц, из которых мы узнаем не только о достопримечательностях этого необыкновенного поместья, но и о первой романтической любви автора к этой удивительной женщине. Красочное описание мира многочисленных родственников является как бы продолжением традиции дворянской жизни Соплицова из «Пана Тадеуша» Мицкевича.

Почти во всех отзывах о книге В. Ледницкого подчеркивается самая характерная черта «Воспоминаний», а именно то, что они являются как бы гимном в честь родителей и прошлого. Если к отцу чувствуется любовь, уважение и восхищение, то к матери, которой автор посвящает много места в третьей главе, чувствуется самая нежная любовь и преданность.

Нам думается, что «Воспоминания» В. Ледницкого — одно из лучших мемуарных произведений, вышедших в эмиграции и подробно говорящих о столь больном вопросе, как русско-польские отношения. Известный польский публицист Ю. Мерошевский в своей статье «К вопросу о польско-русских отношениях» («Культура», Париж, 1960) говорит об этом так: «Поляк, выступающий с предложением нормализации русско-польских отношений, рискует тем, что соотечественники объявят его изменником, а русские отнесутся к нему с величайшим недоверием». Несмотря на этот как бы парадокс, вызванный историческими взаимоотношениями обоих народов, «Воспоминания» В. Ледницкого, благодаря их исторической точности, представляют собой ценный мемуарный материал, где есть много близкого и дорогого как для русских так и для поляков.

Подчеркнем еще, что ценность «Воспоминаний» В. Ледницкого не только в сюжете, но и в художественном стиле повествования. Последовательность в изложении пережитого, простой и ясный язык, полнота в выражении мысли — все это делает «Воспоминания» интереснейшим и захватывающим чтением.

*Станфорд, Калифорния*

*Ирина Шведе*

ЮРИЙ ДЖАНУМОВ. СТИХИ. *Предисловие Г. Адамовича*. Изд. Товарищества зарубежных писателей. Мюнхен, 1966.

Стихи Юрия Джанумова редко появлялись в печати, любителям поэзии он почти не был известен. Посмертный его сборник, пишет Георгий Адамович в предисловии, открывает нам «человека душевно своеобразного, много пережившего и которому во всяком случае было что сказать». Думается, Адамович прав, хотя и нельзя не видеть, что душевное своеобразие Джанумова не воплотилось в каком-нибудь особенном, своем, неповторимом стиле: у его поэзии нет художественных качеств, которые принадлежали бы только ему. Это

однако не лишает ее ценности, не отменяет отдельных удач и значительности сборника в целом. Книга эта живет и как человеческий документ, и как отзвук «страшных лет России» и страшных лет мира, живет она и как собрание стихов, где многие строки до конца убеждают художественно. Правда, придирчивый критик найдет в этой книге строки, принадлежащие как будто не столько Джанумову, сколько — по своему стилю и духу — другим поэтам. К таким строкам относятся уже первые четыре:

Всего не высказать в четверостишьях,  
Всего не спеть ни лютям, ни смычкам.  
Страшнее бурь есть у души — затишья,  
И есть начала, равные концам.

Это как будто написано Анной Присмановой, явственно слышится присмановское «общее рассуждение», ее причудливое резонерство, с угловатой линией ассоциаций.

Есть у Джанумова стихи, напоминающие Бориса Поплавского. Таков довольно вялый пятистопный хорей с неравномерными строками, с рассказом, в прошедшем времени, о карнавале, балагане, о деревянных лебедях карусели и с сюрреалистическим образом палача, который, дружелюбно улыбаясь... но лучше приведем цитату:

Рядом дико грянул грохот трубный,  
Чад земли коснулся белых, нежных крыл,  
И палач с улыбкой дружелюбной  
Подошел и лебедей остановил.

Но дело, разумеется, не только в литературных реминисценциях. Неизмеримо существенней, что у Джанумова есть стихи по-настоящему живые, его личные и близко касающиеся всех нас. Таково, в особенности, одно стихотворение, с его замечательной концовкой:

Садись. Я рад. Отставь-ка в сторону цветы.  
Поговорим. — Да, я расстаться с домом  
Был вынужден уже давным-давно... А ты?

Как хорошо это сказано: «отставь-ка в сторону цветы».

Естественно, что Джанумов говорит об эмигрантских судьбах, но в основном он пишет об общечеловеческом. Адамович в предисловии правильно замечает, что у Джанумова «горечь, внушенная участью друзей и сверстников, побудила его взглянуть дальше, глубже, и спросить себя, не соответствует ли ей нечто метафизическое, ускользающее от нашего вмешательства и даже понимания». Это чувствуется, например, в строках:

Недружелюбные, как люди, дни  
Сменяют неприязненные ночи.

(Даже не мешает то, что трудно установить, где в этих двух строках подлежащее, а где прямое дополнение). Убеждает Джанумов и такими, например, строками:

Ночью улицы грустны и безнадежны,  
 Как стихи последних этих лет.  
 Неприязненно, неряшливо, небрежно  
 Фонари бросают грязный свет.  
 Ночью улицы ненужны и никчемны, —  
 Некуда уже идти по ним.

С большой силой написаны некоторые строки стихотворения «На полюсе», в особенности вот эти:

Товарищи, нам скоро быть врагами  
 При дележе последних сухарей.

Это, по-моему, забываемо.

*Игорь Чиннов*

**ALEXANDER STEININGER.** *Literatur und Politik in der Sowjetunion nach Stalins Tod.* Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1965. 236 p.

В этой продуманной и солидно аргументированной книге автор поставил перед собой две задачи: не только дать анализ современной советской литературы и политики в отношении этой литературы после смерти Сталина, но и показать на материале литературных произведений этого периода стремления и чаяния советских людей.

В предисловии автор сам указывает, что рассмотрение еще исторически не отстоявшегося периода, конечно, таит в себе для исследователя много трудностей, ибо из-за отсутствия исторической перспективы мелкие детали могут заслонить главное. Книга д-ра А. Штейнингера полна жизни и остроты. Автор, родившийся в Ленинграде и блестяще сочетающий знание русской культуры и языка с западным образованием и мировоззрением, стремится с максимальной объективностью представить сложную картину литературной жизни в СССР за последнее десятилетие. Я думаю, никто из интересующихся этим вопросом не сможет пройти мимо книги А. Штейнингера. Книга снабжена, построенным по хронологическому принципу и хорошо подобранным, библиографическим указателем работ, посвященных советской литературе и политике в отношении последней, выполненных за пределами «социалистического лагеря» и вышедших главным образом на английском и немецком языках, а также и на русском (Н. Анатольевой, И. Бушман, А. Гаева и др.).

Что касается советских материалов, то в центре внимания автора оказались книги, отражающие некоторые духовные сдвиги или касающиеся новых проблем советского общества, а также «толстые журналы» (Новый Мир, Октябрь, Звезда, Знамя, Москва, Нева, Юность и др.).

Книга разбита на главы, освещающие наиболее яркие события

разных периодов: 1) Положение к моменту смерти Сталина; 2) От смерти Сталина до XX съезда КПСС; 3) XX съезд КПСС и 1956-57 гг.; 4) Дальнейшее развитие до Третьего Съезда советских писателей; 5) Тенденции 1959-1961 годов; 6) Две основных проблемы: религиозность и профессиональная деятельность; 7) От XXII съезда КПСС до осени 1963 г.; 8) Заключение.

В пятой главе А. Штейнингер интересно рассказывает о таких подпольных студенческих изданиях, как «Фиговый листок», выходящий в Виленском университете, «Голубой бутон», появившийся в Ленинградском университете, «Свежие голоса» — нелегальный рукописный журнал студентов Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта, и «Ересь», издание, родившееся в стенах Ленинградского института библиотековедения. Подробно автор останавливается на журнале «Синтаксис» и «Феникс». А. Штейнингер подчеркивает, что, если художественная ценность произведений, помещенных в этих изданиях, остается весьма спорной, то само существование их указывает на отход представителей молодого поколения от набивших оскомину клише, на попытку вырваться из серости советских будней.

Одной из наиболее показательных черт советской литературы последнего десятилетия А. Штейнингер считает стремление к действительно реалистическому, правдивому изображению событий последней войны. К таким произведениям автор относит «Вторую ночь» Виктора Некрасова, рассказ Г. Бакланова «Мертвые срама не имут», его же повесть «Пядь земли» и др.

Стремление к правдивости характеризуется появлением в литературе таких ранее бывших под абсолютным запретом сюжетов, как советские лагеря и власовское движение. Появление последней темы в конце пятидесятых годов объясняется тем, что в советское общество влились бывшие власовцы, освобожденные из лагерей по амнистии или по отбытии срока и эта проблема оказалась актуальной. Правда, Штейнингер подчеркивает, что следуя партийной линии писатели писавшие о власовцах старались показать их тяжелую вину, одновременно всячески пытались рассеять впечатление, что существовало какое-либо массовое антикоммунистическое движение.

Одной из характерных черт литературы шестидесятых годов Штейнингер считает то, что в ней все большее место отводится частной жизни героев, тогда как раньше изображению чувств героя, не связанных со сферой его трудовой деятельности, уделялось крайне мало внимания. По мнению автора это соответствует изменению общего положения внутри страны. Штейнингер отмечает, что в советской литературе последних лет все чаще речь идет о несчастной любви, о неудачных браках, разводах, внебрачных связях. Не следует думать, говорит он, что явлений этих не было и прежде, но

уделение им внимания в художественных произведениях стало возможно только с изменением общей атмосферы в стране.

К комплексу «правдоискательства» А. Штейнингер относит и проблему религиозности. В частности он напоминает о знаменательном очерке В. Сапожниковой «На Люнде», где описывается ежегодное паломничество горожан, среди них инженеров, офицеров, директоров предприятий и т. д., к «светлому озеру», на дне которого, якобы, стоит град Китеж, и где прямо говорится, что люди приезжают сюда за сотни верст, чтоб провести ночь в разговорах, спорах, в поисках духовной чистоты.

В разбираемой книге интересны страницы, посвященные автором *очерку*, ставшему теперь чуть ли не наиболее характерной формой советской литературы.

В своем «Заключении» А. Штейнингер подчеркивает, что в последнее время советская литература обогатилась многими талантливыми произведениями. Уменьшение террора повело к некоторому раскрепощению духа. Миф о непогрешимости партии развеивается и партия теряет свою абсолютную монополию в выражении общественного мнения. В этом немалую роль сыграла, конечно, десталинизация, показавшая всю лживость диктатуры.

А. Штейнингер считает, что сталинские методы контроля и давления на массы уже не могут быть полностью применены к населению, т. к. десталинизация дала толчок к необратимым процессам. Однако еще нельзя сказать, что идеи и стремления молодежи приняли какую-то четкую форму.

А. Штейнингер указывает, что советская литература наших дней стала гораздо более многоплановой и сложной и, наряду со специфически-советскими чертами, она характеризуется и чертами общечеловеческими.

Среди советских писателей все больше сомневающихся и ищущих, особенно среди молодых. Если говорить о художественной прозе, то, по мнению Штейнингера, в ней царит еще реализм, тогда как советская поэзия часто бывает и символична. Все чаще подчеркивается самобытность человеческой личности. Наиболее важной чертой советской литературы последнего периода А. Штейнингер считает поиски новой правды и новых идеалов *для всего народа*, а не для отдельных групп.

Отметим, что разбираемая книга охватывает только одно десятилетие, до 1963 года включительно. Но многое подмеченное автором еще ярче выступает в произведениях, опубликованных в последующие годы. В целом книга А. Штейнингера является ценной и интересной для каждого, интересующегося судьбами советской литературы.

*Татьяна Фесенко*

С. ШВАРЦ. *Евреи в Советском Союзе с начала второй Мировой войны (1939-1965)*. Изд. Америк. Еврейского Рабочего Комитета. Нью-Йорк, 1966.

Читателям «Нового Журнала» едва ли нужно представлять автора отчетной книги. С. М. Шварц известен как автор многих работ на разнообразные темы не только в эмигрантской печати, но и в иностранной. Его книги и статьи по вопросам труда, социальной политики, экономики, профессиональных союзов и др. давно уже стали «обязательным чтением» для каждого, кто изучает эти вопросы. В последние годы, С. М. отдал много сил изучению одного из трудных вопросов советской действительности, а именно, вопросу о положении евреев в Советском Союзе; трудному потому, что советская печать эту проблему или не освещает вовсе, или освещает не объективно.

С. М. Шварц обладает не только знанием предмета его повествования, но и всех других сторон жизни в Советском Союзе. Положение евреев в Советском Союзе он рассматривает (и в этом он выгодно отличается от других авторов) как бы на фоне или в связи с общей советской жизнью.

Снабженная кратким предисловием, в котором автор напоминает основные этапы развития антисемитизма в СССР, книга, в своей первой части описывает положение евреев во время войны, а во второй — разные аспекты еврейской проблемы, как она сложилась в послевоенный период. Мне кажется, что послесталинский период должен быть выделен в отдельную «третью» часть, ибо он, если не «принципиально», то фактически сильно отличается от сталинского. Трудно также согласиться с утверждением автора, что «с середины тридцатых годов» (антисемитизм в СССР) «резко пошел на убыль (и) утратил характер массового явления». Внешне это, может быть, было так. На самом же деле, как С. М. и сам пишет ниже, именно во второй половине тридцатых годов, начинается «пробуждение нового антисемитизма, нового по той социальной среде, в которой он возник, нового и по своим формам». Это был, — пишет автор, — «ползучий, сначала, может быть, только полусознанный антисемитизм верхнего слоя советской бюрократии, избегавший открытых проявлений и в основном выражавшийся в оттеснении евреев на задний план во всех сферах советской жизни».

На этом «новом» антисемитизме следует остановиться подробнее, ибо он тесно связан с сущностью и психологией правящего слоя. Этот антисемитизм, в большой степени явился результатом больших чисток, уничтожения оппозиций, коллективизации, индустриализации и восхождения «нового класса», который, именно вследствие этой «второй революции», сумел оттеснить старую элиту (преимущественно

но, из старой интеллигенции и евреев) и занять командные высоты. Эта генеалогия «нового» антисемитизма объясняет присущую ему стыдливость и лицемерие. Формально «новый класс» и его руководители продолжают оставаться «интернационалистами» и, как таковые, антисемитизма не приемлют. Фактически же (книга такими примерами изобилует) Хрущев, этот весьма характерный представитель нового класса, в частных беседах, и даже перед иностранцами, не стеснялся говорить, что «на нашей Украине нам не нужны евреи» и мы «на Украине», где «евреи в прошлом не мало грехов совершили против украинского народа... не заинтересованы в том, чтобы украинский народ толковал возвращение советской власти, как возвращение евреев». Высказывания Хрущева характерны для руководящих кадров режима. Фраза — «Мы создали новые кадры и новую интеллигенцию» — была одним из лейтмотивов Хрущева, когда вопрос касался антисемитизма. Как указывает С. М. Шварц, эти «убеждения», не оставаясь на одном только эмоциональном уровне, конкретизировались в секретных инструкциях, запрещающих принимать евреев на ответственные должности и таких мерах, как ограничение приема евреев в высшие школы. Боюсь, что С. М. Шварц не совсем прав, когда пишет, что антиеврейская советская политика не имеет «достаточного рационального основания» и что «в основном объяснять эту политику приходится инерцией (подчеркнуто мною) скрытого антисемитизма». Едва ли это так или только так. Эти люди стремятся сохранить то, чего они добились борьбой и не всегда с чистой совестью. В этой борьбе отстранение евреев играло не последнюю роль.

Самые жуткие главы книги посвящены, разумеется, периоду войны, оккупации и истреблению евреев. Автор указывает, что предшествовавший войне германо-советский пакт и вытекавшая отсюда политика дружбы и замалчивание звериной политики гитлеровской Германии, способствовали истреблению евреев. Советские евреи были плохо осведомлены о действительном положении вещей и потому, во многих случаях, вместо того, чтобы бежать на Восток, оставались на местах. Потом, когда Украина, Белоруссия, балтийские страны и части РСФСР были заняты немецкими войсками, советская пропаганда пыталась скрыть то, что с евреями происходило в действительности. Теперь уже советская власть опасалась, что правда будет истолкована не только как сочувствие евреям, но как подтверждение, что советы ведут войну ради евреев.

Как же в эти годы вело себя население в оккупированных немцами областях? Автор подвергает анализу разные свидетельства и в общем приходит к выводу, что если, по сравнению с Зап. Украиной или Литвой, советское население менее активно помогало немцам, то, с другой стороны, и случаи спасения евреев были, по сравнению с Польшей и даже Зап. Украиной, гораздо более редкими. В этом смы-

сле даже нельзя назвать какое-либо имя, которое, как например, известный западно-украинский митрополит Шептицкий не только открыто протестовал против массовых убийств евреев, но и активно занимался спасением еврейских детей.

Чем же объясняется пассивность, равнодушие советского населения? Автор «гипотетически» полагает, что объяснение этой пассивности следует искать «в привычке советских людей подчиняться власти, в их привычке молчать, наблюдать акты насилия, подавлять в себе проявления естественной реакции на насилие». Может быть, однако, тут следует поставить и другие вопросы.

Известно, что в Польше и в оккупированной Зап. Европе, истребление евреев происходило этапами; в этих странах к «акциям» истребления привлекались, разумеется, помимо их воли и сами евреи; причем, немцы прибегали к разным приемам, чтобы обмануть и евреев и местное нееврейское население. Так называемые «юденраты», состоявшие часто из еврейских общественных деятелей, готовили списки отправляемых в лагеря и «на работу» в Польшу. Мало кто знал тогда, что этих людей посылают в газовые камеры. Евреев не уничтожали в массовом порядке в городах, для уничтожения их вывозили в изолированные места. Гитлер, повидимому, боялся не столько сопротивления безоружных и замученных евреев, сколько возмущения и сопротивления **нееврейской общественности** не только во Франции, Голландии, Бельгии, но даже в Польше. В Советском же Союзе истребление евреев было произведено сразу, без промежуточных стадий, подготовки, «юденратов», а на виду у всех, например, на окраине миллионного города Киева, в известном Бабьем Яру. Почему? Методические и по своему «дальновидные» немцы ничего не делали спроста. Из донесений их специалистов по психологической войне, безошибочно явствует, что никакой «общественности» в советских оккупированных территориях немцы не находили и в виду отсутствия таковой, они реакции «атомизированных» людей не боялись... Над этим следует задуматься.

Равнодушие и пассивность населения проявляется вновь, когда российское еврейство подвергается новому нападению, на этот раз уже со стороны «отечественной» власти. Полный разгром еврейской печати, учреждений, расстрел всех видных писателей и деятелей, так наз. Еврейского Антифашистского Комитета, ждановщина, борьба с безродными космополитами, кампания против Джойнта и сионизма, который приравнивается к... гитлеризму, и наконец, «дело врачей»...

В те страшные месяцы «Крокодил», совсем не сатирически, а скорее погромно, писал о «сионском кагале», а «Правда» рассказывала историю о «проходимце» Борисе Янкелевиче Каждане... Ту жуткую для евреев зиму 1952/3 года автор (под псевдонимом Алмони), в ряде статей, присланных из Советского Союза, так описывал в тель-

авивском «Даваре»: — «Конец близок. Они отправят нас в ссылку, будут мучить нас, устраивать погромы. На улице чувствуешь ненависть и презрение со стороны народа. Женщины в общих кухнях делают жизнь своих еврейских соседей ужасной. Дети участвуют в этих проявлениях ненависти. Яд антисемитизма проникает все глубже. Газеты напоминают антисемитские листки царского времени».

О намечающихся антиеврейских мероприятиях правительства по Москве ходили тогда самые страшные слухи. Много позже в лондонский «Таймс» проникли сообщения, что накануне того дня, в марте 1953 года, когда со Сталиным случился удар, он сообщил на совещании советских вождей о своем плане перевести всех советских евреев в новую «черту оседлости» в северной части Советского Союза.

При Хрущеве, которого, несмотря на его еврейскую невестку и полуеврейского внука, нетрудно было уличить в антисемитизме (чего стоит только один его выкрик на заседании Политбюро польской компартии: «У вас слишком много Абрамовичей!»), — открытых полупогромных статей в печати уже не появлялось. Власть пытается замалчивать антисемитизм, отрицать или действовать «обходным» путем. Так, небезызвестный Ильичев, в ответ на запросы американских журналистов о судьбе уже три года тому назад расстрелянного писателя Переца Маркиша, твердо отвечает, что Маркиш в Москве и он, Ильичев, не раз встречался с ним в редакции «Правды». «Можно об этом сообщить?» — спросили его. — «Да, можете, если хотите» — ответил Ильичев. Эти факты (сравнительно безобидные) показывают, как советским представителям иногда приходится недостойно изворачиваться.

Известно, что в правление Хрущева вышла, вызвавшая протесты за границей, антисемитская брошюра Кичко, в которой доказывалось, что еврейская религия «вобрала в себя и концентрировала все наиболее реакционное и античеловечное», что «десять заповедей запрещают совершение преступлений только против евреев»; в это же время была обнародована ужасающая статистика смертных казней за «экономические преступления», из которой выходило, что на Украине евреи составляют 90% смертников, в Молдавии — 83%, а в РСФСР — 64%.

Книга С. М. Шварца издана в 1966 году; цифры и факты в ней содержащиеся кончаются 1965 годом и потому в книге нет подробного описания положения евреев за последние послехрущевские два года. Нет оснований полагать, что положение евреев в Советском Союзе за эти два года радикально изменилось к лучшему; вполне позволительно, однако, предположить (об этом особенно свидетельствуют наблюдения туристов и пр.), что приход к власти людей более делового и менее демагогического типа, как Косыгин и Брежнев, пошел и евреям на пользу. В послесталинской России появился какой-то за-

родыш общественного мнения. Иногда это проявляется смелее, иногда робко. Наиболее явным его выражением был, разумеется, и «Бабий Яр» Евг. Евтушенко. Дело, конечно, не в одном только стихотворении. Дело в том, что «дело Евтушенко» показало, что поэт, именно в этом вопросе, не одинок. В своей «Автобиографии» Евтушенко рассказал, как он написал и в первый раз читал перед публикой «Бабий Яр». Евтушенко также сообщил, что в связи с опубликованием «Бабьего Яра» он получил около тридцати тысяч писем и из них только тридцать от антисемитов.

И тем не менее советский писатель, недавно отказавшийся вернуться на родину, в одной из своих статей в лондонском «Дейли Экспресс» писал: «Советские евреи себя чувствуют виноватыми только в том, что они евреи».

Книга С. М. Шварца является ценной работой, всесторонне освещающей положение евреев в Советском Союзе.

*Д. Анин*

#### С. САТИНА. ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕНЩИН В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ. Нью Йорк. 1966 (152 стр.).

Это ценная и интересная книга. Она интересна и русскому читателю, как осведомление об истории развития женского образования в России (начального, среднего, высшего), и, в особенности, эта книга полезна иностранцам, занимающимся историей России. Среди них, к сожалению, иногда встречаешь людей, которые искренне уверены, что до пресловутого «октября» Россия была некоей пустыней, населенной полудикарями и вся русская культура началась с Ильича, Сталина и Хрущева.

Излагая историю развития женского образования в России, вернее, историю борьбы общественных сил в России за право женщин на равное с мужчинами образование, автор, естественно, дает и общую широкую картину развития просвещения и образования в России. Многие места книги читаются с необычайным интересом. Автор приводит порой драматические подробности столкновения здоровых общественных сил страны с политикой правительства, часто на протяжении десятилетий старавшегося (по формуле Победоносцева) «подморозить Россию».

В своем вступлении автор рассказывает об истории борьбы женщин за свои права в разных странах (в Америке, Франции, Англии, Германии), указывая, что в России еще во времена Ломоносова, в 1775 году, просвещенный вельможа граф Шувалов добился от Сената указа о доступе женщин в первый русский университет, созданный при его непосредственном участии. Попутно автор указывает, что «закрепощение» женщины в России в смысле гражданских прав было

всегда гораздо меньшим, чем в передовых странах Запада. «Женщина уже издавна в России не была так ограничена в гражданских правах, как женщина на Западе. Согласно русскому законодательству неравенство в правоспособности женщины по сравнению с мужчиной, за исключением прав на наследство, было незначительным. Некоторые права, которых женщины с трудом добивались на Западе, были уже сотни лет назад вполне узаконены в России. Так например русская женщина, достигшая совершеннолетия, имела право на полный раздел имущества с мужем. Мать — вдова имела право быть опекуницей детей и имущества мужа. Опеки над ней не было. Власть над детьми была предоставлена обоим родителям и только в случае разногласия перевес был у отца...» Именно поэтому ни гражданских, ни экономических, ни политических *специфически-женских* требований женщины в России не предъявляли.

Переходя к обзору истории женского образования, автор начинает издавна — с допетровской Руси, переходит к периоду Петра Великого и началу 18 века, потом — доводит свой обзор до наступления Эпохи Великих Реформ, и наконец — с воцарения Александра II в 1855 г., и до революции 1917 года. В общем обзоре много интересного. Так, например, история вопроса о всеобщем обучении, что выдвигали и защищали многие русские земства еще в конце 90-х годов; интересны сведения о деятельности в этом направлении всегда прогрессивного Тверского земства, где работали такие общественные деятели, как Петрункевич, кн. Шаховской, Самарин и др. Поучительны и сведения о работе русских общественных деятелей в городах. Напр. таких, как графиня С. Панина в Петербурге. Показательны и полезны (особенно иностранцам) цифры, приводимые С. Сатиной о низшем народном образовании. «Мне не раз приходилось слышать и опровергать, пишет С. А. Сатина, утверждения американцев, что до Октябрьской революции 1917 г. все крестьяне и низшие слои населения России были поголовно или почти поголовно безграмотны и что в деревнях и селах не было школ». С. А. Сатина приводит статистические данные, взятые из диаграммы Ф. Мартинсона (1915 г.), которая показывает, что «в 45 губерниях и областях процентное отношение числа учащихся в школах к числу детей 8-11-летних было ниже 50... В 48 губерниях и областях процентное отношение было выше 50. В 19-ти оно было от 51-60, в 20-ти от 61-70, в 7-ми от 71-80 и в двух губерниях, Московской и Петербургской, 86,8 и 86,5».

Очень подробно автор описывает историю и постановку среднего женского образования в России: институты, гимназии ведомства императрицы Марии Федоровны, казенные и частные гимназии ведомства мин. нар. просвещения; женские духовные училища, епархиальные училища и т. д. Говоря о высшем женском образовании автор

касается и общей истории русских высших учебных заведений, вопроса об университетской автономии, которая то давалась полностью, то урезалась, то отменялась, то снова давалась. Это описание охватывает период времени с открытия первого университета в Москве в 1755 году и до революции 1917 г. Особые очерки посвящены известным Лубянским Женским Курсам, Высшим Женским Курсам Герье, Высшим Женским Курсам в Казани, Высшим Женским Курсам в Киеве, Высшим Женским Курсам в Одессе, знаменитым Бестужевским Курсам в Петербурге, Московским Женским Курсам, женскому медицинскому образованию, начавшемуся еще при императрице Елизавете Петровне и прошедшем через те же тернии: то разрешалось, то урезывалось, то вновь разрешалось, то опять «подмораживалось». К 1910 году в России существовало 20 Высших Женских Учебных Заведений.

Некоторые очерки автор сопровождает личными воспоминаниями, что очень оживляет изложение. Остается добавить, что книга написана прекрасным русским языком.

*Роман Гуль*

М. В. ШАТОВ. МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ ОДНР В ГОДЫ 2-ой МИРОВОЙ ВОЙНЫ. Т. 2 Всеславянское изд-во. Нью Йорк. 1966 (стр. 174).

В. ОСОКИН. А. А. ВЛАСОВ. Всеславянское изд-во. Нью Йорк. 1966 (36 стр.).

Собирая и издавая документы и материалы по истории Освободительного Движения во время второй мировой войны, сотрудник Архива РОА, М. В. Шатов делает ценное дело для всякого серьезно изучающего эту тему. В 1961 г. им был выпущен I том — «Библиография Осв. Движ. Народов России в годы второй мировой войны (1941-45)». Эта библиография охватывает больше двух тысяч названий книг, газет, журналов и статей, опубликованных на разных языках. Теперь издан том II — ценных материалов по этому же вопросу. Кроме документов в книге даны дневники, статьи, краткие сообщения и воспоминания, как участников Освободительного Движения, так и его противников. Такой объективный подход к публикуемому материалу правилен. Здесь есть статьи видного участника РОА полк. ген. штаба А. Г. Алдана и отрывки из воспоминаний о ген. Власове Ильи Эренбурга; даны статьи известного участника РОА полк. К. Г. Кромиади и ген. М. Ф. Лукина, бывшего коменданта города Москвы, отказавшегося в плену примкнуть к власовскому движению и вернувшегося в СССР, где после основательной «дезинфекции» и всяческих мытарств он наконец удостоился признания его честным гражданином и был отпущен к семье с миром.

Публикуя весь этот ценный материал для исследователя этого периода войны Архив РОА делает большое дело.

С этой же точки зрения брошюра В. Осокина представляется ценной. В ней даны — биография ген. А. Власова, манифест Комитета Освобождения Народов России за всеми подписями членов КОНР и комментарии к манифесту.

*Р. Г.*

#### КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- П. А. ЗУРАЕВ. Северные Иранцы Восточной Европы и Северного Кавказа. (Савроматы, скифы, сармато-аланы, анты, яссы и осетины). Т. I. Нью Йорк. 1966 (стр. 341).
- ТАТЬЯНА ФЕСЕНКО. Глазами туриста. Изд. кн. маг. В. Камкина. Вашингтон. 1966 (стр. 142).
- НИКОЛАЙ АРЖАК. Говорит Москва. Повести и рассказы. Межд. Литер. Содружество. Вашингтон. 1966 (стр. 166).
- Л. РЖЕВСКИЙ. Через пролив. Товарищество Зарубежных Писателей. Мюнхен. 1966 (стр. 149).
- Н. УЛЬЯНОВ. Происхождение украинского сепаратизма. Нью Йорк. 1966 (278 стр.)
- ИВАН ОКУНЦОВ. Русская эмиграция в Сев. и Южн. Америке. Изд. «Сеятель». Буэнос Айрес. 1967 (стр. 423).
- МИХ. ОСОРГИН. В тихом местечке Франции. ИМКА-Пресс. Париж. 1946 (стр. 221).
- МИХ. ОСОРГИН. Времена. Париж. 1955 (стр. 186).
- МИХ. ОСОРГИН. По поводу белой коробочки. ИМКА-Пресс. Париж. 1947 (стр. 173).
- ЕВГЕНИЯ КВЕСИТ. Голубые дороги. Стихи. 1930-65. Вашингтон. 1966 (стр. 31).
- ОЛЕГ ИЛЬИНСКИЙ. Стихи. Кн. третья. Мюнхен. 1966 (стр. 71).
- ДМ. КЛЕНОВСКИЙ. Стихи. Избранное из шести книг и новые стихи (1965-66). Межд. Лит. Содружество. Мюнхен. 1967 (стр. 213).
- А. ПОЗОВ. Основы древне-церковной антропологии. Сын человеческий Мадрид. 1965.
- Н. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ. Россия и Европа. Вступ. статья Ю. Иваска. Джонсон Репринт Корпорешен. Нью Йорк. 1966 (стр. 629).
- ГАНС БРАНДЕНБУРГ. На что мне Библия? Свет на Востоке. Корталь. 1966. (стр. 30).
- ВСЕВОЛОД ПАСТУХОВ. Хрупкий полет. Стихи. Нью Йорк. 1967. (стр. 124).
- ЛЕВ ШЕСТОВ. Только верую. Греческая и средневековая философия. Лютер и Церковь. ИМКА-Пресс. Париж. 1967 (стр. 152).
- Н. КОВАЛЕНСКИЙ. Культура души и культура духа. Буэнос Айрес. 1965 (стр. 108).

- Я. Н. ГОРБОВ. Асунта. Роман. Эдиссон де Флор. 1967 (стр. 152).  
 РОДИОН БЕРЕЗОВ. Раздумья. Лирика. Брайт. 1966 (стр. 62)  
 РОДИОН БЕРЕЗОВ. Звезда. Рассказы. Сакраменто. 1966 (стр. 157).  
 ЛИНА ЗЕЛЕНСКАЯ. Во имя любви. Роман. Нью Йорк. 1957 (стр. 127).  
 СОДРУЖЕСТВО. Из современной поэзии русского зарубежья. Изд. кн. маг. В. Камкина. Вашингтон. 1966 (559 стр.).  
 В. ВЕЙДЛЕ. Рим. Из бесед о городах Италии. Париж. 1967.  
 АБРАМ ТЕРЦ. Фантастические повести. Межд. Литер. Содружество. Вашингтон. 1967 (стр. 455).  
 КРИШНАМУРТИ. Беседы в Саанене (Швейцария), 1965.  
 RADYSH. МИРОСЛАВ РАДИШ. Монография. 23 цветных и 23 черно-белых репродукции. Нью Йорк. 1966.  
 MICHAEL SCHATOFF. Annual Bibliographical Index. #6. 1962. Published by *All-Slavic Publishing House*, Inc. New York, 1966.  
 ANNA АСНМАТОВА. Poema Sena Eroe e altre Poesie. Traduzione di Carlo Riccio. Giulio Einaudi Editore. Torino. 1966.  
 LINA ZELENSKY. The Mystery of the Two Mansions. Novel. Carlton Press. Inc. New. York, 1964.  
 LIST Z Z.S.S.R. DO ZACHODU. W przekladzie z rosyjskiego A. Jacewicza. "Veritas" w Londynie, 1966.  
 DOUGLAS BOTTING. One Chilly Siberian Morning. The MacMillan Company, New York, 1965.  
 SOLOMON M. SCHWARZ. The Russian Revolution of 1905. The University of Chicago Press, Chicago, 1967.  
 THAIS LINDSTROM – A Concise History of Russian Literature, vol. #1 New York University Press, New York. 1966.  
 СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА. Б. Л. Пастернаку. Нью Йорк. 1967.

## ИСПРАВЛЕНИЯ

В кн. 86 «Н. Ж.» необходимо сделать такие исправления. В статье А. Левитина и В. Шаврова «Очерки по истории русской церковной смуты», на стр. 190, 18 строка снизу должна читаться: «Окончив в свое время Военно-Медицинскую Академию...»; на стр. 202, 26 строка снизу должна читаться: «В 1931 году я слышал от Александры Васильевны...» Кроме того на стр. 130, в стихах Странника «Палатка», 13-я строка должна читаться: «Прошли глухие и немые».

РЕД.

# УКАЗАТЕЛЬ

## СОДЕРЖАНИЯ 15-ти КНИГ «НОВОГО ЖУРНАЛА» с 71-ой по 85-ую (1963-1966)

### П Р О З А

- Адамович, Г.* — Начало повести, 85.
- Бунин, Ив.* — Зимний сон, 71. Русь града взыскающая, 72. Сон Пресвятыи Богородицы, 73. Запись, 75. Записи, 76. Лита, 77. Из записной книжки, 79. Записи, 80, 82. Безымянные записки, 84.
- Вейдле, В.* — Бессмертная ошибка, 75. Равенна, 83. Урбино, 84.
- Газданов, Г.* — Письма Иванова, 73. Пробуждение, 78, 79, 80, 81, 82.
- Давыдов, К. Н.* — Глухари, 71.
- Замятин, Евл.* — Африканский гость, пьеса, 73.
- Зайцев, Борис* — Река времен, 78.
- Иванников, Мих.* — Искус, 74, 75.
- Ишутина, Елена* — Нарым, 76, 77, 78.
- Кери, Христина* — Город А., 76. Патетическая симфония, 76. Сентябрь в Москве, 79. Дом на холме, 80.
- Коряков, Михаил* — Море и тайга, 72.
- Костич, Е.* — Исповедь, 83.
- Кторовая, Алла* — Лицо Жар-Птицы, 73, 74.
- Луни, Л.* — Восстание вещей, киносценарий, 79.
- Мани, Мендель* — Смерть «Короля Лира», 77.
- Марголин, Ю.* — Книга жизни, 81, 82.
- Мацкевич, Носиф* — Несознательные люди, 75.
- Проза из СССР*, 80.
- Ржевский, Л.* — Горячее дыхание, 75.
- Свеч, Виктор* — Волк. Тим, 76.
- Степун, Ф.* — Ревность, 79.
- Туроверов, А.* — Непосланное письмо, 80.

- Ульянов, Н. — Последний, 78. Первого призыва, 82. Русская сказка, 85.  
 Чуковская, Лидия — Софья Петровна, 83, 84.  
 Шаламов, В. — Колымские рассказы, 85.  
 Яблоновская, Н. — Чужбина, 72.

## С Т И Х И

- Адамович, Г. — Из забытой тетради, 80.  
 Алексеева, Лидия — 71, 83, 85.  
 Алексина, О. — 71, 77.  
 Бергер, Яков — 71, 72, 73, 75, 77, 85.  
 Боброва, Э. — 82.  
 де Босорб, Ю. — Стихи из тюрьмы, 81.  
 Булич, Вера — 71.  
 Бунин, Ив. — Изгнание, 74.  
 Вейдле, В. — 82.  
 Величковский, А. — 75, 79, 81, 82.  
 Волошин, Максимилиан — Святой Серафим, поэма, 72.  
 Вольтцева, Л. — 76.  
 Гингер, Александр — 80.  
 Гиппиус, Зинаида — 80.  
 Глинка, Г. — 82, 85.  
 Дукельский, Вл. — Из американских поэтов, 81. Из Р. Фроста — 82.  
 Елагин, Иван — 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85.  
 Злобин, Вл. — 73, 76, 84.  
 Ильинский, Олег — 74, 79, 83.  
 Иваск, Юрий — Афон, 73. Стихи, 82.  
 Кленовский, Д. — 77, 78, 85.  
 Корвин-Пиотровский, Вл. — 72, 77, 79.  
 Кузнецова, Г. — 80.  
 Моршен, Николай — 72, 82, 83, 85.  
 Неизвестный — Стихи о Камчатке, 76.  
 Одоевцева, Ирина — 76, 78, 80.  
 Песни-Стихи из СССР — 84.  
 Померанцев, К. — 74, 76, 79, 81, 84.  
 Присманова, Анна — 80.

- Раевский, Георгий* — 75.  
*Раннит, Алексис* — Перевод Л. Алексеевой, 74, 78, 81, 84.  
*Северянин, Игорь* — 73, 83.  
*Стихи из СССР* — 71, 80. О царе Никите, 81.  
*Странник* — 72, 75, 80, 84,  
*Терапиано, Ю.* — Ганнийский блок-нот, 84.  
*Туроверов, Н.* — 74, 76, 77, 81.  
*Ундер, Мария* — Переводы Л. Алексеевой и И. Северянина, 73.  
*Цветаева, Марина* — 74.  
*Чиннов, Игорь* — 72, 75, 77, 79, 80, 82, 84.  
*Юрлова, Н.* — 85.

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

- Адамович, Георгий* — Оправдание черновигов, 76, 81.  
*Александрова, Вера* — Прошлое сегодняшними глазами, 84.  
*Берберова, Н.* — Советская критика сегодня, 85.  
*Берлин, П.* — Русская литература и евреи, 71.  
*Браун, К.* — Тайная свобода Осипа Мандельштама, 80.  
*Булич, Вера* — Финские поэты, 78.  
*Варшавский, В.* — Заметки о прочитанном, 74.  
*Вейдле, В.* — О смысле стихов, 77.  
*Газданов, Гайто* — О Чехове, 76. Памяти А. Гингера, 82.  
*Гуль, Роман* — А. Солженицын, соцреализм и школа Ремизова,  
 71. Ценные книги, 73.  
*Замятин, Евг.* — Москва-Петербург, 72. О сюжете и фабуле,  
 75. О языке, 77.  
*Зуров, Л.* — Герб Лермонтова, 79.  
*Иваск, Юрий* — Волшебные звуки, 75. Фет, 84. Случевский, 79.  
*Поани, Архиепископ Сан-Францисский.* — О поэме М. Волошина  
 «Святой Серафим», 72.  
*Карлинский, С.* — Вещественность Анненского, 85.  
*Кох, Е.* — Марианна Веревкина, 80.  
*Кузмич, Л.* — Елена Ган — забытая писательница, 72.  
*Луни, Лев* — Последняя статья Льва Лунца, 81.  
*Лурье, А.* — О музыкальной форме, 82.  
*Оффросимов, Ю.* — Памяти поэта (Корвин-Пиотровский), 84.  
*Пахмус, Темира* — Зинаида Гиппиус и Сергей Есенин, 83.

- Плетнев, Р.* — О портретном искусстве писателей, 80. Три речи о Пушкине, 83. О лирике Тютчева, 85.
- Ранит, Алексис* — Мария Ундер, 73. О Вячеславе Иванове и его «Свете вечером», 77.
- Ржевский, Л.* — Об одном образе в романе «Война и мир», 82.
- Трубейкой, Н.* — О втором периоде творчества Достоевского, 71. О «Записках из подполья» и «Игроке», 77. Творчество Достоевского перед каторгой, 78.
- Чижевский, Д.* — О поэзии футуризма, 73. Стихотворения и поэмы К. Случевского, 74. Что такое реализм?, 75. Два родословных Гоголя, 78. О литературной пародии, 79.
- Шмеман, А., прот.* — Анна Ахматова, 83.

#### ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

- А. Н.* — Леонид Красин, 82.
- Анненков, Юрий* — Мейерхольд, 72.
- Арсенидзе, Р.* — Из воспоминаний о Сталине, 72.
- Белобородов, А.* — В Академии Художеств, 73.
- Бергер, Иосиф* — Из тюремных воспоминаний, 74.
- Бинсвангер, Л.* — Воспоминания о С. Л. Франке, 81.
- Бунин, И. А.* — Переписка с ребенком, 76.
- В. В.* — Письма Пастернака к Жаклине де Пруаяр, 80.
- Валентинов, Н.* — Шесть лет в газете ВСНХ, 74, 75. Встречи с М. Горьким, 78. Беседы с Г. В. Плехановым, 79. Ленинце раньше Ленина, 81. Встреча с Б. Савинковым, 85.
- Вендзягольский, К.* — Савинков, 71, 72.
- Врангель, Л.* — Воспоминания об А. И. Куприне, 71.
- Грин, М.* — Письма М. Алданова к И. А. и В. Н. Буниным, 80, 81.
- Далин, Д.* — Дело Кравченко, 83.
- Дан, Л.* — Бухарин о Сталине, 75.
- Добужинский, М.* — Служба в Министерстве, 71.
- Дышник, А.* — В СССР перед войной с Гитлером, 79.
- Икс* — Послание из СССР на Запад, 78, 79.
- Ильин, И. С.* — Омск. Директория. Колчак, 72, 73. На службе у японцев, 80, 82, 84, 85.
- Керенский, А.* — Моя жизнь в подполье, 84.
- Кузнецова, Г.* — Грасский дневник, 74, 76.

- Кокочкина, В. и Гуаданини, И.* — Ф. Ф. Кокочкин, 74.  
*Луни, Л. и «Сератионовы братья»* (публикация Гари Керна) 82, 83.  
*Левитин, А. и Шавров, В.* — Очерки по истории русской церковной смуты, 85.  
*Маковский, Сергей* — Николай Гумилев по личным воспоминаниям, 77.  
*Манухин, Ив.* — Революция, 73.  
*Михулич, П.* — Савинков и Опперпут, 75.  
*Неизвестный* — Находка в тайге, 84.  
*Одоевцева, Ирина* — На берегах Невы, 71, 72, 74, 75.  
*Пастернак, Б. и Союз Сов. Писателей* (стенограмма), 83.  
*Пастернак, Л.* — Из записок, 77.  
*Семенов-Тянь-Шанский, В.* — П. П. Семенов-Тянь-Шанский, 76.  
*Тагер, Е.* — О Мандельштаме, 81.  
*Телешов, Н.* — Письма к И. Бунину, 85.

## ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

- Анин, Д.* — Новая эра, 75. Что принять, что отбросить, 77. Вожди уходят, проблемы остаются, 78. Об особенностях двух революций, 80. Русская революция и либерализм, 81. Советы и международное положение, 82. Юбилейные размышления, 85.  
*Аскольдов, С. А.* — Кто виноват? 72.  
*Аронсон, Г.* — Большевики и меньшевики, 83.  
*Бердяев, Н.* — Духи русской революции, 79. Из записной тетради Н. А. Бердяева, 85.  
*Берлин, П.* — Достоевский и евреи, 83.  
*Валентинов, Н.* — От НЭП'а к сталинской коллективизации, 72. О людях революционного подполья, 73. Ленин в Казани и Самаре, 80.  
*Вернадский, Г.* — Милюков и месторазвитие русского народа, 77.  
*Гольденвейзер, А.* — Русский юрист в эмиграции, 84.  
*Градобоев, Н.* — Записки Пеньковского, 84.  
*Гринфельд, Ю.* — Произвол работодателей в СССР, 73. Экономическое соревнование СССР с свободными странами, 78.

- Денике, Ю.* — Десять лет спустя, 71. Воспоминания Н. Г. Церетели, 76.
- Дорошенко, В.* — Жизнь и деятельность М. Драгоманова, 71.
- Закутин, Лев* — О «третьей экономике», 75. Бердяев как экзистенциалист, 80. О метафизике и «первой философии», 83.
- Иванов, А.* — Биология и идеологическая борьба, 74. О возможностях аграрного НЭП'а, 82.
- Иванцов, Д.* — Сближение кооперативно-колхозной собственности с общенародной, 72.
- Константинов, Д., прот.* — Подтверждение неопровержимого, 84.
- Котелев, И.* — Идея свободы — в русском народе, 81.
- Кучеров, С.* — Судебная реформа Александра II, 78.
- Левицкий, С.* — Этюды о скуке, 71. Экзистенциальный диалог, 75. Место Н. О. Лосского в русской философии, 79. Против духовоморов и духоморства, 82.
- Ловицкий, Г.* — Философ библейского откровения, 85.
- Нароков, Н.* — Русский язык «там», 71.
- Полторацкий, Н.* — Проф. Н. С. Тимашев о путях России, 84.
- Померанцев, К.* — Во что верит советская молодежь?, 78.
- Сатиша, С. А.* — Московские Высшие женские Курсы, 75. Образование женщин в дореволюционной России, 76.
- Степун, Ф.* — Вера и знание в философии С. Л. Франка, 81.
- Таубе, М.* — Иоганн Таубе, советник царя Ивана Грозного, 71.
- Тимашев, Н. С.* — На правильном ли пути Америка?, 71. Новое об антирелигиозной политике, 73. Три книги о П. А. Сорокине, 74. О сущности советского государства, 76. Московские суды в наши дни, 78. Как я стал социологом, 85.
- Троянов, Т.* — Коллективный договор в СССР, 73.
- Ульянов, Н.* — Тень Грозного, 74.
- Чижевский, Д.* — Речь о Степуне, 75. Новое в истории русской культуры, 82.
- Чулунов, Т.* — Всеобщая декларация прав человека и диктатура КПСС, 84.
- Шик, А.* — Первопечатник Федоров, 76.
- Шойер, И.* — Социология Н. С. Тимашева, 75.
- Штаммлер, А.* — Ф. А. Степун, 82.

- Шуб, Д.* — О социализме наших дней, 76. Три биографии Ленина, 77. Социалисты и первая мировая война, 80. Мемуары А. Ф. Керенского, 84.
- Ясный, Н.* — Начало второго послесталинского 10-летия в сельском хозяйстве, 76.

## СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

- Б.* — Колыма, 71.
- Берберова, Н.* — О дне ареста Н. С. Гумилева (Письмо в редакцию), 85.
- Зауер, С.* — М. Михайлов, 85.
- Зензинов, В. М.* — Записи, 81.
- Из альбома Г. Л. Гириман,* 71.
- Кашина-Евреинова, А.* — Найденное письмо П. И. Чайковского, 85.
- Керн, Г.* — Исправления к публикации «Лев Луниц и Серапионовы братья», 84.
- Крестовская, В.* — О I-м томе собрания сочинений О. Мандельштама (письмо в редакцию). 84.
- Лачинов, С.* — Еще о Тарсисе (письмо в редакцию), 85.
- Неопубликованное письмо М. Горького,* 79.
- Обольянинов, В.* — В. В. Розанов — преподаватель в бельской прогимназии, 71.
- От редакции* — К кончине президента Д. Ф. Кеннеди, 74. Ф. А. Степун, 75. Н. С. Тимашев, 75.
- Р. П.* — Заметки, 85.
- Фишер, Луи* — Письмо в редакцию, 78.
- Фридберг, М.* — Письмо в редакцию — Приемы В. Набокова, 83.
- Чижевский, Д.* — Письмо в редакцию, 74.
- Чугунов, Т.* — Эксплуатация рабочих в СССР, 85.
- Шуб, Д.* — Письмо в редакцию, ответ Луи Фишеру, 78.
- Щербатов, С. кн.* — Флоренция. Лохов, 74.

## ПАМЯТИ УШЕДШИХ

- Александрова, Вера.* 85 (*Роман Гуль*)
- Вольский, Н. В.* 78 (*Р. Г.*)
- Денике, Ю. П.* 78 (*Р. Г.*)

- Корвин-Пиотровский, В. Л.* 83 (*Роман Гуль*)  
*Кравченко, В. А.* 83 (*Роман Гуль*)  
*Николаевский, Б. П.* 83 (*Роман Гуль*)

### Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

#### *Книги на русском языке*

- Лидия Алексеева* — Прозрачный след, 81 (*О. Анстей*).  
*Юрий Анненков* — Дневник моих встреч. Том I, 84 (*Вяч. Завалишин*).  
*Юрий Анненков* — Дневник моих встреч. Том II, 85 (*Вяч. Завалишин*).  
*Анна Ахматова* — Реквием, 77 (*Роман Гуль*).  
*Анна Ахматова* — Сочинения, Том I, 82 (*В. Завалишин*).  
*Василь Барка* — Жовтий князь, 75 (*Т. Фесенко*).  
*М. Бахтин* — Проблемы поэтики Достоевского, 81 (*Д. Чижевский*).  
*Яков Бергер* — Весна в Ч..., 84 (*Ю. Терапиано*).  
*Воспоминания генерала А. П. Богаевского*. 1918 год, 75 (*Б. Прянишников*).  
*Носиф Бродский* — Стихотворения и поэмы, 79 (*Юрий Иваск*).  
*Прот. Сергей Булаков* — Православие, 82 (*Прот. А. Шеман*).  
*Ген.-лейт. В. К. Витковский* — В борьбе за Россию, 74 (*Б. Прянишников*).  
*«Воздушные пути»*, 79 (*В. Варшавский*).  
*Василий Гиппиус* — Гоголь, 74 (*Зоя Юрьева*).  
*Я. Н. Горбов* — Все отношения, 80 (*Юрий Иваск*).  
*Н. Градобоев* — Десталинизация, 71 (*М. Н.*).  
*Ирина Гуадантини* — Письма, 71 (*Е. Таубер*).  
*Н. Гумилев* — Собрание сочинений. Т. I и II, 84 (*Ирина Одоевцева*).  
*Н. Гумилев* — Романтические цветы, 78 (*И. А.*) (*Анненский*).  
*Публ. Г. Струве*.  
*Иван Гундулич* — Слезы блудного сына, 81 (*Ю. Обросимов*).  
*Иван Гундулич* — Слезы блудного сына, 81 (*Д. Чижевский*).  
*Л. М. Добровольский* — Запрещенная книга в России, 76 (*Д. Чижевский*).

- А. С. Долинин* — Последние романы Достоевского, 81 (*Д. Чижевский*).
- Владимир Дукельский* — Послания, 73 (*Юрий Иваск*).
- Иван Елагин* — Ответы ночные, 74 (*Юрий Иваск*).
- Николай Заболоцкий* — Стихотворения, 82 (*В. Завалишин*).
- Борис Зайцев* — Далекое, 83 (*Р. Плетнев*).
- Евгений Замятин* — Повести и рассказы, 73 (*Вяч. Завалишин*).
- Вячеслав Иванов* — Свет вечерний, 75 (*Ф. Степун*).
- Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской)* — Листья древа, 85 (*Прот. Д. Константинов*).
- Вениамин Каверин* — Здравствуй брат. Писать очень трудно, 85 (*Г. Керн*).
- А. В. Карташев* — Вселенские соборы, 76 (*А. Боголепов*).
- Анна Кашина-Евреинова* — Н. Н. Евреинов в мировом театре XX века, 76 (*Р. Гуль*).
- Наталья Кодрянская* — Золотой дар, 80 (*Ирина Одоевцева*).
- А. Кокорев* — Хрестоматия по русской литературе XVIII в., 85 (*Я. Гурский*).
- Д. А. Магула* — «Fata Morgana», 74 (*Роман Гуль*).
- Осип Мандельштам* — Собрание сочинений. Том I, 82 (*Юрий Иваск*).
- Марковцы в боях и походах за Россию. 1917-1918.* Составил В. Е. Павлов, 73 (*Б.*).
- С. П. Мельгунов* — Воспоминания и дневники, 76 (*Н. Тимашев*).
- О. Можайская* — Разлука и верность, 74 (*Е. Таубер*).
- «Мосты» № 10, 71 (*Р. Г-ль*).
- Б. Окунджава* — Будь здоров, школяр, 80 (*Р. Гуль*).
- «Парнас дыбом», 75 (*А. Поплюйко*).
- Клавдия Пестрото* — Цветы на подоконнике, 81 (*Л. Алексеева*).
- К. Пилярев* — Жизнь и творчество Тютчева, 76 (*Р. Плетнев*).
- Поэты-мирики древней Элады и Рима*, 84 (*Юрий Иваск*).
- Русские поэты XIX века*, 81 (*Д. Чижевский*).
- Андрей Седых* — Замело тебя снегом, Россия, 76 (*Р. Гуль*).
- Андрей Седых* — Земля обетованная, 84 (*Ю. Марголин*).
- Елена Скрябина* — В блокаде, 79 (*Р. Плетнев*).
- Александр Слонимский* — Техника комического у Гоголя, 74 (*Зоя Юрьева*).

- Федор Степуи* — Встречи, 74 (*Юрий Иваск*).
- Глеб Струве* — Утлое жильё, 83 (*Г.*).
- Тарсис и эмиграция*, 85 (*К. Вершинин*).
- Ю. Терапиано* — Избранные стихи, 76 (*Ирина Одоевцева*).
- Юрий Терапиано* — Паруса, 82 (*Ирина Одоевцева*).
- Абрам Терц* — Мысли врацплох, 84 (*Роман Гуль*).
- На темы общие и русские* (Сборник статей в честь проф. Н. С. Тимашева), 80 (*Роман Гуль*).
- С. П. Тимошенко* — Воспоминания, 76 (*Н. Тимашев*).
- Александра Толстая* — Проблески во тьме, 84 (*Б. Бровцын*).
- Кн. Евгений Грубецкой* — Умозрение в красках, 82 (*Прот. А. Шмеман*).
- Николай Туроверов* — Стихи, 85 (*Сотник*).
- Татьяна Фесенко* — Повесть кривых лет, 74 (*Вяч. Завалишин*).
- С. Л. Франк* — Душа человека, 81 (*Л. Закутин*).
- С. Л. Франк* — Из истории русск. философск. мысли конца 19 и начала 20 века, 82 (*Л. Закутин*).
- Марина Цветаева* — Избранные произведения, 84 (*С. Карлинский*).
- Алла Цивчинская* — Незабвенное, немеркнувшее, 76 (*Татьяна Фесенко*).
- Альида Шманская* — Я вам прочту, 74 (*Ирина Одоевцева*).

#### КНИГИ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

- Raphael R. Abramovitch* — The Soviet Revolution, 73  
(*Д. С. Анин*).
- Vera Alexandrova* — A History of Soviet Literature, 1917-1962,  
75. (*П. Ершов*).
- Louis Armand* — Plaidoyer pour l'avenir, 77 (*В. В.*)
- Samuel H. Baron* — Plekhanov. The Father of Russian Marxism,  
76. (*Д. Шуб*).
- F. Bloch-Lainé* — Pour une réforme de l'entreprise, 78 (*В. В.*)
- Prof. A. Bogolepoff* — Toward an American Orthodox Church, 78  
(*М. Поливанов*).
- M. Djilas* — Conversations with Stalin, 71. (*В. Прянишников*).
- Victor Erlich* — The Double Image, 77. (*Юрий Иваск*).

- D. Fanger* — Dostoyevsky and Romantic Realism, 85.  
(А. Небольсин).
- The Fatal Eggs and Other Soviet Satire*. Edited and translated by  
*Mirra Ginsburg*, 79 (Вяч. Завалишин).
- G. Fisher* — The New Sociology in the USSR, 78. (Б.).
- Maurice Friedberg* — Russian Classics in Soviet Jackets, 78.  
(Зоя Юрьева).
- Camilla Gray* — The Great Experiment: Russian Art 1863-1922,  
71. (Вяч. Завалишин).
- Anton Hönig* — A. Belyjs Romane, 83. (В. Сечкарев).
- Dr. Boris Ischboldin* — Esseys on Tatar History, 74.  
(Н. Тимашев).
- Robert L. Jackson* — Dostoyevsky's Quest for Form, 85.  
(А. Небольсин).
- Il contributo russo alle avanguardie plastiche*, 80. (Д. Чижевский).
- Richard Kindersley* — A Study of "Legal Marxism" in Russia, 71.  
(Д. Шуб).
- Edmund Kostka* — Schiller in Russian Literature, 85.  
(С. Крыжицкий).
- Isaac Don Levine* — I Rediscover Russia, 77. (Н. Берберова).
- Franz Lieb* — Valentin Weigels Kommentar zur Schoepfungsgeschichte, 80.  
(Д. Чижевский).
- Josef Mackiewicz* — Zwyciestwo Prowokacji, 71.  
(К. Вендзялольский).
- Josef Mackiewicz* — Lewa wolna!, 84. (М. Павликовский).
- Vladimir Markov* — The Longer Poems of Velimir Khlebnikov,  
81 (Юрий Иваск).
- Boris Nicolaevsky* — Power and the Soviet Elite, 83. (Д. Шуб).
- Rudolph Nureev* — Authobiography, 76. (В. Завалишин).
- Ants Oras* — Acht estnische Dichter, 81. (Юрий Иваск).
- A. Parry* — The New Class Divided, 84. (А. Иванов).
- Alexander Pushkin* — Eugene Onegin, translated from Russian  
with a Commentary by V. Nabokov, 77. (Морис Фридберг).
- F. D. Reeve* — Alexandr Blok, 71. (Зоя Юрьева).
- Jules Roy* — Le Voyage en Chine, 82 (В. В-ий).
- Russian Jewry (1860-1917)*. Translated from Russian by Mirra  
Ginsburg, 84. (И. Левитан).

- The Russian Provisional Government 1917*, 71. (Д. Шуб).
- Alexander Sshmidt* — Valerij Brjusovs Beitrag zur Literaturtheorie, 76. (Д. Чижевский).
- E. Schwarz* — The Dragon. Translated by Elizabeth Reynolds Hapgood, 75. (В. Завалишин).
- C. Stanislavski* — An Actor's Handbook. Edited and translated by E. Reynolds Hapgood, 71. (Роман Гуль).
- C. Stanislavski* — Creating a Role. Translated by E. Reynolds Hapgood, 71. (Роман Гуль).
- Fedor Stepun* — Mystische Weltschau. Fuenf Gestalten des russischen Symbolismus, 79. (Юрий Иваск).
- N. Struve* — Les Chretiens en URSS, 76. (А. Шмеман).
- Nicolas S. Timascheff* — The Sociology of Luigi Sturzo, 73. (Питирум Сорокин).
- G. Tschebotarioff* — Russia, My Native Land, 78. (Н. Тимашев).
- Guenter Wytrzens* — Pjotr Andreevic Vjazemskij, 71. (Юрий Иваск).
- The Poetry of Yevgeny Yevtushenko*. Translated from Russian by George Reavey, 82. (Ф. Р. Рив).
- Nicolas Zernov* — The Russian Religious Renaissance of the Twentieth Century, 76. (В. Варшавский).

---

# “Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л”

под редакцией

РОМАНА ГУЛЯ

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ ГОД ИЗДАНИЯ

●

В 1967 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

●

Подписная цена 9 долл. в год (за 4 книги)

Цена одной книги — 2 долл. 50 цент.

Во Франции — 8 франков.

●

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway

New York, N. Y. 10025

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме  
праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня.

---